

В. С А Я Н О В

НЕБО  
И  
ЗЕМЛЯ









**Государственное  
Издательство  
Художественной  
Литературы**







**В. С А Я Н О В**

**НЕБО  
И  
ЗЕМЛЯ**

**РОМАН**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

**МОСКВА 1954**

*Постановлением  
Совета Министров Союза ССР  
САЯНОВУ  
ВИССАРИОНУ МИХАЙЛОВИЧУ  
за роман «Небо и земля»  
присуждена Сталинская премия  
третьей степени за 1948 год*

*Иллюстрации,  
заставки и концовки  
И. С. АСТАПОВА*

*Переплет, титульные листы,  
инициалы  
П. И. БАСМАНОВА*

*ч а с т ь*

**I**

# **НАЧАЛО ПУТИ**







## ГЛАВА ПЕРВАЯ

**М**

олодой человек, взбежавший по лестнице на круглый балкон Эйфелевой башни, облегченно вздохнул: здесь было только два посетителя. Англичане искали на карте высоту Сен-Клу, и тот, что был постарше, толстяк с длинными щеками и бритым розоватым затылком, недовольно морщился, обводя на карте цветным карандашом пригороды Парижа. Молодой человек подошел к решетке балкона и, чуть наклонив голову, посмотрел вниз.

Он увидел Сену. Маленький остров, как поплавок, раскачивался на волнах. Поезд шел по далекой железной дороге. Над полем вился тоненький длинный дымок.

Молодой человек обрадовался, что на него не обращают внимания, застегнул ворот своей черной однобортной куртки и, взявшись руками за холодные скользкие края решетки, лег животом на барьер. Внизу в синих, желтых, лиловых пятнах мерно качалось отражение города. Дымилось солнце. Бульвары казались малиновыми.

«Раз, два, три», — медленно отсчитал он и наклонил голову вниз. Он висел теперь над городом на высоте трехсот метров и ровно дышал, крепко держась за края решетки.

«Говорят, что Эйфелева башня — излюбленное место самоубийц...» В глазах потемнело, кровь прилила к голове, судорога свела правую ногу... Переждав несколько минут, молодой человек осторожно сполз с решетки и сел на пол балкона.

Он оглянулся. Англичане стояли всё у той же западной стороны — отсюда было удобнее смотреть на высоту Сен-Клу.

— Удивительный человек, — сказал толстяк, — может быть, он хотел покончить расчеты с жизнью?

— Для этого не стоило подыматься на круглый балкон, — ответил второй англичанин. — Можно было броситься вниз и с меньшей высоты.

«Как они равнодушно на меня глядели, хоть и решились, что я хочу покончить самоубийством, — подумал юноша. — Если бы приняли меня за самоубийцу у нас в Петербурге, обязательно стащили бы с решетки да еще, чего доброго, поддали бы кулаком в бок».

Огромные рваные тучи медленно ползли по небу. Они смешивались с круглыми завитками фабричного дыма и, казалось, с каждой минутой становились темней и тверже. Молодой человек смотрел вдаль и угадывал смутные очертания железных сооружений, воздвигнутых архитекторами новой эпохи. Такие здания — темные и неприветливые — начали появляться уже и в Петербурге. Они подходили на чертежи машин в описаниях современных заводов, и турист, впервые осматривавший Эйфелеву башню, зачастую не мог отделаться от ощущения какой-то непонятной тоски и неожиданного пренебрежения к тому, что не построено человеческими руками, — к простенькому лесу, к узкой, сверкающей на солнце реке, к зеленому однообразию поля.

Молодому человеку больше нечего было делать на площадке. Через несколько минут все осталось позади — и круглый балкон, и англичане, и шум подъемной машины. Он медленно пошел к остановке омнибуса. Земля казалась шаткой, как палуба корабля, и голова чуть кружилась.

«Высота, какая высота! Англичане... Их ничем не выведешь из себя. Как он на меня посмотрел, даже не улыбнулся. А если бы упасть вниз? Зимой воробей, замерзший, жалкий такой, с короткими крыльями, упал с фонаря и разбился. Я тогда был в четвертом классе. Мальчишки с Подъяческой прибежали и зарыли его в сугроб».

Он снова увидел косой фонарь на перекрестке возле Подъяческой и почувствовал себя одиноким, заброшенным, никому не нужным в этом большом и веселом городе. Ему захотелось обратно в Россию, или чтобы тут хоть снег выпал, — но летом откуда в Париже быть снегу...

Прошло две недели с тех пор, как он приехал в Париж с чеком Лионского кредита на четыреста франков, с рекомендательным письмом к штабс-капитану Загорскому, покупавшему аэропланы для русской армии, с портретами первых русских летчиков, с книгой Циолковского «Грезы о земле и небе».

Последние месяцы дома все шло враздобрь, и Глебу Ивановичу Победоносцеву не хотелось вспоминать об отъезде из Петербурга. Отец долго смеялся, услышав о неожиданной затее, и шутя спрашивал, не собираются ли некоторые чудаки взобраться на небо по канату, а потом и вовсе перестал разговаривать с сыном. Так и уехал Глеб Иванович из Петербурга, не попрощавшись с отцом. Сестра плакала и долго наставляла, какие предосторожности надо соблюдать во время полета: прошлой осенью, в тысяча девятьсот девятом году, вместе с Глебом она ходила на Коломяжский ипподром, на время ставший летным полем. Глеб с волнением рассматривал хрупкую машину, которой предстояло взлететь в мгlistое петербургское небо. На ипподроме собралось множество народу, но иные зрители уверовали в авиацию только в ту минуту, когда моноплан отделился от земли легким и плавным движением. Еще памятен был случай с авиатором Леганье, приехавшим в Петербург для демонстрации полетов. Леганье так и не сумел поднять в воздух свою машину, и кто-то из любопытствующих зрителей лег на землю, чтобы определить, удалось ли колесам самолета хоть на несколько вершков оторваться от зеленой травы ипподрома. С того памятного дня Глеб начал мечтать о полетах.

Брат его Сергей, молодой московский инженер, сочувственно отнесся к замыслу Глеба. Как раз в ту пору он приехал в родной город для работы в архивах, где, по слухам, хранились записи великого русского изобретателя Можайского — создателя первого в истории самолета.

— Если есть у человека призвание, если мечта одолевает — раздумывать нечего, берись за любимое дело, каким бы трудным оно спервоначалу ни показалось. Деньги на учение я тебе дам. Учиться поедешь во Францию — в наших школах еще мало аэропланов, долго придется ждать очереди. У авиации будущее огромное, она сближает континенты и океаны, покоряет человеку пространство. Константин Эдуардович Циолковский научно доказал, что со временем человек будет совершать и межпланетные путешествия. Об этих великих целях всегда помни, на летную жизнь смотри как на подвиг...

Через месяц Победоносцев уже был в Париже. Он приехал неудачно. Загорский как раз накануне приезда Глеба отбыл на юг Франции, не то в Марсель, не то на итальянскую границу, и обещал вернуться только через две недели. Победоносцев нанял номер в маленькой гостинице, повесил над кроватью табель-календарь и каждый вечер отмечал синим карандашом, сколько дней остается до приезда штабс-капитана. Сегодня утром он звонил в отель на Вандомской площади, — оказывается, Загорский уже приехал, завтра в половине второго можно явиться к нему.

Победоносцев повеселел и, вернувшись в гостиницу, заказал даже полбутылки вина с минеральной водой. Ночью он спал плохо, ворочался в постели, кашлял, и сны были какие-то беспокойные: снилось Глебу, что он идет по полю колосющейся ржи, и поле нескончаемо огромно, и летит над ним аэроплан с большими, сверкающими на солнце крыльями. На рассвете Глеб проснулся, быстро оделся и в волнении заходил по комнате; поминутно он выглядывал в окно, — над высокой башенкой отливал матовым светом циферблат старинных часов, и Глебу казалось: минутная стрелка движется слишком медленно.

Он очень боялся опоздать и уже за час до назначенного времени был на Вандомской площади. Каменная

кладка Вандомской колонны убегала к небу. На бронзовых пластинках запечатлены победы Наполеона, — о поражениях, нанесенных ему русскими, строители колонны старались не вспоминать...

Ярко освещая силуэты знамен и старинных пушек, над высоким немигающим солнцем Аустерлица вставало красное утреннее солнце Парижа.

Теперь только вспомнил Победоносцев о круглом балконе Эйфелевой башни — ведь там он, по совету случайного знакомого, испытывал собственное мужество.

«Неужели кончено? Ничего не выйдет? Боязнь высоты? Смотрел, и казалось, что падаю вниз, как камень. Может быть, сразу же вернуться в Петербург?»

Загорский жил в тихом отеле, облюбованном русскими; обычно здесь останавливались приезжавшие из России военные в небольших чинах, врачи, художники, артисты. Победоносцев быстро избежал по лестнице, постоял несколько минут на площадке, потом застегнул куртку и нерешительно стукнул в дверь.

— Войдите! — крикнул кто-то по-русски. — Антрэ! — повторил тот же голос по-французски.

Победоносцев вошел в комнату, вынул из кармана конверт и протянул его белокрысому господину, сидевшему за круглым столиком возле окна.

— Подождите немного, — сказал белокрысый господин, ковыряя в зубах синей зубочисткой и внимательно рассматривая Победоносцева.

— Я, собственно говоря, по делу, — смутился Победоносцев, — простите, пожалуйста, что затрудняю вас, — мне нужно к штабс-капитану, я будущий русский авиатор.

— Я тоже жду его, — сказал белокрысый господин.

В соседней комнате сердито и раздраженно говорили по-французски. Белокрысый господин прислушался к разговору, спрятал зубочистку в верхний карман жилета и скрылся за дверью.

Победоносцев остался один. Он стоял возле стола, вытянув по швам длинные загорелые руки. На столе лежала французская книга. Победоносцев раскрыл ее и узнал портрет Фламариона. Гимназистом, еще в четвертом классе, он впервые прочел книги этого человека.

В узкой комнате на Подъяческой, с высоким окном, выходящим во двор, приятно было читать описания будущих путешествий на Марс и Орион... Но потом, когда довелось Победоносцеву купить у букиниста книгу Циолковского, он забыл о французском астрономе: то, что у Фламмариона было лишь фантастической мечтой, у русского ученого стало точным научным предвидением.

— Хорошо,—загудел сердитый бас в соседней комнате.

Два француза прошли мимо Победоносцева, попыхивая папиросами. Ушел и белобрысый господин.

Загорский долго ходил по комнате, что-то бормоча под нос, потом сердито зашелкал пальцами, распахнул дверь и вдруг увидел незнакомого высокого юношу с подстриженными ежиком волосами, рассеянно перелистывающего книгу Фламмариона.

— Суетливые люди эти французские коммерсанты,—пробасил Загорский, продолжая разговор с самим собою,— целый день бегают, предлагают куртажи, взятки и никак не могут поверить, что тебе взаправду ничего не нужно от них.— Он близко подошел к Победоносцеву и раздраженно спросил по-французски: — А вы кто такой? По какому делу?

— Простите,—по-русски ответил Победоносцев,— видите ли... да я... собственно говоря... Я — будущий авиатор!

Загорский улыбнулся. Он был сутуловат, в роговом пенсне на черной тесьме,— по виду походил больше на земского врача, чем на военного человека, но все-таки Глеб сразу заметил, что выправка Загорского безукоризненна — ни единой морщинки на мундире, пуговицы блестят, беленький крестик привешен к петлице с особенным щегольством.

— А, вот оно что,—сказал Загорский.— Люблю новичков. Я ведь что-то вроде крестного отца приезжающих из России молодых людей. Столько любопытных случаев у меня было с ними,— всего не перескажешь!..

Загорский был отличным знатоком новой техники и уже больше года жил в Париже. В Главном инженерном управлении Загорского не любили, и поэтому длительная командировка превращалась в изгнание.

Авиация была нелюбимой падчерицей в управлении. Загорский постоянно защищал русских конструкторов самолетов, и его настойчивость казалась царевым чиновникам чрезмерным упрямством. В последний свой приезд в Петербург он напечатал в техническом журнале статью о злоключениях русских изобретателей, имевших дело с управлением, и тотчас же штабс-капитану было предложено возвращаться в Париж, к месту постоянной работы. С тех пор каждый раз, когда Загорский собирался вернуться в Россию, придумывали новое назначение — в прошлом году поговаривали даже о поездке в Северную Америку. Смолodu Загорский думал посвятить себя морю. Закончив морское инженерное училище, он несколько лет прослужил на юге. Однажды довелось ему подняться на воздушном шаре, и с тех пор почувствовал он, что в жизнь его навсегда вошла мечта о небе. Вскоре он перешел на службу в отдел воздушного флота, был командирован за границу, быстро изучил иностранные аэропланы всех существовавших тогда систем и получил новое назначение — на этот раз уже от инженерного управления.

Радужно и приветливо встречал Загорский каждого приезжавшего в Париж русского, — большое будущее у авиации в России, и много надобно ей преданных делу работников.

— Очень рад, очень, — сказал он, садясь в кресло и придвигая стул Победоносцеву. — А вы откуда приехали, молодой человек?

— Я приехал из Петербурга, окончил Седьмую гимназию...

— Кто вас направил ко мне?

— Мой брат, инженер Победоносцев.

— Победоносцев? Сергей Иванович? Как же, прослышан, много прослышан... Он, кажется, теперь изобретает моноплан?

— Да, скоро заканчивает чертежи...

— Отлично, отлично, дайте письмо...

Победоносцев протянул заветный конверт:

— Пожалуйста.

Загорский быстро прочитал письмо и тихо спросил:

— Чем могу быть полезен?

— Сергей Иванович говорил, что вы сумеете дать хо-

роший совет... Я хотел бы в авиационную школу. У меня с детства уже мечта...

— Что же, неплохо о полетах мечтать с самого детства. Тем лучше. Только понравится ли вам, если будете падать? Да, да, и не отнекивайтесь, — это обязательно придется испытать, если хотите стать хорошим авиатором. Бывают порой и такие катастрофы, что летчику приходится платить жизнью за смелый полет... Один авиатор придумал специальный предохранительный костюм. Откровенно говоря, его костюм похож на матрац. Во время такого полета авиатор казался зашитым в огромный мешок, набитый мукой. Только одно отверстие и было в матраце — для глаз. И что же? Поднялся однажды — и вдруг...

— Неужели разбился? — испуганно спросил Победоносцев.

— Не совсем — аэроплан сломал, а сам отделался только испугом: костюм помог. Да и немудрено — падал-то авиатор метров с десяти, на самом взлете...

— Нет, я не боюсь падения, — решительно сказал Победоносцев, стараясь забыть о страхе, испытанном вчера на круглом балконе Эйфелевой башни. — Я сразу полечу. Куда бы вы порекомендовали обратиться?

— Куда порекомендовал бы? — задумался Загорский. — А вы решили уже, на каком аппарате будете летать?

— Нет, еще не решил.

Загорский с удивлением посмотрел на будущего авиатора. Победоносцев смущенно улыбнулся.

— Батенька вы мой, да какой же вы летатель, если с самого начала главного не обдумали? На «райтах» летать не советую — настоящие шееломки; если у вас характер горячий, и смотреть на них не следует. «Блерио» — неплохой моноплан, легкий как стрекоза, но в его школу в По попадете только через полгода. «Фарман» не очень нравится мне — не то этажерка, не то дача с верандами, — тяжеловат, зато надежен. Вот что, попробуем-ка насчет Мурмелона. Вы о нем слышали? Есть такое место — Мурмелон ле Гран, Большой Мурмелон.

— Слышал, — ответил Победоносцев. — Там летная школа.



— Правильно! Сейчас мы с вами поедem и договоримся с представителем завода Фармана. Подождите немного. Я позвоню, чтобы нам прислали автомобиль.

Он ушел в соседнюю комнату переодеться и через пять минут вернулся в черном костюме, в мягкой фетровой шляпе, в черных лакированных штиблетах.

— Едем, — сказал он, закуривая папиросу.

Победоносцев пошел следом за ним. Автомобиль уже ждал у подъезда.

— Садитесь! — Загорский занял сиденье рядом с шофером, а Победоносцев сел сзади, ежась и негромко вздыхая.

Автомобиль стал быстро кружить по широким улицам и бульварам.

— Да, — сказал Загорский, — а деньги у вас есть? Учтите, что владельцы здешних авиационных фирм жульничают и за ученье дерут втридорога.

— Брат перевел мне деньги на обучение и на плату за поломки. Я их отработаю. Я буду летать по России и потом верну ему долг.

— Головокружения у вас бывают? Тошноты?

— Головокружения? — покраснев, переспросил Победоносцев. — Нет, у меня никогда их не было. Я поднимался вчера на Эйфелеву башню, переваливался через барьер — и ничего, представьте себе, не почувствовал, ну ровнешенько ничего. («И зачем я говорю неправду? — с огорчением подумал он. — Но ведь он не поможет мне, если признаюсь, что пришлось пережить вчера».)

— Отлично! Хотя, по правде говоря, сам я первый полет не очень хорошо перенес.

Хлынул дождь. Глухо зарычали водосточные трубы. Город сразу стал каким-то зеленым, сквозным, неуловимым в очертаниях.

Они вышли из автомобиля. Загорский шел впереди. Переулок был узкий, старинный. В третий этаж вела круглая темная лестница. Дверь в контору была открыта. Суетливые люди в коротких узеньких пелеринках, обгоняя Загорского и его спутника, быстро прыгали

по ступенькам. За огромным столом, заваленным каталогами фирм и образцами материалов, сидел лысый, скверно выбритый старик в очках.

— Здравствуйте, — сказал Загорский, положив руку на спинку потертого кожаного кресла. — Я к вам по делу. Позвольте вам представить молодого человека, брата моего приятеля.

Победоносцев поклонился. Старик смотрел куда-то в сторону, мимо Победоносцева, словно не замечая его.

— Молодой человек, — повторил Загорский, — хочет учиться в школе Фармана. Денег у него мало.

— Вы не получили еще никаких инструкций из Петербурга? — вспоминая давно прерванный разговор, спросил старик отрывисто и сердито. — Ведь вы сами знаете, что мы ждем ответа со дня на день и уже готовим аэропланы к отправке.

— Пока еще нет, — сказал Загорский, — но молодой человек...

Старик посмотрел, наконец, на Победоносцева, стоявшего возле стола, придвинул к себе чернильницу и начал писать контракт.

«Теперь меня примут в школу, — решил Победоносцев. — Пройдет еще немного дней — и я буду летать на аэропланах, как те люди, портреты которых видел на страницах газет и журналов. Я вернусь в Россию авиатором. Я...»

— Подписывайте контракт! — сказал Загорский. — Завтра же можете ехать в Мурмелон! Если понадобится моя помощь, обращайтесь не стесняясь. В ближайшие дни я, должно быть, уеду в Этамп, но скоро вернусь... Прощайте... Расписание поездов вы найдете на вокзале... Отлично...

Он прищелкнул пальцами и протянул Победоносцеву свою широкую руку. Потом, задержав руку юноши, неожиданно спросил:

— Хотите повидать Блерио?

— Я так был бы рад, — смущенно ответил Победоносцев. — Конечно, если вам не помешаю...

— Что ж, я возьму вас с собой. Как раз сегодня Блерио ждет меня.

Через час Загорский и Победоносцев уже были на за-

воде Блерио. В просторной комнате сидели четверо русских — механики, направлявшиеся в По. Они не говорили по-французски, вот почему тут присутствовал странного вида человечек в помятом котелке и старомодном пальто с широкими рукавами, бывший одновременно и гидом и переводчиком.

Уже в те дни первых успехов авиации русские люди славились на родине и за границей как самые смелые и решительные летчики. Простые русские мастеровые и спортсмены, веселые и смышленные умельцы, брались за руль и быстро завоевывали славу. В Париже и Большом Мурмелоне, в Будапеште и Ницце много говорили о русских мотористах и пилотах. И здесь, на заводе, знали, что они были разносторонними знатоками механизмов.

Быстро распахнулась узкая белая дверь. В комнату вошел, почти вбежал усатый человек в высоком крахмальном воротничке. Это был Блерио — летчик, который в прошлом, тысяча девятьсот девятом году перелетел через Ламанш.

Победоносцев смотрел на него и, странно, не мог найти ничего необычного, неожиданного, из ряда вон выходящего в облике знаменитого авиатора. На минуту воскресли в памяти легенды о подвигах Блерио. Страшен был случай, когда угрожал пожар. Не растерявшись, Блерио спокойно опустился на поле. Боль от ожогов была ужасна. После этого перелета ему долго пришлось ходить на костылях. С костылями же был совершен и перелет через Ламанш.

Впрочем, старший брат Победоносцева говорил, что в описаниях полетов Блерио, появлявшихся на страницах французских газет и иллюстрированных журналов, много было самой обыкновенной рекламы: прославившись как талантливый конструктор и смелый летчик, Блерио нажил деньги и пустил их в оборот. Он стал теперь предпринимателем, главой большой фирмы, и нуждался в рекламе, обеспечивавшей сбыт монопланов его конструкции в тех странах Европы, где еще не существовало собственной авиационной промышленности.

— Господин Блерио, — сказал русский механик, — я испытал ваш моноплан и хочу дать вам совет. Улучшить надо машину.

Блерио улыбнулся.

— Советы русских всегда принимаю с удовольствием. У вас есть только один недостаток: слишком большое презрение к опасности.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

**С**корый поезд уходил в Реймс. Молчаливые пассажиры читали утренние выпуски газет. Ночью было совершено загадочное убийство в отеле возле Сен-Лазарского вокзала. Газеты помещали портрет консьержки, обнаружившей труп старика. Толстая женщина с крючковатым носом, в белом кружевном чепце стояла у двери, торжественно скрестив руки на груди.

Победоносцев рассеянно просматривал газету. Он только теперь вспомнил, что со вчерашнего дня ничего не ел. До еды ли было, когда таким близким стало исполнение заветной мечты... Вагон качнулся. Париж медленно уходил назад. Казалось, и здесь, в вагоне, еще вдыхал Победоносцев запах бензина — он врывается сюда с приглушенными гудками автомобилей, — запах нового века, поставившего девизом своим взрывчатое слово: скорость!

Входная дверь сильно хлопнула, и кто-то громко зашвыстел.

Огромный рыжеволосый мужчина стоял у двери. В руках у него было множество мелких свертков. Он не твердо держался на ногах. Свертки падали на пол. Он наклонялся, подымал их и ронял снова. Соседи оглядывались и сердито покашливали. Рыжий великан был сильно навеселе. Он обернулся. Победоносцев увидел голубые глаза навывкате и крохотные бесцветные брови. В петлице синего суконного костюма желтел цветок.

«Русский...»

Рыжий великан посмотрел по сторонам, еще раз привистнул, еще раз уронил свертки и через весь вагон направился к скамье, на которой сидел Победоносцев.

— Он пе? — сердито спросил он, садясь рядом. — Он не пе?

Француз бы не понял, что хотел сказать этот человек, но Победоносцев подвинулся к самому окну и освободил половину скамьи.

— Он пе? — Рыжий великан снял шляпу, вытер платком пот со лба и улыбнулся. Сверкнули мелкие зубы, тонкие складки прошли возле губ.

Победоносцев, оглянувшись, заметил, что сосед внимательно смотрит на него, еще минута — и обязательно заговорит. Победоносцев хотел помечтать о предстоящей встрече с летчиками, ему не хотелось завязывать случайное знакомство, и больше он ни разу не обернулся, пока поезд не пришел в Реймс.

Попутчик перестал свистеть, голубые глаза его еще больше посветлели, свертки аккуратно лежали на коленях и уже не падали на пол.

— Он не пе, не пе, — ни к кому не обращаясь, сказал он, беспокоясь о чем-то, но Победоносцев не обратил внимания на его слова и направился к выходу.

На вокзале он узнал, что на Шалонской линии произошло крушение и следующий поезд уйдет только вечером. Очень хотелось есть, и следовало прежде всего отправиться в ресторан. Извозчик быстро довез до невысокого дома на площади. Победоносцев долго сидел в ресторане, а после обеда решил отправиться в собор, прославленный путеводителями и географическими справочниками.

Собор был великолепен внутри, но Победоносцев без особого восхищения смотрел на восемь кариатид, поддерживающих пирамиду над хорами. Зато, поднявшись на башню собора, увидев внизу старинные здания города, высокие крыши новых домов, далекие, в желтый туман уходящие деревни, тотчас повеселел и уже без волнения вспомнил свой опыт на круглом балконе Эйфелевой башни. Неодолимая сила влекла его вверх. Откуда взялась любовь к небу у ученика Седьмой санкт-петербургской гимназии?

Увлечение авиацией, вырезки из петербургских газет, портреты знаменитых пилотов — как неожиданно это пришло... Впрочем, теперь некогда заниматься воспоминаниями. Он знал только одно: там, в летной школе, начнется новая жизнь.

Наконец-то маленький поезд, тихо покачиваясь на поворотах, ушел из Реймса. Рядом с Победоносцевым сидел давешний незнакомец. Он долго смотрел на соседа, подмигивал, кашлял, собирался заговорить. Победоносцев отворачивался.

— Послушайте, я хочу с вами познакомиться. Вы — русский?

Победоносцев снял кепку и чуть наклонил голову.

— Тентенников, — сказал незнакомец, снимая шляпу и приглаживая густые рыжие волосы. — Тентенников, — повторил он еще раз. — Тентенников.

— Куда вы едете?

— В Мурмелон ле Гран. В Большой Мурмелон. В городок, где ломают ребра и прыгают по облакам.

— Да что вы говорите?! — воскликнул Победоносцев. — Я еду туда же.

— Не в школу ли Фармана?..

— Как же, я зачислен в его школу...

Тентенников радостно заулыбался.

— Ну, то-то же, вот мне и подвезло. Наконец-то русского встретил. Вы представить себе не можете, как я истосковался тут в одиночестве, без родных и знакомых. Насчет французского диалекта очень уж я слабоват. Только и знаю, что мерси боку да он не пе, да это еще, как его, пурбуар, — чего изволите и нельзя ли с вас получить... Ни одной справки навести не могу, всюду опаздываю, денег идет уйма — чистое разорение, а ведь капиталов особых у меня не имеется.

Поезд остановился на маленькой станции среди поля. Несколько пассажиров вышли из вагона. Паровоз загудел и медленно тронулся дальше.

— На следующей нам выходить — Малый Мурмелон, — сказал Победоносцев, поднимая свой чемодан.

— Превсенепременнейше, — отозвался Тентенников, собирая свертки.

«Какой милый, хороший парень, — решил Победоносцев, направляясь к выходу из вагона. — Очень славный. Очень. И почему я только не захотел познакомиться с ним, когда он подсел ко мне давеча, в реймском поезде, понять не могу».

Ему стало неприятно: так вот, ни за что ни про что, обидел соотечественника...

— Будемте друзьями!

Тентенников выронил свертки и протянул новому знакомому свою большую волосатую руку.

«Вот ручища! Такой рукой аэроплан поднять можно, а уж подкову-то он, должно быть, согнет не поморщившись».

— Смотрите, смотрите! — закричал Тентенников. — Аэроплан летит...

Оба бросились к окну. Вдалеке, на самом горизонте, маленькая черная точка, чуть дрогнув, медленно поднималась вверх.

— Летит, летит, — простонал Победоносцев.

Тентенников тоже внимательно смотрел на черную, постепенно уменьшавшуюся точку и вдруг фыкнул:

— Обознались, дорогуша, обознались. Да это же просто мельница. Видите, вон там, вдалеке, крыло...

Победоносцеву стало почему-то неприятно, он нахмурился и замолчал. Поезд остановился.

— Мурмелон Пти, Малый Мурмелон, — сказал Победоносцев, сходя на платформу. — Чувствуете ли вы, Тентенников, что мы близко, в нескольких верстах от нашей школы?

— Вот уж я рад, что встретился с вами! Без вас мне бы тут никак не найти дороги. Разговор здесь быстрый какой-то... А я-то сам — нижегородец... У нас, на Волге, слова круглые, беседу ведем не торопясь...

Они сели в переполненный омнибус. Обгоняя омнибус, промчался длинный автомобиль, оставивший на песке глубокий след, чем-то похожий на чешуйчатую спину змеи. Тентенников радостно вдохнул знакомый запах бензина. Навстречу ехали крестьяне на высоких двухколках, спешили велосипедисты, медленно шли пешеходы. Вскоре показались первые дома Большого Мурмелона. Омнибус проехал мимо военного лагеря. Победоносцева удивили маленькие одноэтажные дома, возле которых стояли солдаты и офицеры, — казармы расположенной в Мурмелоне воинской части походили на дачные строения.

Возле кафе Победоносцев и Тентенников сошли на тротуар и несколько минут стояли молча. Очень тихо было в Мурмелоне — небольшом селении с двумя прямыми улицами, фотографией, магазинами и кафе.

— Куда же мы теперь подадимся? — прервал молчание Тентенников.

Победоносцев на минуту задумался.

— Конечно, на Шалонское поле. Там, должно быть, уже летают. Надо сегодня же посмотреть... обязательно сегодня...

— Так с вещами и пойдем к аэропланам? Того и гляди я свои свертки потеряю по дороге — боялся опоздать на поезд и не успел зайти за чемоданом.

— Что же, вещи можно отдать на хранение. К тому же и есть хочется. Зайдемте сперва в кафе.

Они зашли в кафе. Победоносцев заказал обед и бутылку вина. Толстый мужчина с шрамом на подбородке поставил на стол стаканы.

— Туристы? — спросил он Тентенникова.

— Он пе... мерси боку, — пробормотал Тентенников и умоляюще посмотрел на Победоносцева.

— Нет, мы не туристы. Мы — русские, будущие авиаторы. Приехали сюда учиться. Скоро будем летать над Мурмелоном.

— Вы удачно приехали. Сегодня очень интересная программа полетов. Я советую вам сразу же после обеда пойти на Шалонское поле. Там летают нынче мои любимые авиаторы Вахтер и Соммер. Они сегодня собирались поставить рекорд высоты. У них, правда, есть серьезный противник — ваш соотечественник, мсье Быков, но его аэроплан сейчас ремонтируется...

— Что он говорит? — откупоривая бутылку, спросил Тентенников.

Победоносцев перевел слова толстяка и отодвинул тарелку с жарким.

— Вы что же это?

— Наелся, уже наелся. Ешьте скорей, и пойдем туда...

Тентенников не торопился. Он медленно ел, запивал котлету кислым вином и вздыхал:

— Паршивое вино! И как люди пьют такую кислятину? Похоже на уксус...

— Скорей, скорей, не то опоздаем... — Победоносцев быстро заходил по комнате, с нетерпением ожидая, когда Тентенников, наконец, подымется из-за стола.

— А вещи куда же?



— Вещи? Оставим здесь. Может быть разрешите?.. — обратился Победоносцев к хозяину кафе.

— Пожалуйста.

Они вышли на улицу.

Нарядные автомобили ехали к Шалонскому полю. Мужчины в кожаных костюмах, ушастых шапках, громадных очках; женщины в модных блузах из муслина, в шелковых платьях, голубых с черными полосами, с пышными сборками на рукавах; дети в коротеньких штанах и бархатных курточках.

Победоносцев и Тентенников шли быстро, но все-таки их обгоняли пешеходы с биноклями и толстыми суковатыми палками. Минут через десять, за поворотом, они миновали широкий ангар и сразу увидели Шалонское поле. По ту сторону поля подымались деревянные ангараы и сараи, накрытые брезентами. Лесок уходил в синюю прозрачную даль. На огромном неогороженном поле не было ни одного аэроплана. Перед ангаром стояла небольшая группа спортсменов. Фотограф суетился, расставляя их полукругом. Победоносцев узнал веселое смелое лицо Губерта Латама.

— Смотрите, это сам Губерт Латам. Замечательный летчик. Всю жизнь он ищет сильных ощущений. Он ездил охотиться на львов в Абиссинию. Идеальный спортсмен. Когда разбился Делагранж, он сказал: «Я оплакиваю превосходного товарища», потом поднялся в воздух и поставил рекорд высоты, тогда это было немного... сто метров. Может быть, новый рекорд поставим мы с вами?

Тентенников ничего не сказал в ответ. Он ничему не удивлялся, ничем не восторгался. Он спокойно стоял на краю Шалонского поля, широко расставив ноги и засунув руки в карманы брюк. Можно было подумать, что он ничем не интересуется и разглядывает поле только для того, чтобы найти удобное место, где можно поваляться на траве. Женщина, стоявшая в середине группы, первая французская авиаторша, бывшая актриса, именовавшая себя баронессой де Ларош, шевельнулась, и фотограф высунул голову из-под чехла. Концы толстых черных усов фотографа были старательно закручены. Когда он вынимал голову из-под чехла, завитки раскручивались, как пружины.

У дальнего ангара суетились механики. Победоносцев, рассматривавший Губерта Латама, не заметил, как, разбегаясь, запрыгал по полю аэроплан. Фотограф унес свой аппарат, и авиаторы, прислонившись к стенке ангара, внимательно следили за медленно взлетающим аэропланом.

— Вахтер, наконец-то летит Вахтер, — сказала женщина, стоявшая возле Победоносцева. — Смотрите, как волнуется его жена.

Победоносцев увидел женщину в автомобиле, хорошенькую, в мелких черных кудряшках. Она, волнуясь, смотрела вверх. Победоносцев глядел на ее запрокинутую голову, на очень медленно подымавшийся аэроплан, на огромное зеленое поле, на рабочих, суевившихся возле ангаров, и ему захотелось поскорее подняться вверх, как можно выше, чтобы все эти люди, все это множество машин и деревянных строений, простенький этот лесок, нарядные эти автомобили жили его рекордами, бредили его славой. . .

— Лететь, немедленно лететь, сейчас же начать учиться, — сказал Победоносцев и, схватив Тентенникова за рукав, побежал с ним к ближайшему ангару. — Где здесь учитель школы Фармана? — спросил он маленького человека в кожаном костюме, задумчиво сосавшего витую матросскую трубку.

— Учитель? — спросил маленький человек, вытряхивая пепел из трубки и мигая красноватыми веками. — Учитель? — переспросил он, вытирая трубку рукавом. — Здесь нет учителей. Если вам нужен профессор школы, то я могу поговорить с вами. Я — профессор Риго.

Низенький, коренастый человек с волосатыми ушами, старательно выбивавший табак из трубки, не был похож на петербургских профессоров. Победоносцев удивился. Он не знал еще тогда, что преподаватели авиационных французских школ для пущей важности зачастую называли себя профессорами.

— Отлично, господин профессор, — сказал он. — Я зачислен в школу и сегодня же хочу начать занятия.

Риго улыбнулся и спрятал трубку в карман.

— Когда вы приехали в Мурмелон?

— Сегодня.

— Тогда понятно, что вы еще не знаете правил нашей школы. Вам долго придется пожить в Мурмелоне, пока вы сможете начать полеты...

— Но я приехал сюда не для того, чтобы бездельничать.

— Простите, — ответил Риго, — я хочу посмотреть, как будет спускаться Вахтер. Приходите сюда завтра утром и, главное, не торопитесь. Вы никогда не станете хорошим авиатором, если будете спешить.

Риго поклонился, снова набил трубку и повернулся спиной к Победоносцеву.

— Ну что? — спросил Тентенников.

— Ничего не понимаю. Отложил разговор до завтра. Советует не торопиться...

Вахтер начал спускаться. Когда его аэроплан, быстро пробежав по полю, остановился возле самой опушки леса, кто-то захлопал в ладоши, быстро и шумно. Зрители стали расходиться. Загудели рожки автомобилей. Поле постепенно пустело.

В ту раннюю пору авиации каждый час полетов становился историей, каждый день приносил победу. Что ни полет — то рекорд, что ни посадка — то событие. Человек подымется на несколько сот метров — и сразу же известие о его полете облетает все газеты. В самом начале большой эпохи жили летчики, и слава была уделом пионеров.

Тентенников и Победоносцев вернулись в кафе. Почти все места уже были заняты. За круглым столом сидела большая компания авиаторов. Тентенников и Победоносцев сели неподалеку.

За круглым столом говорили по-французски. Широкоплечий человек в авиаторской шапочке молча курил. Кожаная куртка топорщилась на его могучих плечах. Рядом сидел черноволосый авиатор с зеленым жетоном на груди. Черноволосый сердито упрекал своего соседа. Победоносцев прислушался. Они говорили по-русски.

— Как тебе не стыдно! Я жду от тебя сочувствия, а ты сам начинаешь ругать. Войди в мое положение: после того как я вышел из больницы, каждый день по нескольку раз бегаю на Шалонское поле, упрашиваю, умоляю, чтобы меня пустили к аппарату, и вдруг ты говоришь, что я нарочно оттягиваю полеты...

Широкоплечий авиатор закурил новую папиросу и спокойно ответил:

— Я предлагал поучить тебя, а ты почему-то отнекивался, не хотел...

— Неужели ты не можешь понять, почему? — горючился черноволосый. — Я не хотел пользоваться услугами профессионала, с которым буду состязаться в России.

— По-купецки рассуждаешь, по-торгашески, — тихо сказал широкоплечий авиатор. — И состязаясь, думаю, можно остаться друзьями. Так-то, Хоботов...

Черноволосый поднялся и сердито ударил кулаком по столу.

— Завтра же полечу. А слов твоих о торгашестве ввек не позабуду — погоди, еще придешь да поклонись мне...

Он был пьян, растрепан, и слова вылетали из его рта с легким присвистом.

Широкоплечий авиатор пожал плечами. Черноволосый крикнул что-то по-русски, схватил шляпу и выбежал из кафе.

В кафе было шумно и весело. Люди многих национальностей Европы — русские, французы, англичане, итальянцы, немцы — сидели за круглыми столиками, пили вино и пиво, шумно спорили, смеялись, и разноязычный несмолкаемый гул волновал, кружил сердце, заставлял Победоносцева еще больше мечтать о заветном призвании. Сегодня штурмуется небо, и как радостно слышать в Мурмелоне русскую речь, знать, что русская молодежь занимает здесь достойное место.

Победоносцева особенно заинтересовал авиатор в кожаной куртке — в его повадке было столько спокойствия и уверенной силы, что все обращались к нему как к старшему и более опытному товарищу, хоть он был моложе многих, сидевших рядом с ним.

Захотелось познакомиться с этим человеком. Победоносцев долго обдумывал, с чего бы начать разговор, потом, махнув рукой, подошел к столу.

— Простите... Позвольте познакомиться. Будущий летчик Победоносцев. Мой приятель Тентенников, — показал он рукой на своего нового знакомого, сидевшего за соседним столиком.

Авиатор улыбнулся. Победоносцев увидел его крепкие широкие зубы и тоже улыбнулся в ответ.

— Мы только сегодня приехали. Ничего еще не знаем. Словно в лесу...

— Что ж, познакомимся. Быков.

Быков! Победоносцев чуть не присел на месте. Как же, он знает эту фамилию. О Быкове говорил сегодня хозяин кафе. А перед отъездом в Париж Победоносцев видел портрет Быкова в «Огоньке». Среди первых русских летчиков имя Быкова одно из самых известных... Он окончил школу Фармана и за несколько месяцев стал грозой летчиков-спортсменов. На больших и трудных авиационных соревнованиях во Франции он несколько раз брал первые призы.

Быков протянул Победоносцеву руку:

— Присаживайтесь к нам...

— Он меня не понял, — зачастил итальянец, продолжая прерванный разговор. — Я его не хотел обидеть. Я хотел сказать, что суеверия никогда не обманывают авиаторов. Я видел Делагранжа за две недели до его смерти. Он сидел в ресторане и рассказывал, что верит в тайну цифр. Особенно он любил число тринадцать.

— А Монессан боится черных кошек, — вставил кто-то, — и если кошка ему перебежит дорогу — отменяет полет. Из-за этого он платил однажды неустойку...

— А Сантос-Дюмон? — сказал Победоносцев. — Когда он впервые летал, бульварные парижские редакции ждали его смерти. В газетах были заготовлены тогда два некролога: один о римском папе, который был очень плох, совсем безнадежен, второй — о Сантос-Дюмоне...

— Кто вы такой? — быстро спросил итальянец. — Откуда вам известна жизнь Сантос-Дюмона?

— Я читал его книгу «В царстве воздуха».

— А я думал, что вы его личный друг, — посмеиваясь, развел руками итальянец. — Чего же он боится, Сантос-Дюмон?

— Нет, я не о том, чего боится. Я о том, что он постоянно носит на груди образ святого Бонифация, подарок своего отца...

Тентенников встал из-за соседнего столика и подошел к Победоносцеву.

— Свинья, ну и свинья же вы, — сказал он громко и отчетливо.

— Что вы хотите сказать?  
— Не по-товарищески вы поступаете...  
— Позвольте...  
— Ехали вместе, а теперь уходите от меня, оставляете одного за столиком...

— Простите, — извинился Победоносцев, — пожалуйста, простите. Я сейчас... Господа, прошу любить и жаловать моего приятеля, будущего авиатора Тентенникова.

Тентенников поклонился.

— Давно из России? — вежливо спросил итальянец.

Тентенников разом сказал три известные ему французские фразы насчет «он пе», «мерси боку» и «пурбуар», важно поглядел на итальянца и, подозвав девушку, разносившую вино, поднял вверх палец. Девушка сразу поняла, чего от нее требует Тентенников, и поставила на столик бутылку бенедиктина.

— Он пе? — спросил Тентенников и протянул стакан с ликером итальянцу.

Тот кивнул головой и поднес стакан к пухлым красным губам.

— Из России? — спросил итальянец по-французски.

— Да, да, с самой Волги-матушки, — гордо ответил Тентенников. — Нижегородский уроженец. Слышали небось про такой город? Да и Горького, наверно, читали... Земляк наш, тоже нижегородский...

Итальянец, осторожно дотронувшись пальцем до широкой груди Тентенникова, торопливой скороговоркой принялся что-то объяснять своему новому знакомцу, но волжский богатырь лениво махнул рукой:

— Да помолчи ты немного, а то как в колотушку сто-рож — без передышки колотишь.

И хоть трудно пришлось в тот вечер говорливому итальянцу, но дальше пили они молча. Тентенников медленно хмелел, а лицо итальянца, непривычного к большим порциям бенедиктина, приобрело какой-то ржавый оттенок.

Победоносцев сидел на краешке стула и внимательно наблюдал за своими соседями. Коренастый, с широкими плечами и могучей спиной, расправившей узкую авиационную куртку, Быков был неразговорчив и задумчив. Он молча тянул бенедиктин и, чуть прищурив глаза, смотрел на соседей. В юности часто стремятся кому-нибудь под-

ражать, все равно в чем, лишь бы повторять черты более сильного человека, — Победоносцев не просидел за круглым столом и получаса, как стал подражать Быкову. Быков пил бенедиктин маленькими глотками, и Победоносцев, думавший раньше, что особое молодечество — в шумном опрокидывании стаканов и многозначительном покашливании после каждого большого глотка, сразу отказался от своей привычки. Быков молчал — и Победоносцеву захотелось говорить как можно меньше. Быков сидел неподвижно, не делая лишних движений, — Победоносцев перестал суетиться и, упираясь в спинку стула, старался не менять позы.

— Мы говорили о суевериях, — сказал итальянец, — и, странно, не вспомнили о Жаклене.

— О Жаклене? В самом деле, где она теперь? — отозвался кто-то. — Я много слышал о ней. Занятная женщина.

— Занятная? — обиделся итальянец. — Это мало сказать о Жаклене. У нее классический профиль и замечательная фигура. Я знал ее в Париже, когда занимался воздушными шарами. Она любила немного выпить; один журналист, побывав у нее, рассказывал даже, что его угощали прекрасной похлебкой из виски и чудесным пудингом на роме. Может быть, он и врал. У нее была веселая профессия: уцепившись зубами за крючок, подвешенный к корзине воздушного шара, она поднималась почти на полторы тысячи метров...

Победоносцев побледнел. Ему казалось, что он никогда не сумел бы так рисковать, как Жаклена... А вдруг в самый опасный момент, пролетая над городом, он попробовал бы чуть приоткрыть рот, немного, самую малость?.. О том, что могло произойти дальше, он старался не думать.

— ...Она сделала девяносто девять таких полетов, — продолжал итальянец. — В один прекрасный день, когда нужно было делать сотый полет, она вдруг испугалась, решила, что это число может оказаться роковым, и навсегда забыла свою профессию...

В кафе засиделись допоздна. Много сплетен довелось в тот вечер услышать Победоносцеву. Ему казались мелкими и недостойными летчиков споры из-за пустяков и пересказы происшествий, вычитанных из уголовной

хроники бульварных парижских газет. Трое русских, сидевших за столом, почти не принимали участия в беседе. Тентенников и не мог бы ни о чем толковать со своими соседями, так как не знал языка. Победоносцева удивляла молчаливость Быкова. Знаменитый летчик смеялся, когда рассказывали о каком-нибудь смешном происшествии, односложно отвечал на вопросы, но чувствовалось, что его мало интересует торопливая, нервная болтовня собеседников. Он облегченно вздохнул, когда стали подыматься из-за стола, и взял за локоть сидевшего рядом с ним Глеба.

— Удивляетесь небось, что тратим время на такую пустую болтовню?

— Очень удивляюсь.

— Ничего, поживете тут, попривыкнете... Кстати, где вы остановились? — спросил Быков, выходя из кафе.

— Мы еще не успели подумать об этом...

— У нашей хозяйки есть свободные комнаты. Если хотите, я вас устрою.

Тентенников шел под руку с сильно захмелевшим итальянцем и блаженно повторял:

— Он пе, он не пе, мерси боку... Вот погодите-ка, полечу завтра, тогда узнаете, каков Тентенников в деле...

Был он очень высок ростом, очень широк в плечах, и маленький итальянец, семенивший с ним рядом, походил издали на мальчика, гуляющего со взрослым женщиной.

— Простите, — сказал Победоносцев, обращаясь к Быкову, — как вы думаете, смогу ли я завтра же начать полеты?

— Завтра? Ну нет, здесь это так просто не делается. Школа здешняя набирает больше учеников, чем может обучить, и потому многим приходится ожидать очереди по два, по три месяца. Я сам ожидал два месяца... даже научился за это время немного болтать по-французски.

Было в Быкове что-то, располагавшее к откровенности. Победоносцев сразу рассказал ему о своих надеждах и чистосердечно признался, что с волнением вступил на мурмелонскую землю: ведь здесь люди овладевают воздушной стихией, завоевывают небо. Как должна возвышаться людей борьба за господство над стихией, сколько светлых порывов живет в сердце каждого, как благо-



родно поступает летчик и конструктор Фарман, открывший в Мурмелоне летную школу...

Быков только плечами пожимал в ответ и, когда Победоносцев, наконец, замолчал, сердито сказал:

— Глупости вы говорите, господин будущий летчик! У нас, к несчастью, еще есть на Руси люди, на расстоянии рисующие здешнюю жизнь розовыми красками. И вам из петербургского далека казалось, будто в школе Фармана хорошие порядки. Немного времени пройдет, и вы поймете сами, как ошибались, мечтая о Мурмелоне! Сюда приехали, правда, и люди, полюбившие летное дело, мечтающие о победе над силами природы, но немало понабралось и разного сброда. Тут немецкие и английские шпионы и попросту всевозможные авантюристы, стремящиеся в своих выгодах использовать будущий прогресс авиации. Наше кафе порою напоминает самую грязную биржу... А уж о том, как учат в школах Блерио и Фармана, — и говорить не хочется... Деньги с учеников берут большие, а учат спустя рукава. Учебных аэропланов мало, и большинство из них самого скверного качества. Моторы неисправны, кашляют в полете, словно больны гриппом. И если вы повздорите с пилотом-преподавателем — здесь их почему-то называют профессорами, — то долго придется вам помучиться, пока он вас допустит к полетам. А поднявшись в небо, профессор нагло улыбнется и вдруг заявит, что летать сегодня невозможно, — дескать, над аэродромом сейчас воздушный вихрь, и нужно немедленно спускаться...

Победоносцев с изумлением смотрел на Быкова.

— Неужели вы правы? — тихо повторял он. — А я так поверил в свое будущее, когда меня приняли в школу...

— Бывают вещи и похуже, — раздражаясь и повышая голос, говорил Быков, — случаются порой и преднамеренные поломки.

— Преднамеренные? — уже совершенно изумился Победоносцев. — То есть как я должен понять вас? Неужели кто-нибудь нарочно ломает аэроплан?

— Вот именно! Зачастую учебные аэропланы так плохи, что сразу же на взлете ломаются. Это и называется преднамеренной поломкой: платить за ремонт аэроплана приходится ученику из собственного тощего кармана...

Победоносцев, нахмурившись, шел рядом с Быковым и больше ни о чем не расспрашивал летчика. Как непохожи были первые мурмелонские впечатления на то, что ожидал он, Победоносцев, здесь увидеть, когда читал в газетах статьи и заметки о летных школах Фармана и Блерио...

Было очень темно. Издалека доносились свистки паровоза. Мурмелон спал. Где-то скрипели повозки, рожок велосипедиста загудел на перекрестке, и снова наступила теплая пахучая тишина.

Прощаясь, Быков задержал на минуту руку Победоносцева в своей руке.

— Если туго придется на первых порах — не стесняйтесь, обращайтесь ко мне.

Он поднялся по скрипучей лестнице во второй этаж, и Победоносцев долго смотрел ему вслед.

В том же доме, где жил Быков, сняли комнату и Победоносцев с Тентенниковым; они решили жить вместе, и рыжий богатырь, расчувствовавшись, поклялся, что до конца дней своих будет дружить с Глебом...

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ



Назавтра, прыгнув с постелей и наскоро умывшись, не успев даже позавтракать, Победоносцев и Тентенников пошли на Шалонское поле. Утро только начиналось, роса блестела на листьях деревьев. За ночь расцвели широколистые высокие цветы. В белую сквозную даль убегали яркочерные поляны. На деревьях распевали птицы. Крестьянские двуколки гремели на ближней дороге.

На поле уже собрались вчерашние посетители кафе. Быков выводил из ангара свой аэроплан. Мсье Риго стоял возле и тоненькой тросточкой бил себя по ляжкам. Победоносцев вежливо поклонился:

— Господин профессор...

Мсье Риго не ответил на поклон и раздраженно спросил:

— В чем дело?

— Я был уже у вас, — мы были с товарищем, — я хочу спросить, когда я смогу летать?

— Когда? Не раньше, чем через месяц...

— Простите...

— Мне некогда, — рассердился Риго. — Никто не начинает заниматься сразу.

Победоносцев перевел слова профессора.

— Я же к вам не из милости приехал, я платил деньги! — закричал Тентенников.

— Поезжайте в Париж, вам их вернут.

— Подлая рожа. На ней, как на пюпитре, можно ноты раскладывать, — ругался Тентенников.

Мсье Риго стукнул тросточкой по носкам начищенных рыжевато-коричневых штиблет и ушел в ангар.

— Что же теперь делать? — спросил Тентенников. — Этак мы никогда в Россию не вернемся!

По полю проходил итальянец. Тентенников заговорил с ним по-русски. Итальянец слушал, наморщив лоб, потом вдруг улыбнулся, взял Тентенникова за руку и повел к своему аэроплану.

С того дня Тентенников начал помогать итальянцу: смазывал машину, наливал касторовое масло в баки и каждый раз, когда Победоносцев посмеивался над ним, хитро шурился и весело басил:

— У меня характер серьезный. Черной работы не боюсь — деды и прадеды мои недаром на Волге бурлачили. Я хорошо знаю мотоцикл и автомобиль — значит, мотористом быстро смогу стать. А итальянец — белоручка, он рад, что я с утра до ночи вожусь с машиной...

Победоносцев не мог найти дела. Он огорчался, что в то время, когда десятки людей работали и учились, ему приходилось разгуливать по полю, ничего не делая, засунув руки в карманы, и мечтать о том далеком дне, когда впервые удастся совершить полет над Шалонским полем. С мсье Риго он встречался ежедневно, тот начал, наконец, здороваться с Победоносцевым, однажды даже протянул ему руку и ласково сказал:

— Мой друг, вам придется еще прождать месяца полтора.

Победоносцев был одинок — теперь он встречался с Тентенниковым только по вечерам. Тентенников приходил домой усталый, забрызганный касторовым маслом, быстро

ужинал, не раздеваясь ложился на кровать и сразу же засыпал. Но прошло пять дней, и Тентенников поссорился с итальянцем: тот стал обращаться с волжским богатырем как с подмастерьем, — Тентенников рассвирепел, приподнял его за шиворот, сильно потряхнул и наговорил множество неприятных слов, что, впрочем, не удивило его самоуверенного собеседника.

— Я к тебе с открытым сердцем шел, а ты о своей маленькой пользе думал, — сердито приговаривал Тентенников и с этого дня перестал с ним здороваться.

Вскоре Победоносцев свел знакомство с жившим в Мурмелоне московским купчиком Хоботовым. Во время полетов и учебных занятий, прогуливаясь по Шалонскому полю, Хоботов рассказывал смешные истории об учениках и преподавателях школы. Если Победоносцеву случалось задержаться в деревне, Хоботов убегал с аэродрома, находил своего нового знакомого и, схватив его за локоть, долго ворчал:

— Нехорошо, Глеб Иванович, нехорошо... Я ведь к вам всей душой расположен. Мне кажется, вы единственный интеллигентный человек в здешней компании, а избегаете меня...

Победоносцеву очень не хотелось идти на аэродром, но слова Хоботова были так ласковы и добры, жесты так изысканны и предупредительны, что через несколько минут, взявшись за руки, они уже шли на Шалонское поле.

Гуляя по полю, Хоботов обычно обсуждал летные способности своих товарищей.

— Быков, — повторял он, — но он же бездарность, тупой человек, бык, — имейте в виду, я верю в фамилии. Ваша определенно сулит победу... Быков родился под счастливой звездой, поэтому ему и везет. А мсье Риго? Да это же заяц! Он просто со страху летает, с испугу какого-то, словно лунатик. Заметьте, у него длинные вывороченные веки — такой человек не может быть храбрцом. Вот, погодите, я полечу...

Победоносцева удивляла нежная, почти навязчивая дружба Хоботова. Порой он думал, что Хоботов чувствует в нем будущего знаменитого летчика и поэтому хочет заранее подружиться. Они теперь бывали вместе

не только на аэродроме, но и обедали вместе, вместе гуляли по вечерам и даже письма в Россию писали, сидя за одним столом друг против друга. Хоботов научил своего нового приятеля курить, рассказал, какие сорта вин следует предпочитать, и познакомил с некоторыми образцами новейшей декадентской беллетристики.

Хоботов был странный, болезненный, очень озлобленный человек. Он во всем старался походить на парижанина — и стоило только войти в моду какому-нибудь особенно крикливо пестрому галстуку или немислимо узким брюкам в цветную клетку, как тотчас же в соответствующем одеянии появлялся Хоботов на летном поле. Он щеголял своим хорошим французским произношением и, подсмеиваясь над добродушным Тентенниковым, всегда упрекал его за пристрастие к косоворотке, к сапогам с высокими голенищами.

— Окультуриться надо ему немного в отношении одежды, — говаривал он о Тентенникове, остерегаясь все-таки сказать это в глаза обидчивому и скорому на расправу волжскому богатырю.

Победоносцев казался Хоботову более подходящим собеседником. Глеб плохо знал людей и не понимал истинной причины этой неожиданной дружбы. Хоботов был робким, неуверенным человеком. Больше всего он боялся одиночества: тогда приходилось делать самому себе неприятные признания. Сын богатого московского купца, Хоботов, несмотря на свою молодость — ему было двадцать шесть лет, — прожил жизнь, полную приключений и самых странных случайностей. Он последовательно увлекался велосипедом, мотоциклом, автомобилем, французской борьбой и футболом. Он был известным в Москве любителем — за несколько лет не было ни одного крупного спортивного состязания, в котором бы не участвовал Хоботов. Дядя Петя, знаменитый среди русских борцов антрепренер, огромный мужчина с холеными усами, не советовал ему становиться спортсменом-профессионалом. Хоботов не послушал дядю Петю и испытал ряд неудач во многих видах спорта. Его губило непомерно развитое чувство самосохранения. На мотоциклетных гонках он никогда не торопился. Боксируя, думал только о своем носе. Играя в футбол, щадил свои колени. Неудачи потрясали его, и он поклялся:

попробую заняться аэропланом; если же и здесь не выйдет, брошу спорт, стану помогать отцу, куплю фабрику или в акционерное общество какое-нибудь пойду служить.

И с аэропланом не повезло Хоботову: в первом же самостоятельном полете он разбился, два месяца пролежал в больнице и больше не решался один подыматься в воздух. Конечно, ему нечего было теперь делать в Мурмелоне, но была в самом небе Шалонского поля, в торопливом темпе здешней жизни, в лихорадочно быстрой смене рекордов, знаменитых имен, прославленных конструкций какая-то упительная сладость, и Хоботову не хотелось думать об отъезде.

Поняв, что Хоботов — трус, по прямому и резкому характеру своему Быков не постеснялся сказать об этом Хоботову — и озлобил его. Озлобленных, нервных завистников было немало в те дни в Большом Мурмелоне. Победоносцев научился распознавать их по лихорадочному румянцу на щеках, по злым искоркам в глазах, по привычке злословить о добрых знакомых.

Хоботов собирался сделать еще одну — последнюю — попытку подняться в небо.

— Я твердо решил перебить свое невезение, — говорил Хоботов, прохаживаясь с Победоносцевым по летному полю. — Так и в картах бывает: сперва не везет, а потом, как перебеешь карту, сразу полегчает. Вот Быкову пока везет — ничего не скажешь. А дальше что будет? Мы с ним приятели, на «ты», душа нараспашку, — а не верю я в его планиду...

Победоносцев сказал, что ему, наоборот, Быков понравился с первого взгляда. Купчик вытянул губы, усмехнулся:

— Молодо-зелено. Просто по своей жизненной неопытности вы увлекаетесь героем дня...

В день последнего испытания Хоботов просил Победоносцева не приходить с утра на аэродром:

— Я боюсь, что заговорюсь с вами, разнервничаюсь и упаду. Приходите только к самому часу полета.

Победоносцев обещал не приходить, и утром, впервые за время их знакомства, Хоботов один ушел на Шалонское поле. С самого утра возился он в ангаре, был ожесточен, чем-то недоволен и даже не поздоровался с Бы-

ковым, когда тот подошел к нему, раскачиваясь на носках, словно готовясь к прыжку.

— В полном порядке, — улыбнулся Быков. — Дай-ка я помогу тебе осмотреть этажерку. Не случилось бы опять...

— Нет, ничего, ничего, — ворчал Хоботов. — Ты не беспокойся.

После обеда Победоносцев пришел на поле. Быков насмешливо спросил его:

— Ну, как вы? Еще не летаете? Господин Фарман дал вам учебный самолет?

Минут через двадцать Хоботов зарулил на аэродроме и оторвался от земли.

— Наконец-то, — сказал Быков. — Он как-то мне объяснял, что неврастения у него наследственная — от отца... Ну, да какой же его папаша неврастеник — этакой громогласный банковский воротила... Попросту говоря — трусит Хоботов...

— Смотрите, — закричал Победоносцев, — да он же падает!

Аэроплан быстро падал. Он падал с небольшой высоты, и все-таки то, что произошло в следующую минуту, было страшно.

Хоботов лежал под обломками, широко раскинув руки. Лицо его было в крови, рукав кожаной куртки разорван. Мсье Риго подбежал к Хоботову и помог поднять его с земли. Обернувшись, мсье Риго увидел серые спокойные глаза Быкова и, сильно ударив себя тоненькой тросточкой по колену, зажмурился. Солнце стояло высоко над Шалонским полем. Было душно, как перед грозой. Мсье Риго открыл глаза. Быков стоял все в той же позе, широко расставив ноги, и в упор смотрел на профессора.

Победоносцев с удивлением наблюдал за мсье Риго. «Не иначе как он боится Быкова. Смотрит на него как провинившийся школьник».

Хоботова унесли с поля. Победоносцев, бледный, взъерошенный, подошел к Быкову.

— Ужасный случай, — сказал он, хмурия брови.

— Очень неприятный...

— Страшно, хотя к этому и надо привыкать. В прошлом году была анкета — опасны ли полеты. «Нет, нет,

если над полем», — сказал Сантос-Дюмон. «Нет», — подтвердил Фарман. Но я думаю, что правы были Вуазен и Ферюс, — полеты постоянно опасны.

Быков пожал плечами и ничего не сказал в ответ: ему была непонятна привычка Победоносцева рассуждать о вещах, в которых тот ничего не смыслил. «Вот ведь как, — подумал Быков, — и за руль еще ни разу не брался, а уже поучает меня...» И все-таки этот высокий юноша с доброй улыбкой и подстриженными ежиком светлыми волосами чем-то нравился ему, — чувствовалось, что Победоносцев ко всему в жизни относится с удивительной серьезностью и добросовестностью.

Мсье Риго, мелкими шажками прохаживавшийся вокруг разбитого аэроплана, подошел к Быкову и, размахивая тоненькой тросточкой, сердито спросил:

— Вы мне что-то хотели сказать, мсье Быков?

— Я? Нет, вы ошибаетесь. Именно теперь мне особенно не хочется разговаривать с вами.

— Но в вашем поведении мне почудился какой-то неприятный вызов. Словно вы меня обвинить хотите в какой-то несуществующей вине...

— Ну, здесь вы, мсье Риго, ошибаетесь: вина ваша для меня беспорна.

— На что вы намекаете? — побледнев, спросил Риго, отступая на несколько шагов назад и растерянно мигая красноватыми веками.

— Опять преднамеренную поломку подстроили? Разве трудно понять, что аппарат вы выпустили в полет без надлежащего осмотра? Знаете, что Хоботов — богатый человек, мощна у него толстая, вот и решили подзаработать на преднамеренной поломке. Дескать, денег у него хватит, счет оплатит полностью...

— Неужели бы мы стали из-за денег рисковать чужой жизнью? — высокомерно спросил мсье Риго, задом пятясь к ангару.

— А из-за чего еще осмелились бы рисковать ею? — взбешенно проговорил Быков. — К тому же вы знали, что аэроплан упадет с небольшой высоты и серьезное увечье вашей жертве не грозит...

Мсье Риго испуганно замахал руками и опрометью побежал к ангарам.



Несколько дней подряд ходил Победоносцев в больницу, но врач не пускал его к Хоботову: больной нервничает и никого не хочет видеть.

— Он тяжело ранен? — участливо спросил Победоносцев.

— Ничего серьезного — ушибы, кровоподтеки, легкий перелом.

— Ест ли он по крайней мере?

Врач улыбнулся, пожал плечами и весело проговорил:

— О, не беспокойтесь! К нему целый день носят еду, и в сутки он выпивает не меньше двух бутылок вина.

— Почему же он не хочет никого видеть?

Врач снова усмехнулся:

— Если хотите, я могу сейчас пройти к нему в палату и узнать, согласится ли он теперь побеседовать с вами...

— Буду вам очень признателен...

Через десять минут, сидя на стуле возле кровати, на которой лежал неудачливый ученик летной школы, Победоносцев почувствовал, что Хоботов старается не смотреть ему в глаза и разговаривает нехотя, словно одолжение делает.

— Вы недовольны мной? — растерянно спросил Победоносцев.

— Отчасти.

— Но я ведь вам ничего плохого не сделал.

— Кроме того, что уговаривали меня рисковать жизнью...

— Я верил в вашу любовь к небу...

— Вы-то что понимаете в моей любви. Не люблю пустомель! Ведь сами-то вы ни разу не летали... Слоняетесь без толку по Шалонскому полю, суете нос в чужие дела и тоже небось отправляете домой письма о своих будущих полетах!

Победоносцев растерянно молчал: он чувствовал себя обиженным и никак не мог понять, почему Хоботов стал к нему относиться по-другому.

В своих бедах Хоботов привык винить других людей, и как только отыскивался главный, по его мнению, виновник несчастья, сразу успокаивался. Так было и теперь. Прощаясь, он снисходительно сказал Победоносцеву:

— Вы на меня не обижайтесь... Я так, сгоряча сказал...

— Я и не обижаюсь, — смущенно ответил Победоносцев, чувствуя, что кончилась мимолетная дружба с этим сварливым человеком.

Поздно вечером, перед тем как ложиться спать, Тентенников пересчитал деньги.

— Проживаюсь, — рассвирепел он, — окончательно проживаюсь. Разве мыслимо дольше тут прозябать без дела?

Тентенников был известным на Волге мотоциклистом, вот почему у него нашлись покровители, давшие денег на дорогу и на учение в авиационной школе. Деньги подходили к концу, и Тентенников никак не мог придумать, что следует предпринять.

Он был прирожденным спортсменом, одним из тех, которые, взявшись за руль, постепенно, с ростом техники, переходили от велосипеда к мотоциклу, от мотоцикла к автомобилю, от автомобиля к аэроплану.

Тентенников был бедняком и хорошо знал, как тяжело достается хлеб насущный. Он мечтал стать летчиком, чтобы добиться хоть некоторой самостоятельности в жизни. В пьяном виде он сболтнул однажды, что мечтает о больших деньгах — вот уж тогда можно будет загулять и Волгу вверх дном перевернуть! Но на самом-то деле мечты его были куда скромнее... И вот теперь вдруг убедился он, что рушится последняя надежда: если будут прожиты деньги, придется вернуться обратно в Россию, так и не став летчиком...

Он стоял перед зеркалом в одних кальсонах и сердито грозил кому-то кулаком. Всю ночь не спал, а рано утром уже был на аэродроме.

К Тентенникову привыкли и авиаторы, и рабочие, и завсегдатаи Шалонского поля и называли его «мсье Айда-да», потому что несколько раз слышали от него, в минуты волнения, это восклицание. За месяц жизни в Мурмелоне Тентенников не сделал никаких успехов в языке. Несколько новых слов у него, впрочем, появилось, но были это почему-то вовсе не нужные в общежитии слова, и никакой пользы Тентенникову они принести не могли. Так как никто из французов не говорил по-русски, а Тентенников не обнаруживал успехов в изучении фран-

цузского языка, с ним объяснялись жестами. Он жил как глухонемой. Смешно было смотреть со стороны, как морщил он свои пухлые губы и медленно размахивал руками в ответ на быструю и энергичную жестикуляцию французов. Со всеми он объяснялся руками и только с мсье Ригго вел длительные и, как насмешливо говорил Быков, содержательные беседы. Каждое утро, в шестом часу, он разыскивал мсье Ригго, подходил к нему вплотную — профессор был почти в два раза ниже Тентенникова — и сердито спрашивал:

— Когда же, чорт возьми, я начну, наконец, летать?

— Завтра, мсье Ай-да-да,—вежливо отвечал мсье Ригго, понимая, что могло волновать Тентенникова, — завтра...

— Ты мне дурака не валяй, а отвечай прямо и определенно. Если завтра же я не полечу, то переломаю аэропланы в ангарах.

— Вы очень добры, мсье Ай-да-да,—извивался собеседник, — очень добры. Завтра. Пожалуйста, не волнуйтесь... — Мсье Ригго осторожно отступал к ангару.

— Стой и отвечай мне прямо, когда, наконец, я буду летать?

— Завтра, мсье Ай-да-да.

— И врешь, все ведь ты врешь, — говорил Тентенников и отходил от мсье Ригго.

Мсье Ригго отряхивался и дрожащими пальцами набивал трубку.

— Проклятый мсье Ай-да-да, у него самый тяжелый характер на свете, — говорил он другим профессорам. — Он меня погубит; я убежден, что не доживу до будущего года. Он обязательно убьет.

На этот раз Тентенников прибежал на аэродром взбешенный, как никогда, и сразу же отыскал мсье Ригго.

Тентенников подбежал к мсье Ригго сзади, и когда тот, обернувшись, увидел Тентенникова, отступать уже было некуда: между Ригго и ангаром, загораживая входную дверь, возвышался мсье Ай-да-да. Лицо профессора свела судорога, и несколько минут он простоял, наклонившись над аэропланом, делая вид, что не замечает Тентенникова.

— Опять завтраками будешь кормить? Когда же ты наконец...

Мсье Ригго встал и снял кепку.

— Доброе утро, дорогой мсье Ай-да-да, — сказал он. — Какая замечательная погода. Хорошо ли вы спали?

— Что? Что ты говоришь?

Мсье Риго оглянулся, нет ли поблизости кого из русских, — впервые он почувствовал, что ему необходимо поговорить с Тентенниковым при помощи переводчика.

К аэроплану, прихрамывая и опираясь на палку, подошел Хоботов: он только сегодня выписался из больницы. Риго обрадовался Хоботову и схватил его за рукав.

— Объясните, пожалуйста, объясните ему, что я с удовольствием бы начал его учить хоть сегодня, но я очень боюсь... Он такой большой и толстый... настоящий медведь... наши аэропланы строились для людей, а не для слонов... устойчивости не хватит, если его посадить на аэроплан... он упадет... и вместе с ним погибнет профессор. Передайте, пожалуйста... Пусть он подождет несколько дней...

Хоботов перевел слова мсье Риго. Тентенников окончательно рассвирепел и даже заикаться стал от волнения.

— Толстый! Большой! Не могу же я стать меньше... Он попросту дурака валяет. Слушай! — закричал Тентенников, отстранив Хоботова и приподняв за локти мсье Риго так, что их глаза встретились, — если завтра же ты не начнешь учить меня, я сожгу ангар! Слышишь?

— О, — застонал мсье Риго, — разве можно?

Тентенников успокоился и заходил по полю. Летчики и механики знали, что страшный в гневе мсье Ай-да-да очень отходчив, — и уже через двадцать минут Тентенников пыхтел, помогая Быкову перетаскивать из ангара в ангар запасные колеса.

— Нет, ты посуди, Петр Иванович, — сердито говорил он, проводя рукавом по мокрому, потному лицу, — он прямо дразнит меня. Которую уже неделю завтраками кормит!

— А ты не расстраивайся: я на днях освобожусь и тебя летать выучу.

— Мне от твоего обучения пользы мало: сам знаешь, без школьного диплома в России к полетам не допустят... В том-то и горе мое, что чиновники петербургские, если рискну летать без диплома, сразу отправят в полицейский участок...

— Я скоро в Париж поеду, поговорю с Загорским, может быть он от Фармана потребует точного исполнения контракта...

Тентенников прислонил колесо к стене ангара и вдруг блаженно улыбнулся:

— Ни с кем говорить не надо! Сам всего добьюсь, без прошений и хлопот. Я человек упрямый. Голову потеряю, а на своем настою. У профессора нашего душонка копеечная, а я ему сегодня размах тентенниковской души покажу — страшно им станет! Вот увидишь — лебезить они передо мной будут...

— Ты что-нибудь придумал?

— Честно говоря, еще не придумал. Но погоди, похожу немного по полю — и надумаю, что следует делать.

И на самом деле, погуляв по полю, он надумал...

В полдень, когда летчики ушли обедать и у ангара оставалось только несколько рабочих, Тентенников задержался возле учебного аэроплана. Он растянулся на траве, закурил и, положив под голову руки, посмотрел вверх.

На небе не было ни облачка. Шмель пролетел над травой. Шалонское поле было пусто, как всегда в обеденные часы. Отражение солнца на металлических частях аэроплана слепило глаза.

«А вдруг...» — подумал Тентенников и испугался своей мысли. Он повернулся, лег на правый бок, стараясь не смотреть на самолет.

«А вдруг...» Он оглянулся по сторонам, потом встал на колени, коснулся руками земли и пополз к аэроплану. У самого крыла он выпрямился и начал старательно осматривать машину.

Тентенников уже был знаком с управлением и умел заводить мотор: этому он выучился, прогуливаясь по Шалонскому полю и наблюдая за работой мотористов. Слабый ветер издали начал гнать облака. Тентенников посмотрел вверх и почувствовал, как холодеет спина: во второй раз его затея может не удался. Когда еще опять будет такой тихий день, безлюдное поле, готовый к полету аэроплан? Думать было некогда.

Механик вышел из ангара.

— Заводи! — подходя к нему, по-русски крикнул Тентенников.

Механик понял, чего от него требуют, но не двигался с места.

— Заводи! — закричал Тентенников, заноса над ним огромный кулак и притопнув ногой.

Механик подбежал к мотору. Прошло три минуты. Мотор зафыркал и закричал.

Тентенников сел к рулю. Слабый ветер, прошедший было над аэродромом, окончательно стих.

Для того чтобы научиться автоматически двигать ногой на руле направления, нужно три недели. Тентенников выучился управлять шутя, наблюдая за работой других. Но теперь, взявшись за руль, он понял, что, может быть, приближается минута расчета с жизнью. Пусть так, отступить уже нельзя. Дальнотормозными глазами он рассмотрел людей, торопливо идущих к ангарам. Обеденный перерыв кончился. Тентенников зарулил по земле.

«Разобьюсь, — подумал он. — Обязательно разобьюсь. Лучше над лесом».

Голова кружилась. Он старался не смотреть вниз. Так прошло несколько минут. Рули работали исправно. Тентенников сидел, раскрыв рот и не отнимая руки от руля. Лесок, на который бежал аэроплан, вдруг начал становиться меньше. Тентенников взглянул вниз. . . Аппарат уже поднялся — странно, что так неощутима была минута подъема, — ангараы быстро уменьшились, поле казалось сверху яркозеленым.

Он посмотрел еще раз на поле и увидел толпу возле ангараы.

Прошло несколько минут, и он окончательно успокоился. Единственное ощущение полета — ветер, летящий навстречу, да стук в висках, да совершенно непонятно почему — мучительная жажда.

Он закрыл рот. Аэроплан плавно кружил над Шалонским полем. Хотелось кричать, петь, прыгать, ощущение собственной мощи становилось сильнее с каждой секундой. Когда от резкого порыва ветра кренился самолет, Тентенников, выравнивая машину, с особенной силой чувствовал значение своей сегодняшней победы: отныне он знал, что все небесные дороги открыты ему, и казалось,

что-то праздничное было в щедром, ярком сиянии летнего полдня.

Люди бежали за аэропланом: Тентенников шел на посадку на большом расстоянии от места взлета, на самом краю Шалонского поля. Один забегал вперед, размахивая палкой, и грозил. Многие думали, что катастрофа неизбежна, и с минуты на минуту ждали ее.

Тентенников долго не решался начать спуск, но вот аэроплан покатился по земле, догоняя разбежавшихся в разные стороны людей, ускорил ход, перепрыгнул через небольшую колдобину и, вздрогнув, остановился. Посадка казалась чудом.

— Мсье Ай-да-да! — кричал профессор, размахивая тросточкой. — Карашо, очень карашо, но я скажу директору, что вы нарушили правила школы.

Полет кончился, опасность миновала, земля была под ногами, яркий солнечный свет уже не слепил глаза. Тентенников сел на траву, зажмурился, подогнул под себя ноги и захохотал.

Его подняли с земли и подбросили высоко над головами. Когда летчики разошлись по своим ангарам, подбежал Хоботов и, крепко пожав руку, сказал:

— Вы отлично летали сегодня. Я всегда верил только в вас, — нет, нет, и не смейте оспаривать. Но скажу откровенно: так летать — бессмысленно и глупо. Нельзя рисковать головой, идти на верное самоубийство...

— По крайней мере спокойно сел, не хромаю, как вы... — ответил Тентенников, вспоминая недавние ехидные усмешки незадачливого летчика.

Хоботов пожал плечами и отошел. На Шалонском поле продолжался будничный летный день. Один за другим подымались учебные аэропланы. Мсье Риго в обычной позе стоял у ангара, следил за полетом и осторожно теребил свои волосатые уши.

Тентенников подошел к нему, застегивая куртку.

— Ну как? — спросил он. — В порядке?

— Да, да, — заторопился мсье Риго, отступая к самой стенке ангара.

— Видел, на что я могу решиться? Плохо бы сел, машину разбил бы, — воз дров и куча мусора...

— О... конечно, конечно...

— Завтра же я начну летать. И никаких отговорок.

- Да, да...
- Запомни: завтра.
- Завтра, — повторил мсье Риго. — И прямо скажу вам: такого смелого полета, как ваш, я еще ни разу не видел над Шалонским полем.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ



Через несколько дней после первого полета Тен-тенникова Быков уехал в Париж. Его известили, что из России пришла срочная телеграмма. Он догадывался уже о ее содержании и знал, кто мог ее послать.

На людном перекрестке он купил вечернюю газету с портретами Блерио, Губерта Латама, русского летчика Михаила Ефимова и самого Быкова. Быков обычно выходил на фотографиях очень моложавым и на этом снимке казался юношей. Получив телеграмму, он сел в омнибус. Через десять минут по начищенной до блеска дубовой лестнице поднялся во второй этаж знакомого дома.

В бедно обставленной комнате за низким деревянным столом сидел человек, к которому пришел Быков.

Он был еще молод и весел, но седина уже проступила на висках, и шрамы на щеках и на лбу свидетельствовали о том, что на долю его выпало в свое время немало испытаний.

Невысокий, коренастый, в белой рубашке с расстегнутым воротом, он разбирал грудку лежавших на столе газет и брошюр, и по мгновенным изменениям его худого лица, по тому, как откидывал он назад непокорную прядь русых волос, можно было легко понять, что некоторые из этих брошюр ему по сердцу, другие — наводят на неприятные размышления.

— Здравствуй, земляк, — сказал он, протягивая летчику широкую руку с крупными, коротко остриженными ногтями. — С первых петухов не отхожу от стола, читаю. И то... Ведь скоро придется домой возвращаться, а многое из напечатанного здесь у нас на Руси слывет нелегальщиной...



— Здравствуй, Николай... Я-то, по правде говоря, стеснялся тебя эти дни беспокоить, передавали мне, что выступал ты на собраниях, громил меньшевиков...

— Это верно, по зубам им крепко дал, — улыбаясь одними углами рта, ответил Николай. — Ну ничего, в Питере еще добавим...

Он помолчал, встал из-за стола, потянулся и, прямо глядя в лицо собеседника светлокарими, чуть прищуренными глазами, спросил:

— Новости какие в мире полетов?

— Ничего особенного. Вот посмотри.

Быков протянул Николаю Григорьеву номер газеты со своим портретом и телеграмму.

С Николаем Быков познакомился на родине, в большом южном городе, в дни забастовки, но слышал о Григорьеве еще раньше, — выросли они в одном окраинном районе, и не было на заводах революционных выступлений, которые народная молва не связывала бы с именем Николая Григорьева.

О его смелом побеге из тюрьмы в тысяча девятьсот шестом году ходили легенды, и на самом деле, глядя на этого невысокого, но сильного и упорного человека, можно было поверить, что он один смог отбиться тогда от трех жандармов.

Из большевиков, работавших в городе, Николай был самый известный. Часто вспоминал Быков первый день своего знакомства с этим человеком. Тогда бастовали железнодорожники. Николай и Быков мчались на дрезине по пригородной ветке, подымая на забастовку дистанцию за дистанцией, полустанок за полустанком. И в последующие годы не раз доводилось Быкову выполнять поручения большевистского комитета...

Потом Николая арестовали, и Быков потерял его на время из виду. И вдруг в Париже Николай разыскал летчика и рассказал, что теперь работает в Петербурге механиком на заводе и в Париж приехал по делам хозяина. Моторы, которые покупал во Франции заводский инженер, были уже погружены, и Николай готовился к отъезду в Россию.

Но служебные дела были только официальным предлогом для поездки Николая Григорьева. Григорьев приехал во Францию по партийным поручениям, о которых, впрочем, ничего не рассказывал Быкову. Ни единого часа не затратив на ознакомление с парижскими достопримечательностями, он целые дни проводил в рабочих районах, посещал собрания социалистов на окраинах, осматривал большие заводы и каждый раз, когда заходила речь о его заграничных впечатлениях, с гордостью повторял:

— Из рабочего Питера в Париж попадаешь нынче как в тихое место. Русский рабочий класс стал ведущей силой в пролетарском движении, и ничто на Западе не может сравниться с накопленным нами революционным опытом. Такой высокой идейности и такой самоотверженности в борьбе, как у русских рабочих, нет больше ни у кого. И как часто, сидя на рабочем собрании в Сент-Антуанском предместье, среди чудесных парней, внуков героев Парижской Коммуны, я с гордостью думаю о наших собраниях где-нибудь за Нарвской или за Невской заставой; на десятилетия мы обогнали западных социалистов...

— Трудно бы тебе пришлось в эмиграции, — говорил Быков, чувствуя волнение друга.

— Еще бы! Вот я недавно одного старого друга видел. Как он страдает вдалеке от родины, с какой жадностью ловит каждую весточку из Питера и Москвы, с уральских и южных заводов...

Николай внимательно поглядел на портрет Быкова, напечатанный во французской газете.

— Молодец, Быков! Если бы ты знал, как я радуюсь каждый раз, когда вижу успехи русских людей на любом поприще. Ведь наше доморощенное барство когда-то разговаривало на смеси французского с нижегородским, а теперь старается жить то на немецкий, то на англо-саксонский лад. Подумай, какую науку ни начнешь изучать — всюду видишь, что наш вклад — бесценный. Царское правительство о науке не заботится, и иностранцы крадут русские изобретения, выдавая их за свои.

Быков рассказал, как трудно приходится русским мастеровым, приехавшим учиться в авиационной школе Фармана, и поведал о недавнем происшествии с Тентенниковым.

Услышав повествование о первом полете волжанина, Николай хохотал до слез.

— Молодец, воистину молодец! — раскатисто смеясь и вытирая носовым платком мокрые глаза, повторял Николай. — По-простецки поступил с ними, по-русски. Они небось о каждом полете интервью в газеты дают; а он возьми да и перемахни сразу через ихние условности. И, главное, спорить с ним трудно: впервые в жизни взялся за руль — и сразу же под самые небеса взорлил! Ты меня с Тентенниковым познакомь, я таких решительных людей люблю.

— А пока — телеграмму прочти...

— Обязательно...

Телеграмма была очень сердитая: «Немедленно возвращайтесь Россию точка противном случае буду требовать назад деньги неустойку запятая обвиню шантаже запятая потребую дисквалификации во всем мире точка Левкас».

За окнами шумел сад. Быков сел на подоконник. В зеленом наплыве деревьев будто качнулся низкий берег моря. Вот и памятная белая мазанка на городской окраине. В несколько минут вспомнил Быков свою жизнь с самых ранних лет.

Отец был болезненный, с рябоватым загорелым лицом и широкими, не по сложению, плечами. Он служил садовником у банкира Левкаса. Мальчишкой бегал Быков за отцом по огромному саду. Отец любил, опохмелившись, рассказывать сны. Они были странны и суматошны. Будто черная корова пробила рогами яблоню. Железная дорога шла на облака. У банкира Левкаса, как у чорта, вырос хвост, и на лбу два волосатых, с голубыми подпалинами, рога. Быков слушал, не верил отцу, но жалел его и ни разу не спорил, какой бы страшный сон ни снился старику. Когда удивительные истории надоедали, Быков уходил от отца.

Несколько лет подряд были хорошие урожаи. Ветки яблонь пригибались к земле и ломались под тяжестью круглых сочных плодов. Чтобы не было падалицы, под ветку подставляли высокие палки-чата. На пять десятин по спуску к реке раскинулся сад. Плетенные высокие корзины из ивы пусты: с утра их снова наполняют сенапом, английским ранетом, шафраном. Яблоки всюду — на зем-

ле, на ветках, на крытых черепицей больших платформах. Отец был словоохотлив, болтлив, сын вырос замкнутым, внимательным к чужому слову, молчаливым. Выучившись грамоте и побегав несколько лет с пакетами, он стал телеграфистом и поселился в городе. Отец приезжал к нему, занимал деньги на водку и рассказывал смешные случаи из жизни.

Отец всегда ходил пешком. Сын стал велосипедистом.

Каждое лето Левкас проводил с семьей за границей. Осенью он привозил в Россию вещи, входившие в моду. Однажды он привез портреты авиаторов, снимки аэродрома Исси ле Мулино, Шалонского поля и новенький щеголеватый планер. Портреты и фотографии были развешаны в гостиной. Левкас долго и старательно рассказывал гостям о знаменитых авиаторах и парижских авиационных состязаниях. Планер стоял на площади возле дома. Его охранял отец Быкова, разжалованный за дерзость из садовников в сторожа. Никто не решался летать на планере. Быков в свободное время изучал таинственную машину.

Однажды вечером он пришел к Левкасу. Банкир был дома.

— В чем дело? — спросил банкир, пожимая руку. (Он всегда говорил о себе «я — демократ» и старался быть простым в обращении с теми людьми, которых объединял одним общим наименованием: «низшие».) — В чем дело?

— Разрешите полетать на вашем планере...

Левкас обрадовался: планер стоял без дела, приятели посмеивались — зачем нужна банкиру красивая игрушка? «Кому летать в России, если полиция еще не научилась летать? — говорил впоследствии известный черносотенец и погромщик Марков второй.

— А если сломаешь? — сухо спросил Левкас.

— Не сломаю.

— Приходи завтра.

— Полетишь? — бормотал утром отец. — Не страшно? Я книгу читал, там рассказывали, будто один летал. Купил громадный мяч, охвата в четыре, надул его дымом, привязал веревку, вцепился в нее и полетел.

— И долго летал?

— Долго. До утра. Зацепился за колокольню, мяч

улетел, он ухватился за язык колокола и висит. А ветер не ослабевает, колокол раскачивается из стороны в сторону, никак не прыгнуть вниз.

Не дослушав, Быков распрощался с отцом и ушел на дежурство.

После дежурства пришел к Левкасу. Огромный крапчатый дог с выдающейся вперед могучей нижней челюстью спал у дверей. Увидев Быкова, он зарычал.

— Не бойся, — сказал Левкас, — не укусит.

— Я не боюсь.

— Когда полетишь?

— В воскресенье.

— Не разобьешься?

— Не разобьюсь.

В воскресенье Быков поднялся на планере. Этот первый полет решил судьбу Быкова и навсегда изменил его жизнь.

Через три недели, вечером, когда он сидел дома и снимал чертежи планеров, а отец лежал на скамье и рассказывал вычитанный где-то рассказ о похождениях в Трапезунде знаменитого одесского жулика, выкравшего из гарема по ошибке вместо красивой гречанки рыжего сладкогласого евнуха, в комнату, пригибаясь, вошел дюжий лакей Левкаса и протянул Быкову коротенькую записку.

Левкас приглашал немедленно к себе. Быков переоделся — надел штаны из чертовой кожи, люстриновый пиджак — и, не попрощавшись, вышел из дому.

— Куда ты спешишь? — крикнул вдогонку отец. — Зачем к Левкасу? По какому случаю лакей?

Подходя к дому Левкаса, Быков увидел, что окна ярко освещены: у банкира были гости. Струнный оркестр играл входящий в моду аргентинский танец — танго.

Кудрявая горничная в кружевном чепчике ожидала Быкова в прихожей.

— Пойдемте, — сказала она и взяла его за руку.

Он высвободил руку и пошел следом за ней.

— Здравствуй, — закуривая сигару, сказал Левкас. — Как живешь?

— Хорошо.

— Садись.

Быков сел, положил на колени картуз. Он впервые увидел кабинет Левкаса. Стены были покрыты синим

шелком. Над камином висел гобелен. Тускло переливались огни в хрустальном письменном приборе. Декадентская картина, в которой не было ни одной прямой линии, изображала худенького черноволосого мужчину с испуганными глазами. Неизвестно для чего художник приклеил к его тощим бокам красно-зеленые крылья.

— Куришь? — Левкас протянул сигару.

— Спасибо. У меня есть папиросы.

Левкас молча ходил по кабинету, засунув руки в карманы.

— Хочешь стать человеком? — вдруг спросил он.

Быков молчал.

— Человеком, слышишь ли, человеком? Да отвечай мне, ну...

— Не понимаю, что вы хотите сказать...

— Я хочу основать в городе аэроклуб... Мне нужны авиаторы. Я отправлю тебя на свои деньги в Париж. Будешь там учиться, я куплю аэроплан. На ученье даю тебе время. Ты будешь обязан отслужить мне за ученье два года, совершить не менее пятидесяти полетов, сбор в мою пользу, будешь получать жалованье. Согласен?

— Согласен, — подумав с минуту, ответил Быков.

— Отлично. Завтра заедем к нотариусу. А сегодня... Подойди-ка сюда.

Быков подошел к Левкасу и удивленно посмотрел на него.

— Как ты одет? Так, хорошо. Идем со мной. Я тебя представлю гостям. Ты там несколько слов скажи... и прочее такое...

Они вошли в столовую. Музыканты на хорах наигрывали старый романс: «Любовь прошла, и нет воспоминаний...» Левкас взмахнул рукой. Музыка замерла. Гости обернулись к хозяину. Левкас подозвал лакея, приказал налить два бокала шампанского. Он чокнулся с Быковым и весело сказал, обращаясь к гостям:

— Господа! Вы имеете счастье видеть будущего русского авиатора, господина Быкова. Он находится у меня на службе. Через два дня он уезжает в Париж. Я покупаю аэроплан, на котором он будет летать.

Сидевшие за столом захлопали в ладоши.

— Собственный летчик! Как это интересно, — крикнула полная гречанка с черными глазами навывкате.

— Ну что? — спросил отец, когда Быков вернулся домой и снял люстриновый пиджак.

— Еду в Париж. Через два дня.

— В Париж? — не удивился отец. — Как же, как же, слышал. Хороший город! Стоит он на острове, а со всех сторон море, ходят люди по крышам, а через крыши перекинута мостики. Вина не пьют, обижаются — кислое... Девушки у них брюнетки и очень гордые, в рукаве носят платочек. И надолго едешь?

— Не знаю. Может быть, там и голову расшибу.

— Расшибешь? — Старик хотел рассказать, как прыгал в молодости с крыши и чуть не расшибся, но понял, что сын не шутит, а на самом деле уезжает за границу, и от огорчения зашмыгал носом.

— Полно тебе, старый чудак, сам же говоришь: ходят по крышам, и девушки там гордые — брюнетки.

Левкас обещал выплачивать ежемесячно отцу Быкова тридцать рублей. Сверх жалованья он положил будущему летчику и пару ботинок в год. Почему он заботился именно о ботинках — Быков не мог понять, да, впрочем, некогда было размышлять о выдумке богатого самодура, — начались дорожные сборы...

Левкас переслал в Париж доверенному человеку деньги для покупки аэроплана, простился с Быковым, даже расцеловаться хотел с ним на прощанье, вернее — подставил Быкову свою фиолетовую щеку для поцелуя. Правда, тут случилось одно обстоятельство, показавшее, что будущий авиатор человек самолюбивый, — подставленной щеки он не поцеловал и, впервые за время знакомства с Левкасом, улыбнулся. Что означала его улыбка, Левкас не понял и почему-то сразу пожалел, что заключил договор. Впрочем, отступать было уже поздно. Левкас похлопал Быкова по плечу и сердито сказал:

— Ну, ладно. Поезжай с богом. И чтобы в Париже не пить и не скандалить.

В Париже, а потом в Большом Мурмелоне Быков быстро обжился. Не прошло и трех месяцев, как он уже отлично летал. Сам Фарман после первого полета Быкова жал ему руку и предрекал громкое будущее. После окончания школы Быкова оставили на несколько месяцев инструктором. Он участвовал в небольших состязаниях. Имя его начинало входить в моду. Левкас прочитал

в газетах об успехах Быкова и написал сердитое письмо, требуя немедленного возвращения к месту службы: участие в спортивных состязаниях не было предусмотрено контрактом... Быков просил отсрочки: он готовился к большому перелету и хотел утвердить за Россией мировой рекорд дальности полета. В ответ пришла телеграмма Левкаса.

— Слушай, — сказал Быков, — мне с тобой поговорить надо... Только я голоден чертовски; может, сходим в бистро?

Они вышли на улицу.

— Что с тобой? Взгляд у тебя очень унылый...

— Дела не веселят.

Николай знал историю Быкова и сразу понял, чего добивается банкир.

— Да, — сказал он, — хитрая штука. Хочет тебя проглотить.

— Может, пока задержаться здесь, до конца соревнований?

— В Париже? — Николай задумался. — Нет, он тебе и здесь досадить сумеет... к тому же ты в России полезен и нужен теперь. Надо всколыхнуть все, на ноги поставить, привлечь внимание народа к авиации. Мне о Владимире Ильиче Ленине рассказывали на днях, как он недавно ездил на аэродром на окраину Парижа, приглядывался к аппаратам, вслушивался в рокот моторов. Скорость — наша стихия, аэропланы со временем будут нужны революции. Стало быть, нечего тебе здесь сидеть...

— А ты сам скоро вернешься на родину?

— Задерживаться не стану — ждут меня в Питере.

— Я ведь тоже надеюсь в Питер приехать, — хорошо бы было там повидаться. Может, дашь адрес свой?

Николай удивленно поглядел на Быкова и, посмеиваясь, сказал:

— Ну, насчет адреса зря просишь, за последние годы я и сам частенько не знал заранее, где буду завтра ночевать. Зато ты теперь стал человеком известным: о тебе в газетах статьи пишут, портреты твои печатают, — если приедешь в Питер, я сам тебя разыщу, как разыскал в Париже.



— Значит, уехать, не участвовать в состязании? ..

— Нет, зачем же? Задержись, но только ненадолго. А с хозяином своим постарайся разделаться. О Левкасе я много плохого слышал, человек мстительный, злопамятный, с таким лучше никаких дел не иметь. . .

Они сидели в бистро, пили сухое виноградное вино и заедали его острым сырком.

Потом Быков предложил сходить в синемá, — неподалеку, в окраинном кинематографе, показывали видовую, посвященную последним полетам. Подумав, Николай согласился, и вскоре они уже сидели в грязном, плохо освещенном зале, с обшарпанными стенами, с колченогими венскими стульями на местах для публики, — в этих окраинных, рабочих районах все было бедно и неприглядно, не то что в богатых кинематографах центра, где бывали туристы и прочие иностранные завсегдатаи Парижа. . .

После сеанса вышел на сцену высокий француз в синей шапочке, напоминавшей не то кепку, не то матросскую бескозырку, откашлялся, обвел взглядом зрительный зал и, всплеснув руками, запел песенку о последних колониальных спорах, которые не сулят ничего хорошего парижанам. Он был очень подвижен, распевая, передвигался с одного края на другой. Несколько просто одетых людей, по виду мастеровых, дружно подпевали артисту, и особенно запомнился Быкову худенький француз в берете. Горбоносый, усатый, с влажными выпуклыми глазами, он, несмотря на свой маленький рост, производил впечатление человека лихого и задиристого. Он особенно громко подпевал и весело хлопал в ладоши в конце каждого куплета.

— Хорошие ребята, — сказал Николай, выходя с приятелем из кинематографа. — Мы с тобой, конечно, и десятой доли того, что они пели, не поняли, но уж одно-то ясно: помнят они, как в свое время их деды строили баррикады на парижских мостовых.

Они молча прошли по чахлому скверу, а прощаясь, Николай сказал:

— Дней за пять до отъезда зайди, пожалуйста, ко мне. Поручение есть небольшое: я-то ведь еще немного задержусь в Париже.



езжая в Париж, Быков оставил Победоносцеву адрес дешевой гостиницы, в которой обычно оставался.

— Если соберетесь в Париж, заходите в гости, вместе будем по-русски чаек попивать из самовара; хозяину гостиницы хороший самовар приезжий московский купец в прошлом году оставил...

Победоносцеву наскучило бездельничать в Мурмелоне, мсье Риге сказал, что к ученью допустит еще не скоро, и огорченный юноша решил ненадолго съездить в Париж. Он зашел к Быкову. Летчик обрадовался Победоносцеву, усадил его на диван, принялся расспрашивать о мурмелонских новостях.

Самовар шумел на столе. Быков ходил по номеру бо-сиком, в жилетке, и громко хохотал, слушая рассказ гостя то об очередных спорах Тентенникова, то о телеграфной переписке Хоботова с отцом, затребовавшим в Москву непокорного сына.

— Чайку отведайте, — сказал он Победоносцеву, наливая чай в маленькую раскрашенную чашку.

Дверь открылась, и маленький худенький челсвечек вошел в комнату. Он снял котелок, ребром ладони пригладил волосы и молча поклонился. Это был очень тихий, спокойный человек, с ровным пробором от лба до затылка. Он придвинул стул, сел, разгладил складки на брюках и, чуть щурясь, поклонился снова.

— ...мое письмо, мсье Быков, — начал он с полуфразы.

— Я получил ваше письмо, — ответил Быков, — но не знаю, что вы хотите мне предложить.

Маленький человечек улыбнулся, показывая два кривых ряда золотых зубов, и достал из кармана небольшую бутылку с голубой этикеткой.

— Прежде всего разрешите вас угостить коньяком, который разливают в моих погребах. Надеюсь, вы помните, как меня зовут...

— К сожалению, подпись была неразборчива...

— Меня зовут Анри Фуке. Вы пили, должно быть, мои коньяки.

Быков поклонился.

Победоносцев с удивлением смотрел на странного маленького человечка и никак не мог сообразить, какие дела могут быть у коньячного фабриканта с Быковым.

Осторожно, чтобы не пролить ни капли драгоценного напитка, Фуке налил коньяк в граненые рюмки.

— Я случайно приобрел биплан. Мне нужен опытный авиатор для участия в соревновании на приз. — Он назвал один из конкурсов, устраиваемых парижскими газетами. — Мне рекомендовали вас...

Быков молчал.

— Вы летите на следующих условиях, — сказал Фуке, надевая пенсне и вооружаясь карандашом. — Я оплачиваю ваши расходы, плачу вам пятьсот франков, сто франков вашему помощнику и двадцать процентов с выигранных призов. Первый приз — десять тысяч франков, значит...

— Завтра я дам ответ.

Фуке поднялся со стула.

— Если не позвоните до двенадцати часов, буду говорить с другим, — сказал он, выходя из комнаты.

Возвращаясь в Россию, Быков собирался купить аэроплан, хоть самый плохонький, и начать полеты по провинциальным русским городам, знакомя население с достижениями авиации. История с Левкасом подходила к концу. Следовало рвать контракт. Собственный аэроплан, казалось Быкову, даст самостоятельность, независимость от хозяев. Слишком трудно было ему в последние месяцы. Теперь, когда он мог победить лучших авиаторов Франции, хозяин напоминает о себе. Он зовет своего служащего обратно...

— Хотите быть моим помощником во время перелета? — спросил Быков, положив руку на плечо Победоносцева.

— Еще бы! Только справлюсь ли я с такой работой?

— Пустяки. Конечно, справитесь. У меня будет механик. Вы вместе с ним поедете за мной в автомобиле, повезете запасные части и бензин.

На следующий день после обеда Быков и Победоносцев поехали на аэродром в Иссе-ле-Мулино. Фуке гулял по полю.

— Наконец-то, — сказал он, разглаживая лацкан сюртука. — Вот уже везут мой аэроплан.

Грузовик, гремя, подкатил к ангару. На нем, закрытый брезентом и крепко привязанный веревками, лежал разобранный «фарман».

При свете факелов вместе с механиком Быков собирал самолет.

Старт был назначен на пять часов дня. В перелете участвовало только четыре аэроплана, но в ангарах всю ночь возились десятки людей. Незадолго до этого перелета, на состязаниях в Ницце, лучшие результаты показал русский — Ефимов. Участие русского летчика Быкова, которого считали достойным соперником Ефимова, пугало авиаторов.

Поздно вечером, еще раз опробовав регулировку и проверив мотор, Быков уехал в гостиницу. Победоносцев остался дежурить на аэродроме. Он ходил по ангару, мечтая о том времени, когда и сам сможет участвовать в таких перелетах. Но вот рассвело, вдалеке прогудел рожок, велосипедист промчался по летному полю. Быстро, как снег, таяли последние звезды. Прибитая вчерашним дождем к земле, медленно распрямлялась трава. Еще задолго до старта начали съезжаться зрители.

Четыре автомобиля с механиками и запасными частями стояли уже наготове. Ветер пузырил женские платья. Репортеры терзали блокноты. Фотографы снимали авиаторов и аэропланы, траву и деревья — все, что было на поле, даже маленькую бесхвостую собачонку. Небо ненадолго потускнело в мелкой сетке дождя и внезапно прояснилось снова. Конные кирасиры сдерживали толпу, стремившуюся на поле.

Малопопулярный депутат, о котором было сложено много смешных песен в шантанах, медленно шел к ложам. Он опирался на трость и лениво раскуривал сигару. Его большая черная борода развевалась по ветру, как шарф. В газетах писали, будто и он, вместе с коньячным фабрикантом, вложил деньги в организацию этого перелета.

Механик выслушивал мотор. Нетерпеливый Фуке вытапывал кружок на траве.

— Надеюсь на вас, — говорил он Быкову, заглядывая под козырек авиаторской шапочки.

Победоносцев подошел к товарищу по школе и сжал ему руку повыше локтя.

— Желаю вам счастливо лететь... Я очень волнуюсь и не хочу расстраивать вас. Я пройду по аэродрому, и потом, когда вы полетите, мы с механиком поедem следом.

Он внимательно, точно в первый раз, начал рассматривать огромное поле. Полицейские скакали по аэродрому на круглых, сытых лошадях, ловко подпрыгивая в седлах.

Конные кирасиры длинной цепью растянулись вдоль поля.

Стартер взмахнул флажком.

Быков летел третьим.

Механик завел мотор. Мотор заревел, забился, зарокотал. Несколько человек сдерживали аэроплан. Прошло еще мгновение — и «фарман» покатился по полю, вздрагивая и подпрыгивая на бегу. Все еще непривычны были полеты иным посетителям аэродрома, — вот, теряя каалоши, побежал было наперерез аэроплану какой-то старик в котелке. Он заплакал, когда его оттащили в сторону, и долго еще размахивал зонтиком вслед подымавшемуся самолету.

Карта перелета, старательно разрисованная Победоносцевым, лежала перед Быковым. Искоса взглянув на красные линии, Быков облегченно вздохнул. Вдали, то прыгая кверху, то опускаясь книзу, будто на гигантских шагах, качались пригороды. Деревня пролетела в мутном наплыве, как сквозь волну. Скользнули маленькие пруды возле дороги. Дорога то свивалась в мелкие чешуйчатые желтые кольца, то вгрызалась уступами в темнозеленые перелески.

Шофер мчался по дороге, не глядя на небо; нечего было надеяться, что удастся догнать или даже увидеть аэроплан. Победоносцев трясся на своем неудобном сиденье, заваленном запасными частями. Ветер усиливался. Круглые облака быстро катились по небу, — казалось, они старались перегнать автомобиль.

— Садится, садится! — закричал механик, и Победоносцев увидел медленно снижающийся аэроплан. Издали Победоносцев узнал «фарман». Два участника состязания летели на «фарманах», но, еще не видя лица летчика, Победоносцев почувствовал, что сейчас пошел на посадку не Быков.

Он не ошибся. Подъехав к кустам, он увидел маленького смуглого летчика, раздраженно бегавшего вокруг аэроплана. С автомобиля, который шел впереди, прыгнул механик. Поговорив о чем-то с авиатором, он достал желтую посудину с бензином.

— Мы не нужны вам? — спросил Победоносцев.

Летчик удивленно посмотрел на него.

— Конечно, нет. Просто не хватило бензина...

Через пять минут автомобиль Победоносцева тронулся дальше.

В то время как он мчался по шоссе, все еще отставая от аэроплана, Быков, взглянув вниз, заметил, что пейзаж изменился и вдаль становятся различными очертания незнакомого города. Сверившись с картой, Быков понял: финиш близок.

Быков ясно разглядел фабричные трубы, колокольню, прямые улицы, здания вокзала, и вдруг строения исчезли, как будто город заволокло дымом. С каждой минутой лететь становилось труднее. Наступила темнота. Несколько огоньков вспыхнуло за поворотом. Мотор сердито покашливал: бензин был на исходе. Какая-то дымная пустая громада пролетала внизу. «Фарман» медленно шел на снижение. Из пустого пространства начали постепенно выделяться черные, зловещие силуэты деревьев. Молния, как вспышка магия, ненадолго осветила дальние перелески.

Маленький домик стоял у перекрестка дорог. Косые струи дождя скатывались по его стенам.

Через много лет, рассказывая о своих перелетах, Быков говорил, что эта посадка всегда кажется ему чудом.

Несколько минут он стоял неподвижно, прислушиваясь, не едет ли следом автомобиль. Порою казалось, что сквозь дикое завывание ветра и глухую воркотню воды пробивается зов автомобильного рожка, но проходили минуты — и звуки пропадали в непроницаемом грохоте.

Мокрый, усталый, голодный, медленно ходил Быков по дороге. Стало очень холодно. Он подпрыгивал, приседал, но никак не мог согреться.

Ливень кончился. Реки превращались в ручьи. Ручьи медленно высыхали. Становилось светлее. Тучи расхо-

дились. Тоненькая лиловая полоска дрогнула на востоке. В низинах еще оставались черные разводья.

Откуда-то издалека донеслось тарахтенье колес. Быков прислушался. Все громче скрипели колеса. Из-за поворота показалась высокая двуколка. Сидевший в ней человек удивленно взглянул на аэроплан, на усталого авиатора и радостно закричал:

— А мы вас ждали к ужину!

Не успел он подойти к Быкову, как с противоположной стороны донеслось — на этот раз уже совершенно явственно — гуденье автомобильного рожка.

Победоносцев издали еще заметил Быкова, спрыгнул на ходу и зашлепал по грязи, крича:

— Что случилось?

— Пить, — сказал Быков, стуча зубами от холода, и сразу выпил полфляжки рома.

Солнце пробилось сквозь наплыв облаков. Таяли тучи. Полоса тумана распалась, Быков снова увидел город.

На аэродроме Быкова встретила шумная, радостная толпа. Репортер в зеленом шарфе подбежал к «фарману».

— Ваши впечатления в полете? — спросил он, слянявя карандаш. — Все ваши конкуренты тоже задержались из-за грозы. Но ведь вы опередили всех!

Репортера оттеснили любители автографов. Неожиданно, расталкивая веселую шебечущую толпу, к аэроплану пробился черноусый человек в драповом пальто, с круглой, похожей на глобус головой и синеватыми губами.

— Очень хорошо, могу вас поздравить; я специально приехал сюда, чтобы встретить вас.

Говорил он высокомерно и в то же время заискивающее, словно повторяя чьи-то чужие, наизусть выученные слова.

— Мы раньше ждали вас, — не смущаясь молчанием Быкова, продолжал незнакомец в драповом пальто, не отходя от аэроплана.

Минут через двадцать пришел автомобиль, и когда неистовство встречи немного утихло, Быков, Победоносцев и механик пошли завтракать. Публика ринулась было

за Быковым, но вдали, над лесом, показалась маленькая, постепенно увеличивающаяся точка: это летел второй аэроплан. Воспользовавшись минутным замешательством зрителей, Быков вышел из круга.

В ресторане за один стол с Быковым и Победоносцевым сел незнакомец в драповом пальто.

— Простите, — сказал он, заметив, что Быков смотрит на него с удивлением, — я забыл сказать вам, кто я такой.

Он достал из жилетного кармана визитную карточку и протянул ее Быкову. На визитной карточке тонкими косыми буквами было напечатано: «Захарий Захарьевич Бембров».

— У меня к вам поручение от господина Левкаса. — Бембров в упор посмотрел на летчика. — Я был в Париже по делам фирмы, и попутно господин Левкас поручил мне сделать с вами, перед вашим возвращением в Россию, пробный полет в Мурмелоне.

— Господину Левкасу из газет известно, что я могу полететь и без пробного номера.

— Не могу знать. Таков точный смысл инструкции. Когда вы возвращаетесь в Мурмелон?

Быкову не хотелось спорить, и, махнув рукой, он ответил:

— Послезавтра. Если хотите, послезавтра и полетим. А пока...

— Будьте здоровы, — сказал Бембров, надевая котелок.

Вечером принесли телеграмму от Фуке: коньячный фабрикант вызывал Быкова в Париж для окончательного расчета.

— Красивая жизнь, — усмехнулся Быков, когда поезд уже подъезжал к Парижу. — Сколько пишут о призах, а на самом деле... О Ефимове в русских газетах писали, будто он большие призы брал, будто в Ницце виллу построил, а он за гроши летал, заработки его отнимал богатый импрессиарио. С французом Леганье и того чище было: когда он по Франции ездил, антрепренер отдельно обедал, за хорошим столом, а авиатора чуть не на кухню гнал... Недаром и сказал Леганье, когда однажды не очень хорошо подлетнул, что за двести франков в месяц и такой результат хорош...



Быков как-то сразу обмяк. Победоносцев посмотрел на него — и не узнал. Щеки стали темными, землистыми, у глаз собрались морщины, веки были красны и воспалены. Ему стало жаль этого большого, сильного человека, но нужные и простые слова почему-то не приходили на ум. Так и доехали до Парижа, не говоря ни слова. Часу в четвертом они уже шли по большим бульварам. Было очень жарко. На асфальтовых тротуарах возле кафе стояли длинные ряды стульев и столиков. Надвинув на глаза соломенные шляпы, толстые мужчины читали газеты и, на время отвлекаясь от чтения, искоса поглядывали на прохожих.

В киоске возле большого отеля Победоносцев купил русские газеты. Русские буквы были необычны и странны здесь, в царстве латинского алфавита.

— Россия, — сказал он, — как я хочу в Россию! Тоскливо на чужой стороне, бесприютно, невесело... И ученье как-то не клеится у меня... Надо было в Петербурге учиться, какие бы там очереди ни были, — скорее бы научился управлять самолетом...

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

**В**ернувшись в Мурманск, Победоносцев не узнал Тентенникова. После знаменитого своего полета рыжий великан начал важничать и снисходительно разговаривал со всеми, даже с Быковым. Он не признавал уже никого в Большом Мурманске и в свободное время разгуливал по аэродрому, улыбаясь и нетерпеливо приглаживая волосы. Мсье Риго неожиданно помирился с ним, и они часто расхаживали по полю вместе. Тентенников летал ежедневно, и один его полет уже был описан в маленькой реймской газете.

С Победоносцевым он был добродушно-снисходителен и, оставаясь наедине, поучал:

— С умом надо жить. Без ума никак не проживешь. Я определенно решил: пан или пропал. Человек я бедный, мне тут проживаться никак нельзя. Вот и рискнул...

«Нехорошо, — думал Победоносцев, чувствуя, что его обижают слова Тентенникова. — Ну, чем он виноват предо

мной? Неужели я, как Хоботов, становлюсь завистником? ..» Он старался быть ласковее с приятелем, но это не всегда удавалось, и в те минуты, когда Победоносцев беспричинно нервничал, Тентенников понимающе уверял:

— Ничего, пройдет: полетаешь — и сразу как рукой снимет. А я теперь большую мечту имею, в Россию вернусь, и прогремит мое имя. . .

Он звал Победоносцева посмотреть на свои полеты, но тот решил не ходить на Шалонское поле до тех пор, пока не удастся сесть за руль, и целые дни сидел дома, читая романы об авиации и будущей войне. Один из них, написанный каким-то немецким офицером и названный «Аэрополис», был особенно глуп. В романе описывалась странная болезнь, — микробы ее распространились по миру со страшной скоростью. Этой болезнью была ненасытная жажда быстроты. Болезнь началась на востоке. Трехмиллионная желтая армия на сотнях тысяч аэропланов неожиданно появилась над Европой. Началась война, и погибло большинство мужчин Запада. Только сильных производителей спасли победители и увезли на восток. Там должна была родиться новая раса.

На страницах книги старательным художником были изображены новые машины войны — причудливые и странные, словно увиденные впервые в мучительном сне. Каждый день в витринах книжных магазинов появлялись томики в пестрых обложках, посвященные будущей войне и грандиозным воздушным сражениям, боям авиационных дивизий с самыми могущественными флотами мира.

Было что-то тревожное в непрерывных разговорах о грядущих битвах, в крикливых заголовках газетных статей, в самом небе Парижа. . .

После приезда в Мурмелон Быков немного успокоился, а в день полета с Бембровым и вовсе повеселел.

Ему вспомнилось мальчишеское озорство, и, гуляя по полю, он решил немного помучить Бемброва. Бембров подошел к аэроплану, долго осматривал и выстукивал стойки, осторожно приглядывался к рулям, тросточкой ударял по колесу. Убедившись, что колесо сломать не-легко, он приободрился.

— Что же, полетим?



*К сmp. 61*



Бембров аккуратно сел в креслице. Завели моторы. Правая рука Быкова легла на рычаг руля высоты.

«Я тебя покатаю», — решил летчик, описывая огромные круги по небу. Бембров крепко уцепился за стойку и зажмурил глаза. Он не кричал, не бил Быкова в спину, как делали иногда нервные пассажиры, а только тихо бурчал себе под нос:

— Ага, в ушах жужжит! Ага, сердце бьется! Ага, кружится голова!

Так и не удалось Быкову напугать Бемброва. Посланец Левкаса был человек практический, деловой, смелый — и приди нужда, так и на луну полетел бы, зажмурив глаза и держась за стойки.

— Как вы себя чувствовали во время полета? — спросил Быков.

— Теперь я могу доложить господину Левкасу, что вы действительно научились хорошо летать...

— Не высоко было?

— Высоко? Разве это высоко? Вот если бы версты на две... — Прощаясь, он сказал: — Ждем вашего приезда в Россию. Возвращайтесь скорей. В наших городских газетах о вас ежедневно пишут, — покрутил черный ус, лихо, набок, надел котелок и ушел с Шалонского поля.

Наконец начались занятия с мсье Риго. За время своего вынужденного безделья Победоносцев изучил конструкцию «фармана», и это помогло в первые дни занятий. Мсье Риго обучал методически, не торопясь. Обычно он не разговаривал, а сам делал движение, и Победоносцеву только оставалось повторить его вслед за профессором.

Победоносцев хотел лететь в первый же день, но мсье Риго вывел старенький, неотремонтированный аэроплан и начал показывать, как надо слезать, соскакивать, задерживаться в случае несчастья. Победоносцев старательно, но неуклюже повторял движения мсье Риго. Мсье Риго не говорил ни слова, но морщил лоб, сердито качал головой и снова показывал, как надо задерживаться и прыгать.

Подошел Тентенников, помахал рукой в знак приветствия.

— Что же ты? — скалил мелкие зубы Тентенников. — Так летать нельзя; если под облака попадешь, там раздумывать будет некогда. Мне-то легче было спервоначалу: ведь я у руля смолоду сидел. А тебя в гимназии небось технике не обучали, больше на латынь налегали...

— Плохо, — промолвил мсье Риго. — Очень плохо. Займитесь еще сами. Я пока пойду пообедать.

Через два часа вернулся мсье Риго, посмотрел на прыжки своего ученика, ничего не сказал и велел вести аэроплан в ангар. Возвращаясь в деревню, Победоносцев хотел задать несколько вопросов мсье Риго, но не решался первый начать разговор, и они шли молча.

Прощаясь, мсье Риго сказал:

— Завтра повторение старого. Занимайтесь с механиком. Я приду к концу дня и проверю.

Тентенников что-то писал, когда вернулся Победоносцев.

— Ну вот, сижу и пишу. В Питер пишу. Ноют мои косточки без родной стороны...

Победоносцев подошел к своей кровати и сел, упираясь локтями в колени.

— Ты чего загрустил? Плохо идет? Значит, руки у тебя не для того приспособлены. Не будет клеиться — ты и бросай, а не ной.

Победоносцев рассердился, но возражать не стал. Так он и не заснул до рассвета, а в семь часов утра был уже на аэродроме.

К концу дня пришел мсье Риго, посмотрел, как он проделывает вчерашние упражнения, и начал учить рулению по земле.

— Завтра повторим, — сказал он, расставаясь.

Победоносцеву порой казалось, что он никогда не сумеет подняться в воздух. Как-то вечером, возвращаясь в Большой Мурмелон, подумал было об отъезде в Россию в самые ближайшие дни, но сразу же испугался своей мысли.

— Хорошо, что пришел, — встретил его Тентенников. — Нынче Хоботов нас приглашал в ресторан. Маленькая вечеринка...

— Я не пойду...

— Как же так не пойдешь? Он обидится.

Часу в десятом они пришли в ресторан. Мсье Риго важно расхаживал по залу, попыхивая трубкой.

— Ну как? — спросил он Победоносцева. — Успешно занимаетесь?

Победоносцев покраснел, и мсье Риго удивленно посмотрел на него.

— Мне очень жаль Хоботова. Такой милый человек, но совершенно не созданный для авиации...

Вошел Хоботов в шляпе, сдвинутой на затылок, веселый, улыбающийся, и захлопал в ладоши. Хозяин ресторана подбежал к нему, предложил сигару и, почтительно наклонившись к самому уху Хоботова, быстро зашевелил толстыми губами.

«Как он может быть веселым, даже счастливым в такую минуту, когда его судьба решена? — подумал Победоносцев. — Ведь ужасно вернуться в Россию неудачником, знать, что никогда уже не подынешься в небо...» Ему представилось вдруг, что такая судьба ожидает его самого, он представил свое бесславное возвращение в Петербург, увидел себя, в плаще и кепке, на перроне Варшавского вокзала, с маленьким чемоданом в руке, представил неприятный разговор с отцом, взволнованное лицо сестры, насмешливые улыбки приятелей... Нет, он ни за что не сдастся! Чего бы это ни стоило, но он станет человеком от руля, таким же, как Быков и Тентенников.

В зале становилось шумней и шумней. Заиграл орган.

За большим столом сидели ученики школы. Хоботов бегал из одного конца зала в другой, распоряжался, с кем-то спорил, с кем-то шутил, на ходу выпивал большие бокалы вина и успевал еще принимать участие в общем разговоре.

— Садитесь! — крикнул Хоботов Победоносцеву. — Чего ж вы стоите в одиночестве?

Победоносцев отошел от окна и уныло посмотрел на сидевших.

— Садись рядом, — воскликнул Тентенников, — я для тебя уже давно приготовил место!

В двенадцатом часу, когда все сильно подвыпили, Хоботов отплясывал русскую под дружное похлопывание гостей. Победоносцев облокотился на стол и сидел, не двигаясь, подпирая голову кулаками. Только двое не захмелели: Быков и Тентенников. По тому непременно

тяготению, какое бывает друг к другу у трезвых людей, находящихся в пьяной компании, они сели рядом и вполголоса заговорили.

Хоботов швырял на пол стаканы. Перепуганный хозяин старался оттащить его от стола.

— Я вам говорю, что авиации не брошу. Летчиком не вышел, так иначе летным делом займусь. А ты, Быков, не хвастай очень силой. Вернетесь в Россию — я вас в бараний рог согну... Узнаете о моем папаше... С ним сам Гучков дружбу водит, капиталом нашим все Замошворечье гордится...

Быков пожал плечами и вышел из зала. Вслед за ним потянулись к дверям и остальные участники вечеринки.

Назавтра Победоносцев проснулся поздно. Голова немного кружилась. Кукушка на стенных часах прокуковала двенадцать раз.

«Может быть, не ходить сегодня? Мсье Риго, наверное, еще спит? Нет, надо пойти на аэродром... Нужно, стиснув зубы, вытерпеть все — и шутки друзей и лицемерное соболезнование врагов, главное — напряжиться волю, добиться поставленной цели».

Мсье Риго уже ждал его и сердито посматривал на часы.

— Ну, что вы? Готовы?

Победоносцев зарулил по земле, на этот раз удачнее, чем раньше.

— Теперь пустите меня к рулям.

Мотор заревел.

«Летим, — решил Победоносцев и почувствовал легкое головокружение. — Винт, святой винт должен вознести человека на воздух», — вспомнилось ему старинное изречение ученого. Вдруг показалось, что аэроплан падает. Вздвогнувшись, он схватился руками за стойки.

Мсье Риго обернулся и, заметив, что Победоносцев держится за стойки, сердито закричал. Слов нельзя было разобрать, их заглушал могучий рев мотора, но Победоносцев понял, что требует сделать мсье Риго, и отнял руки от стоек.

Они летали минут пятнадцать.

Наконец-то, впервые после двух месяцев пребывания в Мурмелоне, он поднялся на аэроплане...



Впрочем, не у одного Победоносцева так неудачно начинались занятия — иные ученики еще дольше ждали очереди.

И после первого полета занятия были попрежнему скучны. Мсье Риго заставлял Победоносцева без конца рулить по земле. Был профессор очень сух и раздражителен и только однажды, вежливо улыбнувшись, сказал:

— Ничего, юный друг, мои предсказания когда-нибудь начнут сбываться. Мне нравится, что вы худы, хотя и высоки ростом, это даст вам возможность хорошо летать. Мсье Ай-да-да совсем другое дело. Клянусь вам, настанет день, когда аэроплан не выдержит его тяжести и разобьется.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ



Победоносцев занимался двенадцатый день. Ежедневно он приходил на поле, садился в маленькое креслице и осторожно начинал рулить по земле. Он со своим аэропланом представлял забавное зрелище, когда прыгал по бугоркам и рытвинам, в то время как другие парили в поднебесье. Победоносцев решил, что нет на свете большего неудачника, чем он, и постепенно выработал привычку к совершенному уединению. Он старался обедать в одиночестве, не встречался с авиаторами за ужином, гулял в те часы, когда другие спали. Но днем, во время занятий, неизбежно приходилось становиться участником общей жизни аэродрома. Мсье Риго уверял летчиков, что, в отличие от Быкова и Тентенникова, этот русский — не очень способный ученик.

— Вы прыгаете, как петух, по Шалонскому полю, только не кричите кукареку, — смеясь, говорили одни.

— Может быть, вам можно помочь? — ласково спрашивали другие, и в такие минуты хотелось погибнуть самому, тут же, с нервно подпрыгивающим аэропланом.

Тентенников, хитро щуря глаза, подсмеивался над ним и начал неожиданно называть по имени и отчеству.

— Так-то, Глеб Иванович, — ухмылялся он, — летаем, значит, Глеб Иванович. — И нельзя было понять, радуется

Тентенников его неудачам или хочет развеселить приятеля неуклюжей искренней шуткой.

И все-таки Тентенников был единственным человеком, с которым Победоносцев разговаривал по вечерам.

Однажды утром Победоносцев получил телеграмму из Парижа. Быков извещал, что благополучно закончил свои дела и в ближайшие дни возвращается в Россию.

— И я с Быковым уезжаю, — промолвил Тентенников, — надо будет и тебе прокатиться в Париж. Загорский просил зайти к нему...

— Обязательно ли и мне? Ведь мне с вами рядом и делать нечего. Какой я авиатор?..

— Глеб Иванович, — ответил укоризненно приятель. — Глеб Иванович... — Глаза его сразу стали сердитыми, маленькими.

После обеда Победоносцев снова сел в свой аэроплан.

— Так, так, — одобрительно сказал мсье Риго, — скоро полетите с моим помощником.

Победоносцев обрадовался и решил в этот день больше не заниматься.

Впервые за много недель он спокойно спал в ту ночь. Проснулся в полдень. Кто-то дергал его за руку.

— Кто тут?

— Это я, — что же вы не узнаете старых товарищей? Нехорошо, очень плохо! А я приехал прощаться с друзьями. Завтра уезжаю на родину...

Победоносцев вздохнул. Он давно со страхом ждал этой минуты, но теперь, когда стало ясно, что разлука с Быковым неизбежна, вдруг загрузил.

— Жаль, очень жаль расставаться с вами. Знаете ли, страшно думать, что все бывает в жизни только однажды, и никогда больше не повторятся наши встречи на аэродроме, первые мои прыжки по летному полю, вечера в кафе... И потом, если придется снова вернуться сюда, невольно будешь смотреть на свое прошлое как на пережитое в чьей-то чужой и непонятной жизни...

— Напрасно вы так много философствуете. Впрочем, в вашем возрасте подобные рассуждения еще простительны... А я к вам по делу...

— Пожалуйста...

— Сегодня вечером вместе поедem в Париж. Получив первый приз на трех состязаниях, я заработал на

машину. Хочу купить здесь какой-нибудь аэроплан подешевле и нанять на полгода механика. Вы мне можете? У вас, судя по прошлому разу, рука легкая!

— С удовольствием поеду.

В ресторане они увидели мсье Риго. Он сидел за столиком с высокой женщиной, черноволосой, с круглыми совиными глазами.

— Уезжаю, — сказал Быков, — прощайте, мсье Риго.

— Как, — притворно огорчился профессор, — уже уезжаете? Надеюсь, мы останемся друзьями. А мсье Ай-да-да?.. Но вы-то, мсье Победоносцев, не отчаивайтесь... Скоро начнем полеты.

— Кстати, — сказал он через несколько минут, подходя к столу, за которым сидели Быков и Победоносцев, — я хотел познакомить вас с моей женой. Познакомьтесь — моя жена, русские летчики...

Мадам Риго надменно улыбнулась и, свистя — у нее не было передних зубов, — проямлила что-то. Мсье Риго вдруг прослезился.

— Как мне жаль расставаться с вами... Если только смогу, я обязательно приеду, мсье Быков, провожать вас.

Вечером Быков и Победоносцев на омнибусе уехали из Мурмелона. Селение уже спало. На небе не было ни облачка. Дул сильный ветер. Крупные яркие звезды мерцали в высоте. Победоносцев смотрел вверх, и все его радовало — и сквозное небо, и крупные звезды, и неуловимое розоватое сияние луны. Ему хотелось ни о чем не думать, ничего не вспоминать и только видеть высокое, манящее небо.

— Когда, наконец, люди смогут летать и ночью? — спросил он Быкова.

Поздно ночью они приехали в Париж.

На следующее утро, в девятом часу, не выспавшись и не отдохнув с дороги, отправились на авиационный завод. Быков был задумчив и сосредоточен. Победоносцев тоже старался молчать.

На заводе Быков повеселел и начал подшучивать над Победоносцевым, растиравшим грудь кулаком левой руки.

— Простуда? Чахотка? Может быть, грустите?

— Да нет, что вы... Просто волнуюсь...

Они долго ходили по заводу. В громадном зале с высокими, настежь распахнутыми окнами на рамах для крыльев висела прорезиненная материя. Рабочие, скорчившиеся над рамами, были похожи издали на портных. Высокий господин в шегольском костюме подошел к Быкову, поздоровался с ним как со старым знакомым и предупредительно сказал:

— Пожалуйста, мсье Быков, ваш аэроплан в соседнем зале...

— Откуда вы знаете меня? Ведь мы, кажется, незнакомы...

— Я должен знать вас. Фамилии русских летчиков уже стали знамениты во Франции.

Они вошли в большой зал со сводчатым потолком и выщербленным каменным полом. Вдоль стены ровным рядом были расставлены новые монопланы и бипланы.

— Вот, — подходя к крайнему аэроплану, сказал высокий господин. — Эту машину мы приготовили для вас.

Быков снял пиджак и начал ощупывать, чуть не на зуб пробовать, каждую часть аэроплана. Он осматривал молча, сосредоточенно и покрытый материей деревянный остоу крыла, и винт, и руль глубины, и шасси.

Минут через двадцать он снова надел пиджак и пошел к выходу.

— Куда вы? — спросил высокий господин.

— Скоро вернусь, мне надо заехать за механиком — на «митинг», который рядом с вашим заводом.

— Я вас буду ждать...

На «митинге» — так назывались места пробных полетов — было скучно и малоллюдно. Почти все аэропланы стояли в ангарах, и только какой-то неопытный авиатор тщетно старался подняться в воздух на стареньком «бреге», должно быть уже порядком пострадавшем в воздушных передрягах.

Возле ангара стояли механики. Победоносцев чуть не заплакал, глядя на раскачивающийся в разные стороны аэроплан: как это напоминало его собственные неприятности... Быков подошел к веселой группе. Механики обратили внимание на молчаливого авиатора, и тот, который стоял к нему ближе других, маленький худощавый горбоносый южанин в синем берете, громко спросил Быкова:

— Чего ждете вы? Кто вам нужен? Мы не при-  
выкли к молчаливым людям на «митинге». Вы —  
авиатор?

— Да, авиатор, и хочу выбрать из вас одного, кото-  
рый согласился бы поехать в Россию на полгода.

— В Россию? — Механики обступили Быкова. — Но  
если уезжать далеко, то уж лучше на юг — там жарко,  
а у вас такие морозы.

— А сколько вы будете платить нам?

Худошавый подошел к Быкову и, приподнявшись на  
цыпочках, обнял его за плечи.

— Вы очень богаты?

— Нет. Я — бывший железнодорожный телеграфист,  
а теперь стал авиатором. И условия мои такие: все, что  
заработаем, — честно делим пополам.

— Все кошки хороши в темноте, — вдруг отозвался  
худошавый. — Я потому спрашиваю вас, — снова обра-  
тился он к Быкову, — что мне опротивело служить бога-  
тым импрессарио... и кроме того, только час назад меня  
уволит мой хозяин...

— Что же, тогда поедете со мной в Россию...

— Может быть, и поеду, — сказал худошавый. — Мне  
хочется повидать Россию, ее города, долины, реки...  
Меня зовут Делье. Я буду вам полезен. Я хороший меха-  
ник, не правда ли? — спросил он у стоявших рядом фран-  
цузов.

— А ведь я вас видел недавно, — сказал Быков. —  
Мы ходили с приятелем в кинематограф и встретили вас  
там.

— А я вас не запомнил, — признался механик. — В  
этих новых театриках с красивыми рекламами меня мож-  
но часто встретить. Я очень люблю скорость, и мне си-  
немá еще не успел наскучить. Чем-то похоже на авиа-  
цию — та же быстрота, те же темпы...

— Помните, выступал тогда певец в берете, а вы под-  
певали ему, — я, правда, не все слова разобрал...

Делье захохотал.

— Теперь вспоминаю, мы вас тоже заметили и по-  
чему-то решили сразу, что вы оба — русские...

— А что вы знаете о России?

— К сожалению, очень мало. Знаем только, что у  
русских нужно учиться делать революцию. Мы помним

тысяча девятьсот пятый год... И я сам недавно на большом собрании видел Ленина...

Победоносцева удивили веселые мастеровые люди. Он подошел к ним поближе.

— А вы? — спросил у него худошавый. — Вы кого ищете?

— Это мой приятель, — ответил Быков. — Хорошо, я беру вас с собой в Россию. Но имейте в виду, — он посмотрел на часы и заторопился, — ваша новая служба начинается через тридцать минут...

Делье побежал в ангар. Минут через десять он вернулся с маленьким саквояжем в руке.

— Я готов. Жениться я еще не успел, имущества у меня никакого нет, кроме этого саквояжа, и раздумывать долго я не привык, когда принимаю в жизни серьезные решения. К тому же вы кажетесь мне хорошим человеком... Когда мы едем в Россию? А вас, — обращаясь к остальным механикам, он ударил себя по груди, — я попрошу хорошо встретить меня, когда я вернусь из России.

Быков торопился. Делье, припрыгивая, шел за ним.

— Летая на аэроплане, я разучился ходить пешком. — сказал он. — Куда мы идем?

— На завод, покупать аэроплан.

Высокий господин, как и прежде, медленно прогуливался по залу.

Быков подошел к нему:

— Вот мой механик! Я только что нанял его. Он едет со мной в Россию.

Делье сразу же полез под аэроплан, долго возился там, бормотал что-то сквозь зубы, потом занялся мотором, стал неожиданно серьезным и молча, словно священнодействуя, рассматривал клапаны.

— Вы проверили аэроплан? — спросил Делье.

— Да.

— Нашли в нем недостатки?

— Недостатки? По-моему, недостатков в нем нет. Аэроплан совершенно новый...

— А мотор? — спросил Делье.

— Но я ведь затем вас и привел, чтобы вы разобрались в моторе, — сказал Быков.

Высокий господин, медленно и осторожно шевеля пальцами, внимательно следил за Делье.

— Вы чуть не увезли в Россию старый мотор. Он, должно быть, уже много раз работал. Смотрите, клапаны только слегка подчищены. Они обгорели, кажется.

— Не может быть: наша фирма никогда не торгует старыми моторами. Нам странно слышать подобное обвинение от француза.

— Разные бывают французы. Да вы лучше посмотрите на клапаны...

Высокий господин побагровел от злости.

— Великолепный мотор. Впрочем, если вы настаиваете, я прикажу его переменить...

Он вышел из зала, чуть пригибая плечи.

— Нет, каков, — горячился Делье, — каков!.. Подумайте только: поставив старый мотор, выгадывает несколько сот франков и одновременно заставляет нас рисковать жизнью!

— Подлые дельцы! — сказал Победоносцев. — А вы скажите, много ли в авиации настоящих героев?

— Героев?.. Герои, конечно, есть. Есть и мученики, но и среди героев я знаю некоторых, рискующих жизнью только из-за денег.

— Но ведь жизнь дороже...

— Многие становятся азартными игроками. Хозяин в такой игре рискует только деньгами, а ставка летчика — жизнь...

В последние недели многое по-новому понял Победоносцев, и все-таки каждый раз, когда он видел ложь и хитрость в отношениях между людьми, он никак не мог примириться с мыслью о том, что среди мужественных летчиков есть люди, которые могут так равнодушно относиться к главному в своем высоком призвании.

— Летчики должны стать другими, — сказал он Быкову, — каждый должен стать лучше...

— Вы о самоусовершенствовании по методу толстовцев думаете? Тщетная мечта, ни к чему дельному она не приведет...

— Я шире говорю, о человеческом характере вообще...

— Истина в другом: надо людей принимать такими, какие они есть...

— И прощать им плохое?

— Вот уж прощать ничего не надо. Надо делать людей другими... помогать им расти... Я замечаю, как вы с Тентенниковым сейчас живете, — прежней дружбы у вас нет. Он над вами посмеивается, потому что вы не такой удачливый, как он, и ему на радостях, после первых успехов, кажется, что теперь он на самые первые места в мире выйдет. Душа у него широкая — потому и надежды большие. Но вот пообломает его жизнь, увидит он, что тяжело рабочему человеку приходится, если он может рассчитывать только на свой труд, — и от нынешнего зазнайства в нашем волжском богатыре ничего не останется. И самому ему стыдно станет тогда, что над вами посмеивался и нос задира...

Победоносцев хотел было возразить Быкову, но летчик вынул из кармана часы и озабоченно покачал головой:

— Заговорились мы, а ведь нам нужно еще успеть к Загорскому. У него собираются сегодня. Я прощаюсь пока с вами, Делье, а вечером буду ждать в гостинице. Кончайте свои домашние дела, помните, завтра мы уезжаем. Надо подготовить аэроплан к перевозке...

— Я вас завтра пойду провожать... — сказал Победоносцев.

— Нет, нет, не надо! У меня уж очень много будет хлопот перед отъездом. А вот на Руси, как приедете, сразу меня отыщите. Рад буду...

Они наняли автомобиль и через двадцать минут уже подымались по лестнице в номер Загорского.

Тентенников пришел к Загорскому рано и сразу же затеял жестокий спор с хозяином. Медленно, неслышно ступая по ковру, Загорский ходил из угла в угол и тихим, спокойным голосом опровергал спорщика. Хоботов сидел в стороне и курил.

Поздоровавшись с новыми гостями, Загорский продолжал прерванный их приходом спор с Тентенниковым.

— Заводов авиационных у нас пока нет, придется жить на покупном, а как тут приходится покупать, я бы мог вам порассказать. Здешние авиационные промышленники боятся, что мы сумеем в России строить свои



самолеты. Они хотят, чтобы мы зависели от западных авиационных заводчиков. А ведь без работ русских ученых люди не могли бы покорить воздух. Первый самолет в мире создал питерский офицер Можайский. Но как замалчивает русские изобретения мировая пресса — порой читаешь и кулаками со злости машешь...

— Я так понимаю... — сказал Тентенников. Он сидел на самом краешке стула и искоса поглядывал на Загорского. — Я так понимаю, что как только заведем авиационные заводы, сразу немецкие промышленники станут акции скупать.

— Не понимаю, о чем мы спорим! — воскликнул Загорский. — Ведь и я о том же говорю.

На круглом столе был накрыт чай. Связка румяных баранок лежала в плетеной хлебнице.

— Что ж, — сказал Загорский, — приятно здесь чай попить с баранками — мне их с оказией из Питера привезли.

Тентенников сел рядом с Победоносцевым, прищурился и положил руку ему на колено.

— Глеб Иванович, так-то, Глеб Иванович... До скорого, значит, свидания...

— Господа, — сказал Загорский, отхлебывая чай из большого стакана с затейливой гравировкой, — сегодня большинство из вас прощается с Парижем. По долгу моей службы я не обязан был помогать вам, но так уж случилось, что каждый из вас, приезжая во Францию, прежде всего приходил ко мне... Я хочу сказать, — он прищелкнул пальцами и посмотрел на Быкова, — как вы порадовали меня своими успехами. Трудно приходится рабочему человеку за границей. Был интересный один человек, чудесный русский изобретатель. Лет двадцать назад он приехал во Францию, привез чертежи летательной машины, построить которую надеялся в Париже. Приехал во Францию, не зная ни слова по-французски, чуть не к самому сердцу прижимая свои чертежи, и все-таки их у него выкрали, а самого, из-за плисовых шаровар и косоворотки, почему-то приняли за шпиона и чуть не повесили... Неприятные были у него приключения. А в наше время... Зато Михаил Ефимов показал, что русские летчики умеют брать первые призы на самых трудных соревнованиях.

— Мне тут большие рекорды сулят, а никак не отвертеться от Левкаса, — сказал Быков. — Теперь бы еще два месяца — и мы с Михаилом Ефимовым на всех состязаниях два первые места делили бы...

— Как в Россию хочется! — вздохнул Тентенников. — И, к слову сказать, теперь одна только дорога и есть — напрямик к славе. Зачем мы этому делу учились, если зарработка не будет?

Быков удивленно посмотрел на него.

— Да, да, очень я рад, вернусь в Россию, — говорил Тентенников, — по всем провинциальным городам летать стану... У нас в России городов тысячи, до самой старости хватит...

Загорский встал из-за стола и подошел к Победоносцеву.

— Ну как, летали уже?

— На днях будет первый самостоятельный полет, — тоже подымаясь из-за стола и вытягивая руки по швам, шопотом, так, чтобы слышал только Загорский, ответил Победоносцев. — Я даже заболел от неудачи. Такая головная боль у меня в последнее время, что порою кажется, будто умру. Это и у отца моего бывали такие припадки — ночью кровь хлынет вдруг к голове, на свет смотреть не может, погасит огонь и в темноте катается по дивану.

— А вы не нервничайте. По началу у многих летчиков бывают неудачи. К тому же вам впервые приходится иметь дело с механизмами.

— Конечно, кто едет с деньгами, тому хорошо, — поглядывая на Быкова, промолвил Тентенников. — А я, поверите ли, без копейки поеду. Только и надежды, что на контракт хороший.

Как-то получилось, что никто уже не хотел говорить. Сидели, думая о предстоящих испытаниях, о будущих полетах. Даже Тентенников молчал, перебирая призы-брелоки, подвешенные к массивной, фальшивого золота часовой цепочке.

— Господа, — хотел начать напутствие Загорский, но раздумал, подошел к Быкову и крепко пожал ему руку. — На вас надежды и упование... А теперь, по русскому обычаю, посидеть надо.

— Кто куда? — спросил Победоносцев, когда летчики вышли на улицу и закурили.

— Мне направо... и одному... — сказал Тентенников, точно боясь, что кто-нибудь увяжется его провожать. — Прощайте, Глеб Иванович. До свидания, Быков.

— Проводите меня, — сказал Быков Глебу. Они пересекли улицу, свернули в переулок и медленно пошли к гостинице. — Я к вам привык. Хотя человек я и не чувствительный, а с вами расставаться жалко. Бескорыстно вы мне помогали...

— Что вы! Это я вас благодарить должен... Только с вами и чувствую себя хорошо...

— Ладно. Теперь распрощаемся. А в России обязательно встретимся и будем дружить...

Победоносцев сразу же поехал на вокзал, купил билет и всю дорогу до Мурмелона не отрываясь смотрел в окно. С вокзала он пошел домой пешком. Завтра на целый день зарядит дождь, полетов не будет, придется сидеть дома. Победоносцеву стало грустно при одной мысли о том, что завтра он не увидит ни Быкова, ни Тентенникова, и только мсье Риго, поглаживая волосатые уши и попивая дешевое бургонское, будет прищелкивать языком:

— Запомните, мой друг, что мсье Ай-да-да кончит плохо, очень плохо... Он слишком тяжел для полетов. Ему надо быть гиревиком, а не авиатором...

«Господи, сколько дней мне еще придется страдать тут!» — Он рассчитал по пальцам. Оказалось — сорок дней.

«Жизнь, — думал он, расхаживая по комнате, — наконец-то я вступаю в жизнь... Вот вернусь в Россию, стану знаменит, как Ефимов...»

Ему стало немного стыдно, и он сразу же уступил половину своей будущей славы Быкову.

«Быкову обязательно, — подумал он. — И Тентенникову немного. Зачем мне одному?»

Он подошел к окну. Ночная птица кричала пронзительно и сердито. На окраине Мурмелона зажигались ранние предутренние огни. Большая бабочка билась

о стекло, ее разноцветные крылья вздрагивали и трепыхались. Запоздавшая муха, жужжа, облетала лампу.

Из людей, с которыми Победоносцев познакомился за последнее время, двое стали ему особенно интересны: Быков и Тентенников. Он почувствовал, как постепенно складывается его дружба с Быковым, но отношения с волжским богатырем были сложными и трудными. С тех пор как Тентенникову «повезло», он стал хуже и злей.

Еще гимназистом, читая описания полетов на воздушном шаре, Победоносцев был особенно взволнован рассказом о благородстве одного ученого. Когда воздушный шар, не долетев до берега, начал спускаться и выбрасывание балласта не помогло, ученый хотел броситься в озеро, чтобы спасти пилота. Пилот удержал его. Подул ветер и спас воздухоплавателей.

Глядя на Тентенникова, Победоносцев почему-то иногда думал, что этот человек неспособен на подобный поступок, и осуждал его. И все-таки он чувствовал, что и с Тентенниковым возможна в будущем дружба, — нравились сила волжанина, его редкая смелость, его могучая, неистребимая воля к жизни.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ



Николай Григорьев пришел к Быкову с немолодым широкоплечим блондином в котелке и черном костюме.

— Познакомься, — сказал Николай, — мой старый приятель и друг Сергей Сергеевич Вахрушев. Много лет работал он на Кавказе, и в ссылке бывал, и в тюрьме сидел, выполнял много важных поручений партии. Он прожил за границей два года, а теперь — как и мы с тобой — возвращается в Россию, но, в связи с его нелегальным положением, другими путями, чем мы. Здесь он не один, — надо его семилетнего сына отвезти в Тулу, к матери. Сергею Сергеевичу этого сделать не удастся. Он едет по чужому паспорту, и брать сына ему неудобно. Придется тебе отвезти его. Как меня тянет в Россию, — вздохнул Николай, — рассказать не могу. Хотя и мало

дней осталось тут жить, а по родине тоскую, будто боюсь, что не доберусь до границы. А с мальчиком, очень прошу, — сделай. Сам понимаешь, нельзя его во Франции держать, — теперь Сергей Сергеевич жалеет, что из Тулы привез его сюда.

— А где карапуз?

— Завтра перед поездом заезжай ко мне за ним.

Они допоздна сидели втроем и успели переговорить о многом. Собственно говоря, беседовали Николай и Вахрушев, а молчаливый Быков только прислушивался к их словам да изредка вставлял свои замечания. Вахрушев рассказывал о своей революционной работе, о дальних сибирских этапах и каторжных централах, и Быков невольно вспоминал грозовые дни тысяча девятьсот пятого года и свою первую встречу с Николаем.

Каждый раз, когда Быков обдумывал свою жизнь, он чувствовал все с большей силой, что единственная правда на свете — та правда, которой служит Николай. И росло в душе Быкова желание послужить этой правде, как служили ей люди, ведущие сейчас неторопливую беседу в тихом номере парижской гостиницы.

Назавтра, часов в семь вечера, Быков заехал к Николаю.

Беленький мальчик в розовом вязаном костюме сидел на чемодане и рассматривал картинки.

— Познакомься, — сказал Николай, приподнимая мальчика за локти, — это Ваня. Ты его доставь... как на аэроплане.

— На аэроплане полечу, а на поезде не поеду, — упрямо сказал Ваня.

— Как сказать, — отозвался Быков, — теперь уж буду я решать, а не ты. Захочу — на поезде повезу, захочу — пешком поведу.

— Вот еще что выдумал! — сердито сказал Ваня. — Я тебя слушаться не буду!

— Я послушников не люблю.

Ваня обиделся на Быкова, замолчал и снова занялся рассматриванием картинок, но исподлобья поглядывал на Быкова — чем-то заинтересовал его высокий, сильный человек, который так строго заговорил с ним.

— Значит, мальчика довезешь аккуратно, — еще раз повторил свое наставление Николай.

— Хорошо.  
— И чемодан передашь в Тулу. В нем Ванины вещи.  
— Час-то который?  
— Что же, пожалуй, пора... Прощай... нет, лучше до свиданья.

— Идем, — сказал Быков мальчику и взял его за руку.

Ваня сердито поглядел на Быкова и высвободил свою ручонку из его могучей руки.

«Вот напасти-то! — подумал Быков. — И зачем я, как дачный муж, набрал себе поручений? Мальчишка, должно быть, балованный».

Впрочем, теперь уже было поздно раздумывать. Автомобиль ждал у подъезда. Смеркалось.

Быстрота сразу покорила ребенка. Он посмотрел на шофера, еще отстраняя руку Быкова, но взгляд его теперь был уже не так сердит.

— Мсье Быков! — крикнул кто-то весело. Быков обернулся и увидел Делье.

— Поручение ваше выполнено. Аэроплан погружен. Через тридцать минут поезд отходит.

— Поедем? — строго спросил Ваня. — А почему папа не пришел на вокзал, как обещал?

— Он занят сейчас, — нерешительно ответил Быков.

— Как? У вас сын? Такой чудный ребенок! И вы мне ничего не сказали! А где же его мать? — спросил Делье, увидев Ваню.

— Мать? — окончательно растерявшись, переспросил Быков. — У него теперь нет матери...

— А, понимаю, понимаю... Но нам уже пора садиться...

Мальчик не хотел садиться в поезд, и снова Быков пожалел, что взял на себя такое трудное поручение.

Поезд подъезжал к русской границе. Быков успел возненавидеть капризного мальчишку. Мальчик же, наоборот, начал привыкать к нему и даже показал несколько фокусов, которым его выучил в позапрошлом году старый оборванец-фокусник в Туле.

Делье волновался, приближаясь к России, и целыми часами не отрываясь смотрел в окно.

Когда поезд, подходя к границе, замедлил ход, Быков тоже бросился к окну и увидел вдаль русские поля, русское светлое небо.

И хотя радостно было снова увидеть родное небо, хотя родными были овраги и низкорослые кустарники, медленно крадущиеся на север по той стороне границы, ощущение беспокойства не покидало его — он думал о предстоящем объяснении с Левкасом.

За границей с особенной остротой почувствовал Быков силу своей любви к России. И к этой любви, после бесед с Николаем и Загорским, невольно примешивалось теперь мучительное, горькое чувство. Николай и Загорский мыслили по-разному, и все-таки, напутствуя Быкова перед его отъездом в Россию, оба одинаково предсказывали, что ждут летчика большие испытания.

— Значит, не мечтать ни о чем? — угрюмо спросил Быков Николая Григорьева. — Не верить в завтрашний день русской авиации?

— Верить, обязательно верить, — убежденно ответил Николай. — Но ни на минуту нельзя забывать, что расцвет авиации в России начнется только после грядущей революции...

Да, были таланты в России, щедро взрастила их черноземная русская земля. И в области авиации светлые русские головы смело торили широкую дорогу. Все летчики с особенным уважением говорили о профессоре Жуковском.

Жуковский посвятил свою жизнь теории авиации. Исследуя основные вопросы летного дела, он проложил пути теоретического исследования на долгие десятилетия. Без работ Жуковского не были бы возможны успехи молодых конструкторов, создавших аэропланы десятых годов, смело вступившие в борьбу с воздушной стихией. Конструкторы и летчики-экспериментаторы шли по путям, намеченным Жуковским и его выдающимся соратником и учеником Чаплыгиным. Могучую печать своего гения наложил Жуковский на развитие мировой авиации. Его современник Циолковский, не признанный царским правительством и лишенный самых необходимых средств для научной работы, на протяжении долгих лет вел исследо-

вания в области реактивных двигателей и звездоплавания. Немецкие и американские исследователи присваивали изобретения и теоретические исследования Циолковского. На работах Циолковского не было заграничного клейма, и они замалчивались... Что же, если так труден путь великих ученых, то и рядовым летчикам — ему самому, Тентенникову, Победоносцеву — нелегко проложить в жизни дорогу...

Мальчик плачет, вытирая кулаком слезы, и жандарм гуляет по платформе пограничной станции, волоча саблю, как хвост, и девушки, взявшись за руки, медленно поют печальную песню, и липы в цвету, и ворон летит через границу, — Россия встречает летчика после недолгой разлуки...

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ



В Москву приехали на рассвете. Когда Быков проснулся, Ваня лежал еще на нижней полке, подложив под голову руки, и тихо шевелил губами во сне. Делье курил дешевую сигару. Сигара пахла не то мылом, не то распаренным веником.

Быков сидел, прижавшись лбом к грязному запотевшему стеклу, глядел на улетающие в стороны белые хлопья пара, на чахлые деревца за железнодорожными путями, на низкие станционные строения. Он приоткрыл дверь и увидел темные здания на далеких холмах.

— Здравствуйте. Хорошо ли спали?

— Отлично, — ответил механик.

Оба охрипли за ночь. Делье застегнул пальто и кашлянул. Ваня проснулся и сразу же потребовал, чтобы Быков открыл чемодан и достал оттуда книжку с картинками.

«Вот беда, — раздраженно подумал Быков. — Ну, мое ли дело возиться с мальчишкой? Нечего сказать, приехал знаменитый авиатор в Москву...»

Толстошекий извозчик долго укладывал вещи, старательно причмокивал, поправлял подпруги и поехал медленно, закручивая вожжи, как будто хотел скрутить их в узел и закинуть на шею лошади. Медленно таял туман.



— Замечательно, — радовался Делье. — Думал ли я месяц тому назад, что попаду в Россию, увижу Москву? Где же царь-пушка? Где находились пресненские баррикады, на которых дрались рабочие в тысяча девятьсот пятом году?

— Я хочу спать, — сказал Ваня, ухватив Быкова за локоть.

— Сейчас, сейчас, скоро приедем.

— Мамашка-то ихняя где? — любопытствовал извозчик.

— А зачем тебе знать?

Извозчик рассердился и ударил лошадь. Кончалась Мясницкая.

— Кремль? Это уже Кремль? — спросил Делье, увидев кирпичные стены Китай-города.

Они остановились в «Славянском базаре».

— Ну, вот мы и в Москве. Нравится? — спросил Быков своего механика.

— Очень нравится, я обязательно хочу сегодня же походить по городу.

— А я узнаю, когда уходят поезда на юг. Хорошо бы съездить сегодня же в Тулу, отвезти Ваню. А то с ним больше возни, чем с аэропланом.

Делье сочувственно улыбнулся.

— Понимаю. Я поживу несколько дней без вас. Это даже хорошо. Мне очень хочется отоспаться. Знаете, иногда кажется, что я с самого детства ни разу еще спокойно не спал — вечно дела, постоянно занят работой... Впрочем, это не помешало хозяину уволить меня...

— Звали?

В дверь просунулась белая борода, и маленький человек, похожий на игрушечного рождественского деда, румяный, морщинистый, в широких штанах, вошел в комнату.

— Посыльный, — сказал он. — Чего изволите?

— Ах да, — спохватился Быков. — Валяй-ка, дед, узнай, с каким поездом можно ехать в Тулу, да извозчика закажи, да приведи сюда коридорного.

— Вот уж, я вам доложу, не будьте в обиде, поезд без малого через час уходит...

Ваня решил, что это смешно, и громко засмеялся.

— Вы не любите детей? — спросил Делье. — Ваня —

хороший мальчик. Я думал сначала, что он — ваш сын. Заметьте, он чувствует, кто заботится о нем, и гораздо нежнее относится к вам, чем ко мне.

— Посудите сами, каково мне теперь с ним возиться? Надо уезжать, готовиться к состязаниям, а тут хлопоты с мальчишкой...

— Теперь уж недолго, отвезете вы его в Тулузу...

— В Тулу.

— В Тулу. И даже скучно будет потом без него...

— Не будьте в обиде, поезд без малого через час, — повторил посыльный.

— Бери деньги да поскорей иди за билетом...

Посыльный побежал, прижав к бокам короткие руки.

В вагоне третьего класса, уложив Ваню, Быков достал из чемодана потрепанную книгу и быстро перелистал серые шероховатые страницы. Книга была посвящена авиации и описывала, как уверял издатель во вступительной заметке, мир новых ощущений. Превыспренний слог автора развеселил Быкова. Прочитав две страницы, он швырнул книгу на столик и громко захохотал. Проснулся Ваня, недоуменно посмотрел на летчика.

— Ты почему смеешься? — строго спросил он.

— Мне в рот смешинка попала.

— Какая смешинка?

— Я книгу смешную прочел.

— Где она?

— На столе лежит.

— Веселая?

Быков сел на полку рядом с мальчиком и прочел вслух: «Во всех сараях зашумело, закрутилось, полотнища стенок вздулись от вихря, как жилище Эола. Машины выводились из помещения и, подхватываемые могучим винтом, рвались к победе в лазурном небе... И небо наполнилось новой жизнью. Облака, казалось, оживали, как толпа внизу...»

— Что с тобой? — удивленно спросил Быков, услышав плач мальчика.

— Страшно, — глотая слезы, чистосердечно признался Ваня и положил свою худенькую ручонку на сильную руку Быкова.

— Что же тебя напугало?

— Про жилище Эола очень страшно...

Быков не мог удержаться от смеха, и мальчик вслед за ним тоже заулыбался сквозь слезы.

Ночью в пролетке, накрыв Ваню своим пальто, Быков ехал по Туле. На улицах почти не было огней. Изредка доносился трогательный напев старинной песни. В переулке хрипела гармошка.

— Асик, мосик, колобок... — пел кто-то надтреснутым голосом.

Дом стоял в самом конце переулочка.

Быков слез с пролетки и постучал в калитку. Прислушался. Закурил папиросу. Никто не отвечал. Постучал снова. Тоненько заскулила собака. Кто-то зашлепал босыми ногами по комнатам.

— Кого надо? — спросил мужчина, открыв форточку.

— Отоприте, я к вам по делу.

— По делу? Подождите минуту.

Хозяин квартиры был, видимо, очень спокойный и медлительный человек. Он не торопясь двигался по комнате, не спеша зажег большую двенадцатилинейную лампу, старательно покрывал, поговорил о чем-то с самим собой и даже пригладил щеткой волосы.

— По какому делу? — спросил он, приоткрывая дверь, чтобы пропустить нежданного гостя с ребенком. — Прошу садиться, — сказал он, подвигая Быкову табурет.

Быков сел и погладил Ваню по голове.

— Вот мы и приехали.

— Как? — спросил хозяин, удивленно посматривая то на Ваню, то на Быкова.

— Приехали, говорю. Поездка была трудная...

— Да кого же вам надо? Не ошибаетесь ли вы?

— Не ошибаюсь ли я? Нет, я не ошибаюсь. Мне нужно видеть жену Сергея Сергеевича.

— Жену? Так вы бы с самого начала и сказали. Дескать, нужно видеть жену. Только где же вы его жену найдете? Нет ее здесь...

— Позвольте, но мне же в Париже дали наиточнейший адрес.

— В Париже? — опять удивился хозяин дома. — Чудной вы человек, тоже сказали — в Париже... Нет ее здесь, говорю я вам, а вы туда же — в Париже.

— Куда же она делась?

— Куда? Ну, этого я не знаю. И напрасно вы так громко говорите. Я не на выучке, а вы не закройщик.

— Что?

— Я не на выучке, говорю. Арестовали ее на прошлой неделе.

— Арестовали? Но родственники-то у нее тут были?..

— Опять вы про то же. Родственников никаких нет.

— Позвольте... Но мне нужно мальчика оставить.

— Мальчика? Кому же он нужен, мальчик?

— Я хочу его оставить вам...

— Мне? Увольте, прошу вас. И вообще я им человек посторонний. Шапочный, можно сказать, знакомый...

Ваня заплакал.

— Почему мамы нет дома? — спросил он.

— Мама в другой город переехала, — сказал Быков. — Там мы ее найдем...

— Извините, — промолвил хозяин, — может быть, так не полагается людей выпроваживать, но только я спать хочу... Нельзя ли вас попросить...

Быков поднялся с табуретки и застегнул пальто.

— Пойдем, — сказал он Ване и взял его за руку.

— Прощайте... — Хозяин закрутил фитиль и поставил лампу на окно. Быков, не оглядываясь, пошел по переулку.

Поезд, уходящий в Москву, был наполовину пуст. Уложив Ваню, Быков долго не мог уснуть и почти до самого утра простоял в тамбуре.

— Что? — спросил Делье, откладывая бритву в сторону. — Почему вы вернулись с Ваней?

— Потому что мать его арестована. Придется мне с ним ездить по России.

— Купи мне лошадку, — попросил Ваня, ухватив Быкова за рукав, — и чтоб из нее шел пар.

— Куплю. Обязательно куплю.

Через три дня они уехали из Москвы.

В Москве Быков подписал контракты на полеты в разных городах России и получил авансом около двух тысяч рублей. Эти деньги он перевел телеграфом в родной город на собственное имя.

Поезд быстро шел на юг, но Быкову казалось, что едут они медленно.

— Есть у вас серьезные конкуренты в России? — спросил Делье однажды вечером.

— Конкуренты? Не знаю. Не думал. И вообще ни с кем конкурировать не собираюсь. А в отношении машины полагаюсь на вас. Многое зависит от механика. Особенно мотор.

— Я постараюсь. Мотор я и с закрытыми глазами могу собрать. А все-таки есть?

— Мне просто хочется летать как можно больше и как можно лучше. Приеду домой, буду летать один, а потом по России поездим, посмотрим...

Поезд остановился у знакомой платформы. Фотографы подбежали к окну и замахали шляпами.

— Так, так... минуточку спокойствия... отлично... внимание... снимаю... — зачастил самый лысый и самый высокий. — Спасибо.

Фотографы отошли от окна. Мужчина в крылатке разгладил черные усы и торжественно сказал:

— Приветствуем первого русского авиатора.

Это был Бембров, памятный Быкову еще по полету в Мурманске.

Быков вышел из вагона. Делье осторожно вел за руку Ваню. Толпа расступилась. Тяжело выступая и опираясь на палку, к Быкову приблизился банкир Левкас.

— Здравствуй, — сказал Левкас.

Он обхватил Быкова своими коротенькими толстыми руками и чмокнул в губы.

— Каков? Я не даром потратил деньги.

Стоявшие у вагона люди шумно захлопали Левкасу.

— Меценат, — важно проговорил Бембров, — человек, необходимый для поэзии и спорта. Так сказано у Горация...

Быков молчал.

— Отлично, — нахмурился Левкас. — Очень рад. — На щеках его от злости выступили красные пятна. — Вечером надеюсь увидеть у себя. Нам есть о чем поговорить.

Он протянул Быкову руку, но в это время случилось нечто неожиданное и непредвиденное. Ваня покинул француза и побежал к Быкову. Он быстро бежал по платформе, боясь, что его догонит Делье, но, не добежав двух шагов до летчика, споткнулся и упал.

Быков обернулся и поднял мальчика.

Рука Левкаса повисла в воздухе. Левкас рассердился, но не захотел показаться смешным и пошевелил пальцами.

— Твой? Чудный ребенок.

Он ушел, постукивая палкой. Впереди него, расталкивая локтями толпу, шел Бембров.

Быкова окружили незнакомые люди и, радостно жестикулируя, начали рассказывать о городских новостях. Маленькая веснушчатая гимназистка, чуть не плача от смущения, поднесла букет.

Быков поклонился ей и пошел к выходу. Только теперь он заметил старика в фуражке с выцветшим зеленым околышем. Старик стоял вдалеке от толпы и внимательно наблюдал за Быковым, приподнявшись на цыпочки.

— Папаша, — воскликнул Быков, — что ж ты запоздал?

Старик радостно закричал:

— Вот-то беда какая, только из газет и узнал!

Увидев мальчика в розовом вязаном костюме, он не удивился.

— Ну, как? Этого откуда привез?

— Издалека.

— А, понимаю. Что же, ты все по воде ехал?

Быков потрепал мальчика по щеке.

— Нет, не по воде... На вот, возьми его. А сейчас поедем со мной в гостиницу. Познакомьтесь с моим отцом, — сказал он Делье, — люби и жалуй, папаша, это мой помощник и механик.

— Очень приятно, — отозвался старик, — как доехали? Значит, не по воде, а по суше?

— Не понимаю, — улыбнувшись, сказал по-французски Делье.

— Ну и ладно, ну и хорошо.

Возле вокзала их поджидал присланный Левкасом автомобиль.

— Ура! — закричали в толпе. — Скорей назначайте полет!

Отец снял фуражку и поклонился, словно его самого приветствовали на вокзале люди.

В номере гостиницы Быков спросил старика:

— Как жил без меня?

— Плохо жил. Денег Левкас мне не давал... Говорил — ты виноват...

Быков нахмурился.

— На вот, возьми... — Он протянул ему сторублевую бумажку. — И с мальчишкой займись, а то мне не до него.

Старик обрадовался.

— Да я уж... А на море сильная качка была? Я-то о Париже слышал, там, говорят, лягушечьи лапы едят под грибным соусом. Вкусно?

О том, как попал мальчик к Быкову, старик не догадался спросить. Разувшись, он ходил босиком по номеру и вел с мальчишкой бесконечные разговоры, посаывая свою витую трубочку.

В номере стало душно и накурено. Быков и Делье поселились в соседней комнате.

Они легли было спать, но едва успели раздеться, как задребезжал телефон. Звонил секретарь Левкаса. Вечером, в восемь часов, банкир приглашал к себе Быкова и его механика.

— Предполагается ужин, — сказал секретарь. — Автомобиль заедет за вами в половине восьмого.

Делье наскоро побрился и достал из чемодана синий костюм, в котором, по его словам, представлялся когда-то сиамскому королю.

— А кто такой Левкас? — спросил он. — Очень богатый человек?

— Левкас? Делец и первейший в наших местах биржевик. Мне сегодня предстоит круто поговорить с ним.

— А как теперь будет с мальчиком?

— С мальчиком? Мальчиком отец займется. Это его дело. Он и придумает.

— Как только выучусь говорить по-русски, обязательно буду пить водку с вашим отцом...

Загудел рожок автомобиля. Посмотрели на часы: без

четверти восемь. Через минуту Быков и Делье уже сели в машину. По пути заехали на телеграф, и Быков получил деньги.

Дом Левкаса стоял в центре города, напротив собора, рядом с домом губернского предводителя дворянства. Левкас построил особняк десять лет тому назад, когда начиналось в России увлечение стилем модерн. На стенах дома были лепные украшения и лиловые вычурные разводы. Над пролетом лестницы, в передней, богатое, в декадентском духе, цветное панно изображало древнюю греческую царевну на морском берегу. Окна в доме были овальные, по форме похожие на высокие старинные вазы.

— Господин Делье говорит по-русски? — спросил Левкас.

— Нет.

— Тем лучше. Тогда мы сможем поболтать о делах. Согласен?

Быков молчал.

— Меня очень огорчило твое поведение, Быков. Я верю в твое будущее и только поэтому прощаю твои нехорошие поступки...

— Но чем я провинился?

— Чем? И ты еще не понимаешь, как плохо вел себя за границей?

— Простите, не понимаю.

— Я тебе объясню. Если ты одолжил у доверчивого человека двадцать рублей и отказываешься их потом отдать — это будет хорошо или плохо?..

— Если я занял их у вас, вы хотите сказать?

— Ты меня не учи. Ну, все равно, занял. Чем бы ты был без меня? Железнодорожным телеграфистом из тех, о которых поют куплеты в провинциальных водевилях. Я сделал тебя человеком. Я дал тебе деньги. Я купил аэроплан, на котором ты мог обучаться полетам...

— Но при чем же здесь двадцать рублей? Я просил вас не торопить меня. Я сказал: вернусь, когда достигну первых мест в авиации. В газетах писали обо мне каждый день, причисляли к первому десятку мировых летчиков. Мне нужно было несколько месяцев, чтобы стать первым. Я бы с лихвой вернул долг. Почему вы



меня торопили? Почему стали угрожать мне судебным преследованием? А обвинение в шантаже?..

Левкас не хотел говорить о главной причине своего беспокойства и неожиданной торопливости. Дело объяснялось просто: первые успехи Быкова обрадовали Левкаса. Левкас был одним из самых богатых людей юга России. Через влиятельных сановников он начал хлопотать о разрешении Быкову полета в Ливадию, поздней осенью, в присутствии царя. Соверши Быков удачный полет — и меценат русской авиации был бы принят Николаем, свершилась бы заветная мечта банкира...

Вошла горничная, сказала, что ужин подан.

— Прошу, — прищурился Левкас и первый пошел в столовую. Делье, не понимая, о чем идет разговор, догадывался по виду банкира и Быкова, что беседовали они без особого удовольствия, и сочувственно пожал локоть летчика. Быков благодарно посмотрел на своего механика, но ничего не сказал. Чуть сутулясь, он шел за Левкасом. В ярко освещенной столовой сидели гости — приятели, знакомые, компаньоны банкира.

— Мы счастливы приветствовать вас здесь, в нашем дружеском кругу, — сказал Бембров, с опаской поглядывая на важно державшегося Делье. — Первый тост я предлагаю за здоровье нашего уважаемого хозяина, оказавшего такую могучую поддержку первому русскому авиатору-спортсмену.

Выпили по бокалу шампанского.

Маленькая женщина в длинном черном платье с высоким воротником, сидевшая рядом с Бембровым, поднесла к глазам золотую лорнетку. Внимательно разглядывая летчика, она по-французски что-то сказала Бемброву, и тот угодливо захихикал.

— Ты уж извини, — сказал Левкас, положив руку на плечо Быкова, — я не хочу нарушать намеченную раньше программу вечера, и наш деловой разговор перенесем на более позднее время.

Быков ничего не ответил, и Левкас весело проговорил, обращаясь к маленькой женщине:

— Я уже позвал Петю, он с гитарой наготове — и ждет вас, дорогая Лариса Степановна...

Маленькая женщина вскинула вверх голову и мел-

кими шажками пошла к роялю. Высокий рябой цыган сидел на стуле возле рояля и настраивал гитару.

— Вы мою любимую спойте, я вас очень прошу, Лариса Степановна, — сказал уже захмелевший Бембров.

Женщина прислонилась спиной к роялю, взмахнула руками, словно готовясь к прыжку. Низким, густым голосом запела она цыганский романс на слова знаменитого московского адвоката Плевако, выступавшего на самых громких уголовных процессах, о чем не преминул с горделивой улыбкой сообщить присутствующим Бембров. Левкас благосклонно смотрел на певицу и в такт пению постукивал тихонько пальцами по столу.

Маленькая женщина пела о человеке, измученном ревностью, и о его страданиях, и Быков не мог сдерживать улыбки, когда, со странными телодвижениями, изображая переживания отвергнутого влюбленного, она закатывала глаза и размахивала руками:

Я презрен, отвергнут,  
А он торжествует,  
С улыбкой глядит на меня...

«Погоди немного, и я в самом деле с улыбкой взгляну на него», — думал Быков, наклонив голову и заранее представляя, как нервно будет вести себя Левкас во время предстоящего объяснения.

Маленькая женщина сделала гримасу, и тотчас же раздались за столом аплодисменты. С любопытством наблюдал Быков за соседями по столу. Чувствовалось, что гости Левкаса пришли к банкиру не из желания повеселиться: сидели они в большом зале натянуто-строгие, как на деловом приеме.

Маленькая женщина в длинном платье еще несколько раз спела романсы на слова адвоката Плевако и гвардейского офицера фон Дервиза, Бембров сказал еще несколько застольных спичей, сам Левкас негромким, невнятным голосом поведал о каких-то своих юношеских похождениях, а конца званому ужину еще не было видно.

Быкову не хотелось больше оставаться здесь, и, придвинув свой стул к креслу Левкаса, он вдруг громко спросил:

— Скажите, пожалуйста, Дмитрий Васильевич, как прикажете истолковать вашу последнюю угрозу?

— О чем ты хочешь говорить? — обиделся Левкас. — Ты слишком развязно держишься. Мог бы хотя постесняться гостей и поговорить наедине.

— В том-то и дело, что мне нужно говорить при свидетелях.

— Говори, если тебе так хочется.

— В последней телеграмме вы снова угрожали суровым решением аэроклуба и дисквалификацией во всем мире.

— Да, угрожал, потому что ты вел себя не так, как подобает честному человеку.

— Какое вы имели право угрожать мне?

— Какое право? Или ты забыл условия нашего контракта?

— Какие условия?

— Ты свободен, если уплатишь мне немедленно две тысячи рублей неустойки, как оговорено в контракте.

— Вы нуждаетесь в этих двух тысячах?

— Конечно, нет. У меня капитала немного больше двух тысяч.

Бембров сочувственно подхихикнул. Левкас сердито посмотрел на него, раздраженный неуместным смешком.

— Немного больше, — не сводя глаз с Бемброва, сказал Левкас. — Но если ты хочешь отказаться от моих условий и распоряжаться собой по своему усмотрению, то можешь это сделать. Только потрудись уплатить неустойку.

— Две тысячи?

— Я согласен уступить пятьдесят рублей. Если бы у тебя были деньги, мы сговорились бы и на меньшем.

Быков встал со стула.

— Господа, — сказал он, почему-то пристально глядя на Бемброва, — я прошу вас быть свидетелями.

— Не возражаю. Пожалуйста. Сколько угодно.

Быков, подумав минуту, вынул из бокового кармана пиджака бумажник и положил его на стол.

Левкас прищурился, а Бембров даже заикался от волнения.

— Тысяча рублей... две... — Быков протянул толстую пачку ассигнаций Левкасу.

Левкас растерянно улыбнулся.

— Теперь мы не связаны никакими обязательствами, — сказал Быков. — Я завтра оформлю расторжение договора. Но вы объявили продажу билетов на мои полеты, и я не хочу обманывать публику. Полеты состоятся.

Утром отец принёс газету.

— На, посмотри, — сказал он сыну, — какие вы красавцы вышли.

В газете писали о Быкове, о соревнованиях, в которых он участвовал, о его друзьях и врагах, и о юности Быкова, и о ребенке, которого привез летчик в родной город. Быков читал вслух и переводил Делье главное. Делье улыбался и тер переносицу.

— Хорошо. Мы им покажем отличный полет, не правда ли?

Днем прибыл аэроплан. На беговом ипподроме был уже выстроен ангар, и аэроплан сразу доставили в За-речье. Делье уехал на ипподром и остался там ночевать. Быков послал ему вечером корзину с едой.

У конторы Левкаса стояла длинная очередь. Земляки Быкова стремились заблаговременно купить билеты. Предстоящий полет изменил городскую жизнь. На улицах стало больше городских. Два помощника пристава бессменно дежурили на ипподроме. Надзиратели охраняли ангар. У гостиницы стояли часами молодые люди, ожидая выхода Быкова.

За день до полета Левкас зашел к летчику.

— Здравствуй, — обиженно сказал он, — я все-таки пришел к тебе, несмотря на твой поступок.

— Слушаю.

— Я хочу, чтобы ты мне оказал хоть одну услугу. Я должен быть единственным пассажиром, который полетит с тобой завтра. За это я тебе заплачу. Согласен?

— Я подыму и бесплатно.

— То-то же... — Левкас тяжело задышал и поднялся со стула. — Значит, до завтра.

— До завтра.

Полеты начались в шесть часов вечера. Переполненный ипподром пестрел желтыми, синими, зелеными платьями. В ложах и на приставных стульях сидели нарядные женщины и мужчины в светлых костюмах. Они радостно приветствовали Быкова. На дешевых местах стояло множество зрителей в страшной тесноте и давке. Ветра почти не было. Флаги висели неподвижно на высоких флагштоках.

Дверь в сарай была открыта. Выходя к беговой дорожке, Быков поминутно оглядывался на серебристую крышу сарая, на аэроплан, на спину Делье, проверявшего мотор. Прошло десять минут. Солдаты вывели аэроплан и поставили его в начале беговой дорожки. Толпа притихла, ожидая начала полета. Быков сел на свое место и сразу же взялся за ручку. Делье качнул пропеллер. Раздался оглушительный треск.

Кто-то вскрикнул, и прежде чем крик успели подхватить соседи, аэроплан уже бежал по земле.

Быков медленно чертил круги над ипподромом и молодыми рощицами левого берега. В городе впервые видели аэроплан, парящий в небе, и зрители радостно закричали, приветствуя летчика. Спустившись, он взял с собой пассажира. Левкас взволнованно осмотрел ипподром, прищурился и занял свое место.

Когда полеты кончились и Левкас сошел с аэроплана, его окружили репортеры и фотографы. Он неожиданно стал героем дня.

— Браво! — закричали репортеры. — Браво! Что вы чувствовали там, наверху?

Левкас снисходительно махнул рукой.

— Ничего особенного. Гордость.

— А еще?

— Счастье, слава прогрессу...

— Ну, а еще?

Левкас многозначительно кашлянул.

— Глядя сверху вниз на эту веселую толпу, я подумал: сбор отличен, я много заработал сегодня, но кто получит битковый сбор, если мы разобьемся?

Солдаты повели аэроплан в ангар. Следом за ними шел Быков. Щеголеватый помощник пристава передавал летчику цветы, присланные горожанами. Корзин с цве-

тами оказалось так много, что нельзя было шагнуть, не наступив на георгины.

Все, что следовало сделать в родном городе, было сделано. Теперь можно съездить в Петербург, а потом уже начнутся полеты по стране.

«Я свободный человек, — подумал Быков. — У меня больше нет хозяина. Я ни от кого не завишу». Он почувствовал усталость, разделся, лег в постель и сразу заснул.

Назавтра утром в гостиницу пришел секретарь Левкаса и принес долю вчерашнего сбора, причитающуюся Быкову.

— Что будем дальше делать? — спросил Делье во время обеда. — Долго еще придется здесь жить?

Быков побарабанил пальцами по столу.

— Готовьте аэроплан к отправке. Дня через три мы поедем в Петербург. Меня приглашают туда для переговоров.

Пообедав, Делье уехал на ипподром, а Быков попросил коридорного не пускать посетителей и снова лег спать. Проснулся он поздно вечером. Сон не освежил его, голова болела, темные круги плыли перед глазами. На столе лежала пачка петербургских газет. В вечерних выпусках жирным шрифтом была набрана фамилия Тентенникова. Он совершил несколько замечательных полетов в Петербурге. Под портретом были воспроизведены автографы авиатора. Один был особенно забавен: «Не хочу писать, а хочу летать». «Два молодых авиатора становятся гордостью России — Быков и Тентенников», — сообщал какой-то фельетонист. Он же писал, что Тентенников скоро приедет на Волгу и начнет полеты по провинции. Прочитав газеты, Быков решил, что нужно не откладывать отъезд в столицу.

— Может быть, мы сумеем пораньше сдать аэроплан для перевозки? — спросил он вернувшегося с ипподрома Делье.

— Послезавтра можно его грузить на платформу.

Перед отъездом Быков долго рассказывал отцу о парижской жизни, о новых друзьях, о марках моторов, о больших авиационных состязаниях.

— А что я в газете вычитал... — сказал отец. — Тебе бы не прозевать. Умер один генерал-лейтенант в Юрьеве и завещал пять тысяч рублей тому русскому летчику, который на отечественном аэроплане сто верст пролетит и спустится, где пожелает.

— Спасибо, отец, как-нибудь постараюсь. А Ваню тебе оставлю. Ты за ним приглядывай. Няньку найми.

— Да откуда ты взял его?

— Секрет, папаша.

Старик приложил палец к губам.

— Какой там секрет. Ты мне хоть одному скажи.

— Шел я по улице, а с аэроплана...

— Нет, ты мне небылицы брось, при чем тут аэроплан. Я тебя делом прошу... Главное, знаю, ты — мужик тихий, не женатый, значит — мальчик не твой.

Старик обиделся и до самого прощания не разговаривал с сыном, на вокзале же неожиданно проследился.

Быков никого не предупредил о своем отъезде — не хотел, чтобы провожали, — но перед отходом поезда репортеры пришли на вокзал с цветами и фотографическими аппаратами.

— Куда? В Петербург? Желаем успеха! Довольны ли вы приемом в родном городе? Чем кончились ваши споры с Левкасом?...

Продребезжал третий звонок. Замахали платками провожающие. Кондуктора развернули флажки. Поезд тронулся. Родной город остался позади, надолго, может быть навсегда. Быков ходил по коридору, заложив руки за спину.

— Кочевая жизнь, — сказал он Делье, переодевшись в пеструю пижаму с длинными разноцветными рукавами. — С ночлега на ночлег. Табор цыганский. Теперь мы с вами Россию изъездим вдоль и поперек... Сперва только в Питере отдохнем.

Делье подошел к окну и опять увидел уже знакомые кустарники, поля, русские привольные дали... Мельница-ветрянка на пригорке махала широкими крыльями, словно собираясь улететь. Дымили могучие трубы завода в степи... Вот она какая, Россия, о которой так часто говорили на рабочих собраниях в Париже.

В Москве Быков задержался на три недели, и Делье успел за это время осмотреть достопримечательности древнего русского города, — побывал он и в Кремле и в перелуках Пресни — в местах, где в тысяча девятьсот пятом году строили баррикады восставшие московские рабочие.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ



В Петербурге Быков остановился в меблированных комнатах на Надеждинской. Вездесущие репортеры знали уже о приезде летчика и встретили его на вокзале. Они же рекомендовали и меблированные комнаты — подороже, но чистые, в центре города.

В большинстве газет приезду Быкова были посвящены благожелательные заметки, только черносотенная «Земщина» плохо отнеслась к новоприбывшему в столицу летчику и сообщала о нем такие подробности, что Быков сгоряча пообещал набить морду редактору.

— Ему не привыкать... не в первый раз... — утешая, говорил наиболее энергичный из репортеров, взяв под руку Быкова. — И злиться нечего. Еще хорошо, что он ничего похуже о вас не написал...

— Нет, вы сами посудите, — они всерьез уверяют, будто я был в родном городе буфетчиком третьеразрядного трактира и откупоривал ржавым гвоздем мерзавчики казенной винной монополии на потребу почтеннейшей публике...

— А вы не огорчайтесь... все-таки — реклама, — утешал репортер. — Я вас уверяю, могло хуже быть — попросту написали бы, что вы беглый поп-расстрига или кассир-растратчик, — тогда бы пришлось с ними судиться. А то — мерзавчики... ржавым гвоздем... Подумаешь, эка невидаль... Вот о посещении Тентенниковым Народного дома тоже весело написали. Будто выступал там тяжеловес-гиревик, подымал гири — и только до двенадцати пудов дотянул, а появился Тентенников — и сразу со всеми шестнадцатью справился...



Так, за разговорами, и дошли незаметно до меблированных комнат. Здесь репортеры распрощались с летчиком, пообещав напоследок, что о предстоящих полетах дадут наилучшие отчеты.

Делье захотелось погулять по городу, осмотреть набережные и дворцы. Быков достал из чемодана бритвы. Сняв пиджаки, сели бриться, но не успели еще намылить подбородки, как в дверь постучали.

— Здравствуй, милаша! — крикнул посетитель, обнимая Быкова. — Фу, чорт, в чем это я вымазался? — так же восторженно спросил он. — Дай полотенце!

Нет, решительно Хоботова нельзя было узнать — сильно он изменился за последнее время. Исчезла обидчивость, пропала заносчивая манера разговора, угрюмость сменилась веселостью. На правой руке сверкал толстый перстень с таинственной пентаграммой. Пропала продольная морщина между бровями. Длинные волосы, делавшие его похожим на провинциального поэта, подстрижены, — он их теперь подстригал ежиком, как Глеб Победоносцев. Хоботов стоял посреди комнаты, размахивая тросточкой, и торопливо сообщал последние сплетни.

— Замечательная карикатура появилась в «Биржевке». Авиация через сто лет. Очень остроумно. Воздушный трамвай Петербург — Гатчина. Люди ходят по воздуху. Котелки, зонтики, лорнеты... Старая дама в лисьем салопе ведет собак на веревочках. И генерал едет на «колбасе». Ты ничего не слышал о Тентенникове? Читал? Ну, то-то же. У него теперь имя. Большое имя. Его всюду с почетом принимают. Что в Испании тореадор, то у нас летчик... Он очень хочет с тобой увидеться. Мы с ним были в гостях у Шаляпина, у Куприна. А женщины вокруг него... Ты бы посмотрел... Хотя зачем же я без передышки болтаю? Вы, наверное, еще ничего не ели с дороги...

— Не скрою от тебя, позавтракать не успели...

— Ну вот и хорошо. Телефон здесь есть. Можно было бы у меня, но я, понимаешь, никак не могу... Папаша приехал из Москвы, а он не любит, когда я принимаю гостей: скупенек мой старикан, из-за лишнего четвертака нещадно ругал меня в детстве.

Он выбежал из комнаты так же быстро, как вошел, а через пять минут и хозяйка и горничные бегали по квартире, о чем-то шушукаясь и совещаясь с ним. Быкова начинала раздражать неожиданная суматоха.

— Проголодались? Сейчас, сейчас,— пробормотал Хоботов. Он вернулся минут через десять, за ним важно выступал мужчина во фраке, как потом выяснилось, — метрдотель небольшого петербургского ресторана.

— Ну вот, сегодня вы — мои гости, я вас угощаю. Значит, сейчас накройте три завтрака. Обед и ужин сервируйте персон на десять.

Мужчина во фраке поклонился.

— А где накрывать?

— В моей квартире.

Оказалось, что он успел снять на неделю квартиру, помещавшуюся в том же этаже, где поселился Быков. Квартира была очень хорошо обставлена, и ее особенно любила хозяйка. Здесь лет восемь назад жил какой-то восточный принц, человек задумчивый и обходительный, неожиданно покончивший самоубийством.

— По маленькой выпьем? Тебе обязательно надо выпить. Тебя здесь любят и знают. Вот погоди, увидишь.

Они медленно ели, медленно пили и только часам к пяти кончили завтрак.

— К вам пришли, — сказала Быкову хозяйка меблированных комнат.

— Просите сюда.

Победоносцев вошел в комнату осторожно, разглядывая каждую картину на стенах. Он очень обрадовался, увидев Быкова, но почему-то застеснялся и, поздоровавшись, спросил:

— Помешал?

— Нет, что вы, отнюдь... Я очень рад вас видеть. Ведь мы с вами подружились во Франции. Что вы делаете в Петербурге?

— Да вот еще не решил. Аэроплана у меня нет.

— А если бы имели аэроплан?

— Разъезжал бы по России. Столько городов, в которых не видели живых авиаторов...

— От поездок ничего особенного не ждите, — возразил Быков. — Летчик, разъезжающий по России с аэропланом, чем-то начинает походить на гастролирующего

по провинции актера-неудачника. А другого применения своей профессии сейчас еще не найдешь. Стало быть, выхода нет, придется из города в город ездить... Послушай-ка, — сказал он, обращаясь к Хоботову, — не можешь ли ты помочь Глебу Ивановичу?

— Помочь? Только мне сначала с тобой поговорить придется. А на помощь мою рассчитывать можете...

— Тем лучше, — сказал, поднимаясь, Победоносцев. — Я уверен, что полоса моих неудач кончилась...

В комнате появились новые люди — петербургские знакомые Хоботова. Каждый из них подходил к Быкову, радостно его приветствовал, жал руку и потом отходил к столу с закусками. Ровно в шесть пришел Тентенников с почитателями — сотрудниками еженедельного иллюстрированного журнала, режиссером «Кривого зеркала» и двумя артистками.

Тентенников был весел, чуть под хмельком, на нем было широкое модное пальто, котелок, в руках — тросточка с набалдашником из слоновой кости, и усы он подстригал по последней моде.

Он кивнул Победоносцеву, обнялся с Хоботовым, сухо поздоровался с Быковым.

«Этот мне не простит», — почему-то решил Быков, хотя и не мог никак понять, чего именно ему не простит Тентенников.

Победоносцева обидело пренебрежительное отношение Тентенникова. «Еще недавно были товарищами, вместе начинали учиться...» Он подсел к Тентенникову.

— Ну, — спросил тот, — ты меня любишь?

— Странно ты себя вести стал, — ответил Победоносцев — требуешь, чтобы все перед тобой преклонялись, говоришь только о себе, о своих успехах, а других летчиков обижаешь.

— Зря поучать торопишься, тебя же не обижаю, — раздраженно сказал Тентенников и крикнул Быкову:

— Нас с тобой двое. Ты да я. Понятно?

Быков удивленно смотрел на него.

— Я тебе насчет прогресса и прочих разностей говорить не буду. Я природу очень люблю. Бродишь лунной ночью по лесу, с ружьем, с собакой. Филимон Иванович — филин — как бухнет...

— Ты это к чему?

— Да к тому, что нам с тобой поговорить надо. Вот тебе мой адресок, ты и заходи, пожалуйста.

— Я тоже, как Галанчикова, хочу сделаться авиатором, — твердила худенькая артистка. — Тентенников, ты меня будешь учить?

— Буду, буду.

Хоботов рассказал забавную историю о петербургском гимназисте, влюбившемся в авиаторшу Звереву.

Все были увлечены разговором, и потому никто не обратил внимания на доносившиеся из коридора голоса, и незваного посетителя заметили не сразу. А он подошел к столу, спокойно, ни с кем не здороваясь, налил водки в стакан, опрокинул залпом, крикнул и закусил большой щепотью соли.

— А вы кто такой? — удивился Хоботов. — Кто вас звал? Надо сказать хозяйке, чтобы никого постороннего сюда не впускали.

— Я? Какое твое дело?

Хоботов смутился:

— Да я же хозяин. Имею право...

Новый посетитель обнял Хоботова, ткнул его легонько в бок и хихикнул:

— Который здесь Быков?

— Я — Быков...

— Тебя-то мне и надо. Как же, прочел, в газетах прочел. И вот пришел с тобой посчитаться.

— Я вас не знаю.

— Да я-то тебя хорошо знаю. Что ты такое есть? — Он плюнул и растер плевков сапогом. — Вот что я тебе скажу. Мне на тебя наплевать, я сам скоро авиатором стану. Ты обо мне не слышал? Так вот, я тебе говорю, что услышишь.

— Выгнать его? — спросил Хоботов.

— Зачем? Пускай сидит, — на огонек, видать, его потянуло... — ответил Быков.

Скандалист съел две порции бифштекса и сел на полу, возле двери.

— А теперь спать буду.

Он сразу же заснул и захрапел.

— Безобразие, — вздохнула артистка, та самая, которая хотела стать авиатором. — Поедьте на Стрелку...

— Поздно уже...

— Тем лучше. Там так хорошо. А здесь больше сидеть невозможно.

Начались сборы.

Швейцар сбегал на стоянку за извозчиками.

— А его куда деть? — спросил Быков, показывая на сладко храпевшего скандалиста.

— Не знаю, — задумался Хоботов. — А что, если его в ваши комнаты перенести?

Они попробовали разбудить скандалиста, тот отругивался, но не просыпался. Хоботов и Быков подняли его и под руки повели в соседнюю квартиру. Там, в передней, уложили незваного посетителя и спустились вниз.

Быков не особенно был доволен прогулкой; в меру ездили, в меру спорили, в меру любовались закатом на взморье, а в общем было скучно, — под конец, наняв извозчика, Быков усадил Победоносцева и Делье в свою коляску, и они уехали втроем со Стрелки.

— Обидно, что мы так и не поговорили наедине, — сказал Победоносцев, — а ведь мне обязательно нужно посоветоваться с вами.

Быков слушал Победоносцева, вспоминал разговоры сегодняшних посетителей, думал о собственных делах, и ему начинало казаться, что напрасно он бросил службу на телеграфе. Теперь очень уж много было вокруг суетливой бестолочи, и Быков предчувствовал, что нелегка будет странническая жизнь летчика, разъезжающего по провинциальным городам со своим аэропланом.

— Я пока распрощаюсь с вами, — сказал Победоносцев, — а завтра утром зайду пораньше. Можно?

— Заходите, обязательно заходите!

Тротуары покрывались рябоватыми пятнами. Небо светлело, тени становились прозрачней. Люди торопливо шли по проспекту.

Победоносцев взглянул вверх и увидел дирижабль — большой, лиловатый, похожий на сигару, медленно плывущий над городом. На перекрестке стояли зеваки и, задрав головы, внимательно наблюдали за полетом.



роснувшись, Быков увидел, что вчерашний скандалист сидит на полу, украдкой курит и боязливо посматривает на летчика.

— Так. Значит, пришел считаться со мной?

Скандалист испуганно посмотрел на Быкова, вскочил как встrepанный, и лицо его сразу покрылось лихорадочными красными пятнами.

— Простите. Простите великодушно. Больше не буду. Да разве бы я осмелился, если бы меня перед тем не споили! Почту за великую честь... В ноги вам поклонюсь, только не ругайте...

— В ноги кланяться не нужно, но только почему вы ко мне явились с визитом?

Скандалист закашлялся.

— Не обессудьте. Страдаю чахоткой. Ездил на автомобиле самоучкой четыре года. Прозябаю в бедности. Не достигну ли через вас какого местечка по авиационной части? Прожился и без копейки денег. А о вас много прослышан. Не гоните меня... Я вам хоть мотор буду заводить, хоть полотно на крыльях чинить... А за вчерашнее не обессудьте...

— Оставь свой адресок. Да только не думаю, что в тебе нужда будет... А пока что — возьми красненькую...

— Премного благодарен. — Скандалист поклонился и ушел, осторожно переступая на цыпочках, чтобы не разбудить Делье.

В комнату вбежал Победоносцев.

— Как спали? Знаете, я о вас говорил дома, и вас очень хотят видеть. Может быть, зайдете к нам на днях?

— Пожалуйста.

— А сегодня нам надо еще зайти к Загорскому. Он вернулся ненадолго в Россию. Ждет нас. Я уже и извозчика нанял.

Загорский жил у знакомых на Крестовском острове, в доме с каменной лестницей и деревянными стенами, с садиком, в котором чахли жалкие сиреневые кусты.

Ему нравилась тишина этих мест, ничем не походивших на шумную улицу, где жил он прежде, — не было здесь ни больших магазинов, ни крикливых реклам суповых кубиков «Магги» и средств для ращения волос «Перуин-Пето», — а вечера и вовсе были хороши. Изредка протарахтят по мостовой колеса ломовых телег, да запоздалый прохожий пройдет навстречу ветру, придерживая рукой шляпу, — и снова тихо на деревянной захолустной улице. В такую пору хорошо выйти к взморью и смотреть, как тает закат, как плывут по дымным волнам узкие лодки. В молодые годы удивили Загорского слова одного бывалого моряка, говорившего, будто море — хороший собеседник, а теперь, в часы своих одиноких прогулок, он сам неожиданно почувствовал правоту этих слов. Вот постоишь так у моря, любясь закатом и прислушиваясь к мерному плеску волн, и когда возвращаешься назад в невысокую комнату тихого дома, неожиданно почувствуешь, как много передумал, беседуя с морем.

На этот раз Загорский приехал в Петербург, чтобы окончательно решить свою дальнейшую судьбу. Он больше не хотел ехать за границу. Он устал от кочевой заграничной жизни, от парижской сутолоки, от безрезультатной переписки с начальниками инженерного управления, — и в последнее время так стало тянуть на родину, что решение было принято бесповоротно. Чего бы это ни стоило — он останется в Петербурге.

Неприветливо встретили Загорского в инженерном управлении, и старенький генерал, медленно растирая обеими руками дергающееся колено, стал рассказывать Загорскому о духе странного какого-то беспокойства, витающего с недавнего времени в управлении. А тут, как назло, в большой петербургской газете было напечатано интервью с Загорским, и в этом интервью было сказано несколько слов о злоключениях русских изобретателей, имевших дело с инженерным управлением.

Интервью с Загорским заинтересовало известного сенатора, ведшего ревизию военного ведомства. Слыл этот сенатор человеком мелочным и страшным любителем всяческого бумажного делопроизводства, но в честности его никто не сомневался, и Загорский обрадовался, получив от него приглашение лично явиться на прием.

Сенатор уже давно вел ревизию и о ходе ее лично докладывал царю. Не реже раза в месяц писал он в Главную квартиру дворцового ведомства, что ему нужно сделать доклад о ходе следствия. Через два-три дня получался ответ. В назначенный день и час к петербургскому поезду подавалась дворцовая карета. Сенатор выходил из вагона, опираясь на палку, — шестой год его мучила подагра. Карета быстро ехала по широким улицам Царского Села, и сенатор, волнуясь, думал о предстоящей встрече. Он знал, что царь — лживый, ограниченный человек, слабовольный и жестокий, управляющий огромной страной, как захолустным имением средней руки, любивший только яхту «Штандарт» да безвкусовые, слащавые до приторности картинки придворного живописца, но все-таки, подъезжая к дворцу, забывал о боли и неизменно оставлял палку в карете. Сенатора вели в квартиру для ожидающих. Камердинер трех царей Катов предлагал пойти в буфетную позавтракать. Сенатор отвечал, что обедает только дома. Камердинер понимающе кланялся:

— Вашему превосходительству и нельзя иначе, как дома.

Сенатор вздрагивал: камердинер советовал остерегаться отравы.

Но как раз в те пасмурные дни, когда ревизия подходила к концу, царь отказал сенатору в приеме. В сенате сразу стали поговаривать, что в любом деле самое скверное — перестараться, а дня через три сенатору было предписано приостановить ревизию впредь до особого распоряжения.

В тот же вечер получил Загорский коротенькую записку, отменяющую недавно назначенный прием, и окончательно понял, что больше оставаться в инженерном управлении нельзя: теперь-то обязательно упекут в какую-нибудь дальнюю заграничную командировку.

Загорский начал хлопотать о переводе в одну из воздухоплавательных школ. Началась длинная канцелярская переписка. Он почти не выходил из дому, тщетно ожидая приказа, и даже неожиданное появление нелюбимого им Хоботова в этот вечер очень обрадовало его — все-таки можно хоть о чем-нибудь поговорить со знакомым человеком.



А тут еще вторая нечаянная радость: пришли Быков и Победоносцев.

Загорский встретил летчиков на крыльце и обеими руками сжал руку Быкова.

— Здравствуйте, рад, очень рад видеть вас, могу гордиться, что помог вам в начале вашего пути. Ну-с, рассказывайте, как вы живете?

— Приехал в Петербург, а что дальше будет — не знаю.

— Как? Разве останетесь на службе у Левкаса?

— Контракт с Левкасом я разорвал.

— Вам-то хорошо, разорвал — и кончено... А мне как-то? Не порвешь... Помяните мое слово, приключенческие романы об авиации окажутся скоро действительностью. В будущей войне...

— Да будем ли мы воевать? — перебил Хоботов. — По-моему, никакой войны быть не может. На Балканах, может быть, и станут воевать, но России не с кем драться...

— Глупости! Неизбежна война с кайзеровской Германией, неспроста немецкая военщина столько десятилетий бряцает оружием. Летчиков тогда мобилизуют — и вам придется драться в небе.

— Я спросить у вас хотел, — сказал Быков, — как конструкторы живут? У меня мысль есть об улучшении монопланов.

— Конструктором станете — намучаетесь, — сказал Загорский. — Великий князь Александр Михайлович и другие лоботрясы, стоящие во главе авиационного дела, бездельничают и не обращают внимания на неотложные нужды авиации. Людям, построившим аэропланы, деньги выдавали с трудом, после дурацкого, простите, бумагомарания. А знаете, как работает один талантливейший конструктор? Строит аппарат в своей комнате; комната тесная, крыло девать некуда — вот оно и торчит из окна, удивляя прохожих. А сколько поношений и оскорблений он испытывал! Вы-то что будете теперь делать?

— Подписал несколько контрактов — придется по России поездить...

— Скажите, — вмешался в разговор Победоносцев, — неужели в России нет людей, которые могли бы ускорить развитие авиации? Неужели не хватает людей?

— Это из ста пятидесяти миллионов-то самого талантливого в мире народа людей не хватает? Много адресов мог бы вам дать... Вот в Москве живет профессор Жуковский — человек, которого двадцать зарубежных академий не заменят. Кто ему помогал? Есть у него ученики — подают большие надежды. Россинский — ну, да вы его знаете — первый московский летчик. Конструкторы молодые возле него. В Киеве живет молодой студент, изобретает что-то, — говорят, интересная личность. В Калуге работает Циолковский, — его труд рассчитан на тысячелетия вперед, он обогнал свое время. А лучшие летуны наши? Ефимов, Уточкин, молодой Нестеров...

Хоботов увел Быкова в соседнюю комнату и начал разговор:

— Я с тобой хочу поговорить по очень серьезному делу и прошу к тому, что скажу, отнестись серьезно.

— Я всегда серьезен.

— Ты меня не посвящаешь в свои дела, скрываешь, и я только из газет узнал о твоём разрыве с Левкасом...

— А зачем тебе знать о моей ссоре с банкиром?

— Я очень заинтересован твоими делами, ужасно заинтересован. Ты и не знаешь ничего о моих планах. Позволь, я их тебе сейчас изложу. Летуном я быть не могу — здоровье не позволяет, — но об авиации крепко думаю и люблю летное дело. Отец мне дает порядочно денег, требует только, чтобы я делом занялся. Вот я и становлюсь заводчиком. Да ты ведь газеты читал, из газет, наверно, знаешь... Купцы и промышленники на авиации наживают деньги. Левкас, правда, на тебе обжегся, но зато... Да хоть бы братья Пташниковы, миллионеры, у них договор с Заикиным. Потом какой-то фабрикант французский — сколько он заработал на Ефимове в одной Ницце? Но они дельцы, а я человек порядочный. Я тебе и предлагаю: приходи служить ко мне. Я нанимаю тебя и механика. Аэроплан покупаю на ходу и сразу же передаю его тебе. Согласен? Нет? — Хоботов ходил по комнате, волнуясь. Видно было, что его очень занимает разговор: глаза потемнели, улыбка пропала, он ждал ответа, как будто от слов широкоплечего летчика зависела его, хоботовская, судьба.

— Я согласен хоть только до осени. Если найдешь дело поинтересней, сможешь бросить поездку. К тому времени... да, впрочем, стоит ли о будущем сейчас говорить...

— Пока я связан контрактами...

— А потом?

— А потом посмотрим.

Хоботов обиделся и замолчал. В последние месяцы появились авиационные антрепренеры; они покупали аэропланы, ездили с авиаторами по провинции и большую часть сборов присваивали себе. Летчик рисковал жизнью, антрепренер — барышом. Кто только не эксплуатировал летчиков! Миллионеры братья Пташниковы посылали на смерть борца-авиатора Ивана Заикина. Бывший администратор варшавской оперы через каких-то подставных лиц организовал полеты летчиков. Один рижский купец, немец Раух, выигравший у авиатора Стремнинского в карты аэроплан, ездил по России с машиной и механиком. Он приезжал туда, где, по газетным сообщениям, находились летчики, летавшие на плохих собственных машинах, и уговаривал их поступить к нему на службу. На неисправном «блерио» царицынского купца разбился в Ельце военный пилот Золотухин. И даже из смерти антрепренер сумел извлечь пользу: он застраховал в одном иностранном обществе жизнь Золотухина — согласно условиям страховки премию должен был получить владелец аэроплана...

Хоботов хотел заняться новым и, как казалось ему, выгодным делом. Но с антрепризы он думал только начать, а в дальнейшем собирался вступить компаньоном в какое-нибудь авиационное предприятие, — он вел уже переговоры с владельцами завода в Петербурге.

В последние месяцы Хоботов свел знакомство с несколькими приезжими коммерсантами, представителями французских и американских авиационных фирм, и большие надежды возлагал на свои новые связи. Он целую неделю составлял рекламное объявление своего будущего предприятия, и теперь ему не терпелось показать Быкову огромный, крикливо раскрашенный плакат, извещавший о создании «Товарищества Хоботова и компании», который он предусмотрительно захватил с собой.

«Хоботов и компания» брали на себя представительство иностранных фирм, производящих и авиационные моторы, и термоткани, и особые сорта фанеры для аэропланов, и свечи «Олео», с которыми были совершены многочисленные перелеты на Западе. Прочитав вслух объявление, Хоботов самодовольно сказал, прикрепляя кнопками к стенке пестрый плакат:

— Одна беда, трудно мою фамилию латинскими буквами передать. Никто не прочтет «Хоботов», а обязательно будут принимать за некоего мифического «Шоботова».

— А зачем тебе под иностранца подделываться? — насмешливо спросил Быков. — Пиши по-простецки свою фамилию, не гоняясь за заграничным титулованием. Или, как в «Мертвых душах», рекомандуйся: иностранец Василий Федоров.

— Заграничное как-то солиднее выглядит, — чисто-сердечно признался Хоботов.

— Значит, ты заграничные клейма на своем товаре собираешься ставить? — уже раздражаясь, спросил Быков.

— А почему от таких выгодных предложений отказываться? Откажусь я — другой заключит контракты. Тебе мои слова кощунством кажутся только потому, что ты ровнехонько ничего не понимаешь в коммерции. Теперь, милый мой, на Руси без иностранного капитала никакого серьезного дела вести нельзя!

— Стало быть, потому вы и хотите всю Россию запломбировать иностранными пломбами?

Хоботов с удивлением посмотрел на летчика, — впервые видел он Быкова таким раздраженным и злым. «С чего он так разъярился, — думал Хоботов. — Ведь ничего плохого я ему не сказал. А о России-то как заговорил, словно он один за Россию ответчик».

Он не хотел ссориться с человеком, в котором был теперь так заинтересован, и тихо сказал, рукавом прикрывая самое яркое цветное пятно на плакате:

— А ты не сердись, я ведь тебя обидеть не хотел. . .

— Я не за себя обиделся, — вставая из-за стола, сказал Быков. — Да разве поймешь ты, из-за чего я на тебя зол?

Расставшись с Быковым, Хоботов направился в один из домов на Невском проспекте. Там в небольшой квартире помещалась контора некоего Качкина, гордо именовавшего свое учреждение «Акционерным обществом справочных контор о кредитоспособности».

Хоботов недавно познакомился с Качкиным на бирже, и новый знакомец пообещал навести некоторые справки по интересующему купчика вопросу.

Быстро возникали товарищества воздухоплавания и авиационные фирмы в Петербурге. Было утверждено и английское «Товарищество воздухоплавания Томсона» с правлением на Галерной улице. На марке общества было изображено солнце, восходящее над земным шаром, к которому неизвестный художник пририсовал короткие выпуклые птичьи крылья.

Товарищество Томсона вело переговоры с Хоботовым: ему предлагали пакет паев, суля большие доходы от находящихся в постройке аэропланов. В одном знакомом доме повстречался Хоботов с учредителями Товарищества — двумя молодыми англичанами Арнольдом и Томсоном. Он быстро сговорился с ними, купил несколько паев и собрался приобрести весь пакет, но как раз в те дни приехал из Москвы отец Хоботова и строго наказал сыну никаких паев не покупать, пока не удастся точно выяснить, надежное ли у англичан дело.

Хоботов не смел ослушаться отца и рад был случайному знакомству с Качкиным: контора, как указывалось в договорах, «избавляла клиента от неизбежности риска, связанного с услугами третьих лиц, и давала объективное мнение о делах интересующей клиента фирмы». Одно лишь требование было у Качкина к клиенту: содержание справки Хоботов не имеет права передать третьему лицу, так как «оное предназначалось только для лица, обратившегося с просьбой в контору».

— Ну, как?—спросил Хоботов, входя в заставленную шкафами и этажерками грязную комнату. — Справочка еще не готова?

Высокий блондин с худым лицом, которое, словно судорогой, было искажено иронической улыбкой, поднялся навстречу Хоботову и широким жестом показал ему на облезлое кожаное кресло возле стола.

— Справка готова, — сказал он, — серьезное дело, право...

— Разрешите посмотреть?

— Нет, вы мне сперва денежки заплатите, а то в прошлый раз один клиент так расстроился, что, получив справку, в обморок упал и деньги по рассеянности забыл заплатить...

— Я в обморок не упаду.

— Не сомневаюсь. Но только разрешите сперва получить...

Он вынул из стола плитку шоколада и, отламывая кусок за куском длинными тонкими пальцами, тихо говорил:

— Работа тяжелая... поверите, без сладкого и дня бы не прожил... а пить по состоянию здоровья не могу...

Хоботов расплатился. Качкин сразу выписал квитанцию и торжественно вручил большой пакет, густо залепленный сургучом.

— То есть как же, — бормотал Хоботов, прочитав справку, — значит, выходит, что «Товарищество Арнольда и Томсона» — нечто вроде воздушного шара, из которого вышел воздух?

— Наоборот, оно скорее напоминает мне воздушный шар, в оболочку которого еще не накачали и кубического фута воздуха.

— Но ведь англичане производили на меня самое милое впечатление...

— Умные люди! — восторженно проговорил Качкин, раскачиваясь в кресле-качалке и посасывая шоколадку. — Зачем капитал, если могут найтись доверчивые компаньоны?

— Но, простите, в справке совершенно определенно указано, что оба они не имеют никаких средств и один из них живет на средства некоей артистки, разведенной жены горного инженера, а другой, кроме носильного платья, никакого имущества не имеет...

— Вот именно, кроме носильного платья! — восторженно вскрикнул Качкин. — Но уж зато, наверно, хорошего качества у него носильное платье.

— Смокинг он носит великолепно, — чистосердечно признался Хоботов.

— А разве хорошо сидящий смокинг не заменяет умному человеку капитал? У нас в Петербурге доста-

точно иметь иностранную фамилию, чтобы быстро продвинуться в высших сферах...

— Но на что же они рассчитывают?

— На что? — улыбаясь, спросил Качкин. — Да именно на то же. Скажем, назовите Товарищество воздухоплавания фамилией Петрова или Сидорова — и внимания не обратят на вас в каком-нибудь графском или княжеском доме, а стоит вам только явиться с этакой англосаксонской фамилией вроде Томсона — сразу двери открыты...

Хоботов вышел на улицу в самом скверном настроении...

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ



Вас очень рады будут видеть в нашем доме... Победоносцев шел по бульвару веселый, улыбающийся. Быкову было приятно видеть это румяное радостное лицо, так бесхитростно выражающее молодую силу, неспособную долго отчаиваться и грустить.

Победоносцеву казалось, что никто так глубоко, как он, не чувствовал своего возраста — своей эры, говорил он шутя. Возраст каждого человека он сопоставлял со своим возрастом. Из сравнений часто рождались неприятные мысли. Он помнил слова одного писателя: у великих по-настоящему людей физическая молодость совпадает с высшей точкой их человеческой судьбы. Он боялся будущего, потому что слишком много от него ждал. Он легко переносил неудачи. Ему казалось, что горести временны, преходящи. Настанет день — и имя его прогремит по миру. Он презирал людей, мечтавших о славе во что бы то ни стало, согласных добиться ее любой ценой. Когда мировая пресса застонала от ужаса в день похищения из Лувра знаменитой картины Леонардо да Винчи и сотни агентов бросились в большие и малые города Европы, разыскивая таинственного вора, Победоносцев подумал:

«Мировая история повторяется. Это не вор, это новый Герострат стремится прославить свое имя...»

Победоносцев грезил о другой славе, он хотел совершить подвиг во имя человечности, во имя России. Может быть, именно на войне суждено прославиться ему?

— Мечтаете? — добродушно спросил Быков, шедший рядом с Победоносцевым.

Тот встрепенулся и, взяв приятеля под руку, начал торопливо рассказывать:

— Значит, я вам ничего не говорил о своей семье? Странно. Но с чего же собственно начать? Вы обратили внимание на мою фамилию? .. Не правда ли, слишком громкая фамилия для авиатора? Похоже на псевдоним. Но это действительно наша, хоть мы, к счастью, и не приходимся кровными ни на пятой, ни на десятой воде тому знаменитому обер-прокурору святейшего синода. Отец мой староват, седоват, в разговоре груб. Предобрый человек, но я с ним с самого детства враждую. Характер у него властный, не любит ни в чем возражений, а я сразу после гимназии показал собственную строптивость: пошел в авиацию против его воли. Мать разъехалась с отцом, у нее теперь другая семья, да и не живет она в Петербурге... Потом брат инженер, он работает в Москве... Сегодня вы увидите отца. Он будет очень рад вас видеть. Да есть у меня еще сестра...

— Вы дружите с семьей?

— С отцом часто спорю...

— А я очень дружен с отцом. Он у меня чудак. Обожает страшные истории. Но у нас, в рабочей среде, отношения между отцами и детьми проще, чем в интеллигентских семьях. Даже профессия — и та обычно выбирается по наследству... Правда, я-то сам свою дорогу выбрал.

— Вот мы и пришли...

Они вошли в странный подъезд — Быков никогда не думал, что есть такие дома в Петербурге. Они долго шли по длинному туннелю, в котором было темно и сыро, как в колодце, но пройдя туннель, Быков увидел большой чистый двор, широкоствольные липы, росшие у ворот, кустик сирени у деревянного палисада.

Победоносцев открыл входную дверь французским ключом и провел гостя в уставленную книжными шкафами переднюю.

— Кто там? — спросили из соседней комнаты.



— Мы, мы. Вот, пожалуйста, познакомься с нашим гостем. Я тебе говорил о моем приятеле Петре Ивановиче Быкове...

— Как же, читал о вас в газетах... — Высокий мужчина с тронутой сединою бородой крепко пожал руку и добродушно сказал: — Прошу вас, проходите, пожалуйста...

Отец Победоносцева был бледен, глубокие морщины шли по лбу и щекам, но глядя на его могучую грудь, туго обтянутую черной косовороткой, трудно было поверить, что Ивану Петровичу под пятьдесят.

Быков знал из рассказов товарища, что Иван Петрович — известный врач и специальность его — изучение чумы. Большую часть времени он проводит на форту «Император Александр Первый». Если ехать на пароходе по Финскому заливу, то можно увидеть неподалеку от низкого, болотистого берега старинный форт, заложенный еще в тридцатых годах прошлого столетия. Толстые стены, как тюремная ограда, отделяют его от остального мира. В широких амбразурах не торчат жерла пушек — в белые просветы врываются ночные туманы и огромные потоки воздуха, нагнетаемые осенними штормами. Подъезжая к форту ночью на лодке, в одиночестве, можно испугаться — невесть что может взбрести в голову, когда увидишь орла с вдавленными крыльями, львиные морды, в которые просунуты огромные кольца, и полосатый столб у входа. Но еще страшнее форт внутри. Здесь живут чумные бациллы: на форте заготавливают противочумные препараты.

С тех пор как Иван Петрович разъехался с женой, он полюбил тишину и уединение противочумного форта. Часами возился он с кроликами, крысами и тарбаганами, долгие вечера просиживал над книгами в библиотеке, возле урн с прахом докторов, погибших от чумы во время опытов, подолгу простаивал в крематории, зловещем, освещаемом жалким светом слабой электрической лампы.

Так постепенно вырастал разлад между замкнутым, нелюдимым отцом и детьми, — они жили своей, самостоятельной жизнью, но отцу казалось, что их интересы мелки и мечтания беспочвенны. Встречаясь, они не понимали

друг друга, старик отдалялся от семьи, но стоило прийти посторонним — и он держал себя совсем иначе. Со стороны могло показаться, что в этой семье живут дружно и весело.

Они прошли в столовую. От абажура падали косые тени на стены и пол. На столе в розовой вазе — большой букет полевых цветов. На мраморном столике в углу сверкал начищенный до блеска пузатый самовар. Квартира походила на провинциальную квартиру в губернском городе, и домовитость, теплота низких квадратных комнат обрадовала Быкова.

— Очень приятно, — говорил старик, — мне Глеб о вас без конца рассказывал. Он вообще у нас очень восторженный.

— Ты мог бы пока обойтись без характеристики. Ужасно скучно...

— Почему же? Восторженность — превосходное свойство человеческой души. Я сам — человек увлекающийся...

— Нет, мне надоели постоянные твои насмешки...

Иван Петрович спокойно посмотрел на сына:

— Нельзя же быть таким нервным.

— Вот так они всегда — встретятся и сразу же начинают спорить... Здравствуйте, — сказала высокая девушка в маркизетовом платье, входя в комнату. Крепко, по-мужски, пожала руку и села у самовара.

Она достала полоскательницу из буфета и начала перемывать чашки.

— Леночка, это Быков, о котором я тебе говорил.

Она внимательно посмотрела на летчика. Было во взгляде ее светлых задумчивых глаз что-то дружеское, и Быков сразу почувствовал себя легко и просто в этой большой и теплой комнате.

— Вот вы какой. А я представляла почему-то, что вы очень важный человек, только летаете там, наверху, а за столом, в нашей домашней обстановке, вас и вообразить трудно.

— Я с вами поговорить хотел о Глебе, — сказал старик. — Как, по-вашему, есть ли у него призвание к летному делу? Не просто ли обычное увлечение модой? Я не

хотел, чтобы он занимался авиацией. Но он, знаете ли, еще в гимназии заинтересовался полетами... Старший брат на него повлиял...

Быков дружески посмотрел на приятеля и забарабанил пальцами по столу — он делал это всегда, когда был чем-нибудь недоволен.

— Глеб Иванович далеко пойдет, и вы за него не бойтесь.

— Но ужасно, — вмешалась в разговор Лена, — что человек каждый день рискует жизнью. Ведь близким так тяжело вечное беспокойство о нем... С тех пор как он стал летать, я вижу дурные сны и каждый вечер раскладываю пасьянсы.

— Только снизу полеты кажутся очень страшными. А если подумать всерьез, ничего страшного нет. О смерти же мы просто не думаем, потому что во время полета все время голова и руки заняты.

Пришли еще какие-то гости, приятели старика. Иван Петрович пересел за другой столик, и началась ожесточенная партия в шахматы, прерываемая время от времени насмешливыми замечаниями партнеров.

— Вы на аэродром приходите когда-нибудь, — обратился Быков к Лене, — мы вас покатаем, увидите, как просто и легко чувствуешь себя в небе.

— Теперь уже не удастся, — вытирая посуду, ответила она, — я завтра уезжаю в Царицын: ведь мы царицынские по рождению.

Глеб был грустен и смотрел куда-то в сторону, будто боялся открыть свою сокровенную тайну.

— Может быть, пойдем погуляем немного? — обратился он к Быкову.

— Мне гулять уже некогда, я пойду домой.

— Я вас провожу.

Они шли молча по улице, и Быков почувствовал, что Победоносцев все еще раздражен насмешливыми замечаниями отца.

— Знаете, очень мне трудно, — начал было Глеб, но вдруг махнул рукой и заторопился, — я уж пойду сейчас, а завтра забегу к вам.

Они расстались на перекрестке, и Быков пошел домой один. Вернувшись, он нашел на столе письмо от отца. Старик писал, что подружился с «Ванчиком» и каждое

утро гуляет с ним по городу. Быков впервые с нежностью подумал о мальчике в розовом костюме, так горько заплакавшем в поезде, когда услышал от Быкова слова о жилище Эола, а ложась спать, решил, что девушка в маркизетовом платье, разливавшая чай, очень, должно быть, добра и сердечна, и вспомнил ее лицо, чистое, светлое, чем-то похожее на лицо Глеба Победоносцева, но еще более румяное и приветливое.

Делье проснулся, увидел, что Быков не спит, сел на кровати, завернулся в простыню и начал рассказывать о веселых встречах юности.

Все больше привязывался Быков к маленькому задиристому французу, — была в характере Делье удивительная легкость и веселость. Находясь в одной комнате с ним, невозможно было скучать или грустить, всегда он сумеет во-время сказанным словом развеселить приятеля.

Когда они ходили вместе по улицам, прохожие невольно оборачивались: рядом с Быковым француз казался очень маленьким, но сам Делье не обращал внимания на это: печальное, как говаривал он, несоответствие между ростом летчика и механика. Он ходил по улицам с высоко поднятой головой, чуть набок сдвинув котелок, размахивая тросточкой, и во взгляде его выпуклых темных глаз была строгость, которая могла бы смутить незнакомого с Делье человека.

Очень легко было рассердить Делье, и несколько раз в ресторанах Быкову приходилось мирить француза со случайными собутыльниками. Зато этот задиристый маленький человек никогда не мог долго сердиться и первый громко хохотал, если собеседнику доводилось сказать о нем что-нибудь остроумное.

Каждый день Делье учил по десять русских слов и за справками обращался обыкновенно к Быкову. Бывало, проснется рано утром Быков, а француз ходит по комнате, закручивая тонкие черные усики, и старательно зубрит: «этот столь высокий, а стуль низкий» или «караша прогулька зимой по полю на лижах», и вид у него при этом такой важный, словно гору ему перевернуть удалось.

— Важничаешь, Делье, — посмеивался Быков, и Делье тотчас охотно соглашался, что действительно важничает: шутка ли, когда он вернется в Париж, то все механики

будут завидовать ему — ведь он сможет легко объясниться с любым приезжим русским.

Но вдруг он стал жаловаться Быкову на безделье.

— Скоро ли мы начнем по-настоящему летать? Мне надоело без конца пить водку и болтать об аэропланах.

— Завтра утром узнаем. Спокойной ночи, дружище.

Они спали, когда в комнату вбежал Хоботов. В руках у него был большой сверток.

— Доброе утро! — Хоботов снял на ходу пальто и швырнул его на диван. — Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало. Здравствуйте, Делье. Здравствуй, Быков. Будете ли вы, чорт возьми, когда-нибудь вставать? Кстати, я принес. . . — Он развернул пакет и поставил на стол бутылку шампанского. — Почему бы нам не начать день с редерера? . . . — Он потер руки, ежась и пофыркивая, как будто пришел с мороза, и весело спросил: — Ну, как? Надумал? Повторяю еще раз: до осени жалование тебе и Делье, проценты со сбора. Согласен? Есть одно предложение — послезавтра же надо выезжать — полеты по Волге, от Самары до Астрахани. . .

— Послушайте-ка, Делье, господин Хоботов хочет стать нашим антрепренером. Он предлагает нам поступить до осени к нему на службу. Наши контракты он принимает.

— Решайте вы. Как вы решите, так и будет.

Быков представил вдруг, сколько возни будет, если придется самому взять на себя хлопоты по устройству полетов, переговоры с губернаторами и полицмейстерами, аренды ипподромов, — и махнул рукой.

— В таком случае мы согласны.

Хоботов захлопал в ладоши. Прибежала горничная. Он ущипнул ее за подбородок и велел откупорить бутылку.

— Только я тебе еще одно условие предъявляю, — усмехнувшись, сказал Быков. — Подписывай сразу и второй договор — с Победоносцевым. Был я вчера у него, плохи у парня дела. Он из интеллигентской семьи, они его, должно быть, хотели хлюпиком сделать, а он возьми да и стань летчиком. . . Я тебя уж очень прошу, возьми его на испытание. . . Он стоящий парень, умный. . .

— Разобьет аэроплан — что с него тогда возьмешь? Ничего не возьмешь. . .

— Думаю, не разобьет... Пока он у тебя будет служить, а там — возьму с собой.

— Ладно. Скажи ему — пусть завтра приходит.

Насчет покупки у Быкова аэроплана в тот день не сговорились. В последнюю минуту Быкову стало жаль своего «фармашку» — он мечтал на досуге заняться улучшением машины. Хоботов надеялся уговорить летчика — может быть, этим и объяснялось его неожиданное согласие заключить договор с Победоносцевым.

...Назавтра Хоботов все-таки купил аэроплан у Быкова.

Вечером, накануне отъезда из Петербурга, Быков получил городскую телеграмму, подписанную незнакомой ему фамилией. Некий Ружицкий приглашал летчика в гости и заранее благодарил за внимание и любезность. В телеграмме было много старомодных, витиеватых слов, она чем-то была необычна, и Быков вдруг решил поехать в гости к незнакомому, но, судя по телеграмме, вежливому и обязательному человеку.

С трудом отыскал Быков нужный дом в тихом переулке Петербургской стороны. Дом был деревянный, старенький, словно негаданно перенесенный в столицу из далекого уездного городка, в окне мезонина горел синеватый крохотный огонек, отблеск его плясал на ветке тополя, дотянувшегося до самой крыши.

Не успел Быков дернуть ручку висячего звонка, как окно в мезонине распахнулось, и бородатый человек в круглых очках спросил:

— Неужели господин Быков?

— Он самый!

— Как я рад, — весело отозвался бородач, — очень рад познакомиться с вами. Сам, говоря по правде, зайти к вам не решался — человек вы занятой, и без меня у вас разных докучливых посетителей много. А вот, думаю, когда захочется нашему знаменитому летчику хоть немного отдохнуть, он ко мне и заедет. Здесь ведь тишина, спокойствие, никакой сутолоки, словно отсюда тысяча верст до столицы.

Последние слова он проговорил, уже спускаясь по лестнице. Он прошелся вместе с Быковым по переулку, показал ему двор, где росли цветы, каких не выращивали и в Ботаническом саду; и когда через полчаса Бы-

ков сидел в мезонине, за круглым столом, на обитом выцветшим плюшем диванчике, летчику показалось, будто с хозяином квартиры он знаком давным-давно — как-то легко и просто было с ним, словно не впервые встретились они в нынешний вечер...

Низенькие комнаты были уставлены полками и книжными шкафами, на столах и стульях лежали объемистые папки с бумагами и газетными вырезками, на стенах развешаны фотографии летчиков, чертежи лежали грудами на этажерках, а к потолку были подвешены модели монопланов, бипланов и helicopters. Шагу нельзя было сделать, не задев какого-нибудь предмета, и Ружицкий ходил по комнате бочком, словно боялся нарушить заведенный им самим порядок.

— А вам моя фамилия, наверно, неизвестна, — сказал Ружицкий, набивая папиросы.

— Честно говоря, впервые ее узнал, когда получил вашу телеграмму.

— И немудрено! Обо мне в газетах не пишут, а мои коротенькие заметки в периодических изданиях вам, должно быть, не попадались...

— Вы тоже увлекаетесь авиацией? — спросил Быков, разглядывая модель моноплана незнакомой конструкции, висевшую над обеденным столом.

— И воздухоплаванием! Не только авиацией, но и воздухоплаванием, — строго сказал Ружицкий. — Теперь, конечно, наступил век аппаратов тяжелее воздуха, но, поверьте мне, и дирижабль еще свою службу человечеству сослужит!

— А сами никогда не летали?

— Только пассажиром...

— Вы уж на меня не обижайтесь, вижу — вы человек хороший, скажите откровенно, зачем меня приглашали?

— Зачем? — разводя руками, сказал Ружицкий. — По правде говоря, ни зачем. Просто хотелось мне с хорошим человеком познакомиться.

Он улыбнулся. Засмеялся и Быков. Оба они были рады, что вот выпал свободный вечер, когда можно по душам потолковать друг с другом без всякого дела, без спешки...

— А если откровенно говорить, то и дело у меня к вам есть, — поблескивая стеклышками очков, говорил

Ружицкий. — При каждом деле в жизни, кроме самих его участников, есть и, так сказать, тихие, но верные души, любящие дело не меньше, чем творцы. Они бескорыстно за это дело душой болеют, живут его интересами, их так «болельщиками» я бы и назвал. Вот я именно такой «болельщик» авиации. Смолоду еще воздухоплаванием увлекался. Сам я педагог, преподаю в гимназии историю. А авиация — так сказать, приватное увлечение. Жена моя умерла в позапрошлом году, детей у меня нет, вот и остался теперь один с моими коллекциями. Вы и представить не можете, как я волнуюсь, следя за полетами, как переживаю и радость и горе каждого летчика!

До поздней ночи засиделся Быков у Ружицкого, просматривая старые журналы, перебирая письма знаменитых воздухоплавателей, знакомясь с заботливо собранными Ружицким моделями самолетов. Уходя, Быков пообещал Ружицкому аккуратно переписываться с ним, сообщать подробности полетов и состязаний.

— Не забывайте старика, — тихо говорил Ружицкий, — ведь я теперь и о вас беспокоиться буду. Вот трудно придется вам в жизни, опасность ли будет какая, вы обязательно обо мне вспоминайте. Помните, что есть в переулке окно, в котором горит огонек. . .

На перекрестке Быков оглянулся. В окне мезонина горел теплый синеватый огонек. И не раз в дни трудных испытаний той поры думал Быков о приветливом, согревающем душу огоньке за тюлевыми занавесками в окне мезонина.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ



В Царицынском соборе кончилась поздняя литургия, и сразу же заколыхались на улице золоченые хоругви. Верующие шли к новостроящемуся собору. Впереди выступал, тяжело дыша, иеромонах Илиодор. Быков сразу узнал его. Он был похож на свои портреты, так часто появлявшиеся в столичных газетах; да и у кого еще в Царицыне мог быть такой властный вид?



Огромная толпа, шедшая за Илиодором, заполнила главную царицынскую улицу. Рослые мужчины несли иконы на широких щитах.

Могучий бас прославленного соборного дьякона заглушал пение огромного хора; прохожие, шедшие навстречу, останавливались, снимали шапки и истово крестились. К ним подходил Илиодор. Крестный ход на минуту останавливался.

Худое, изможденное лицо Илиодора было страшно в эти минуты.

— Плохо молишься! — кричал он, обращаясь к случайно оказавшемуся рядом с ним прохожему. — Молись лучше! Помни: все те, кто не молится, — диаволы. У них не человеческие лица, а морды...

Особенно доставалось от Илиодора тому, кто не успевал, по рассеянности, во-время снять шляпу, или кепку, или фуражку.

— Шапку не снимаешь — значит, в аду гореть будешь! — визгливо кричал он. — Негодяй, сними шапку, или она слетит у тебя вместе с головой!

Тотчас появлялся рядом с Илиодором огромный мужчина с грязными космами длинных, развевающихся по ветру волос, — в могучих руках своих держал он большой револьвер.

Размахивая оружием перед самым лицом неслуха, великан упрямо твердил:

— Умру, а батюшку не выдам...

— Ну, Савва, ты потише, — еще больше раздражаясь, кричал Илиодор. — Не умирать со мной, а жить надожно...

Мгновенным, хорошо рассчитанным ударом Савва сбивал с ног не понравившегося Илиодору человека, и крестный ход трогался дальше. На людных перекрестках Илиодор снова останавливался, вслед за ним останавливалась и вся процессия.

— Идите, идите с нами, — говорил прохожим Илиодор, — я знаю, вам дома нечего делать. — Прохожие присоединялись к толпе и вместе с другими шли к собору.

На прошлой неделе, когда появились в газетах объявления о предстоящих в Царицыне полетах Быкова, Илиодор, допуская народ к кресту, сказал, что произнесет проповедь особенную, совершенно новую и для верующих

очень важную. Илиодор нервничал в последнее время, особенно с тех пор, как узнал, что в синоде им недовольны, и с каким-то озорством шел напролом, — уже давно решил он сложить с себя сан и вступить в открытую борьбу со своими врагами.

Яростная ненависть к синоду ожесточила Илиодора против всех людей, не шедших к нему на поклон, — в каждом он видел врага, с каждым собирался расправиться самым беспощадным образом. Теперь же предметом его ненависти стал Быков.

С раннего утра к высокому бело-синему Святодухову монастырю стекались толпы народа. Церковь, разделенная высокой аркой на две неравные части, была озарена дрожащим, колеблющимся светом лампад. В высоком пролете арки, на иконостасе, с пожелтевшей иконы строго смотрел на толпу Пантелеймон-целитель. На клиросе пел хор монахов.

Страшен был Илиодор в последнюю пору своего пребывания в Царицыне. Вечно раздраженный, он сделал Царицын твердыней черной сотни и надеялся, что с Царицына начнется путь его восхождения к самым высоким званиям в церковной иерархии. Но на пути Илиодора встали могущественные враги, страшившиеся его возвышения. Узнав об их кознях, Илиодор чуть не рехнулся. Он вечно искал, на ком бы сорвать свою злобу.

Сегодня Илиодор особенно нервничал, сердито жаловался, истерически кричал. Он говорил больше часа, страшно охрип и ослабел — сказывалась недавняя болезнь. Кончив проповедь, он едва не упал. Старики поддерживали его под руки.

Илиодор раздраженно говорил о трех вещах. Прежде всего об артистах, выступающих в местном театре, и о танцорах, пляшущих в «Конкордии».

— Бритолобые лоботрясы, — говорил Илиодор, — возвращают публику зрелищами блудодейственными и постыдными. Они нарушают правило четырнадцатое Картагенского собора.

Передохнув, он продолжал:

— Святые просветители славянские Кирилл и Мефодий в степи донской открыли когда-то колодезь. Цельбоносна вода в священном источнике этом. Доколе будет сей колодезь пребывать водопойным станом?

Откашлявшись, он заговорил снова:

— Газет не читаю — руки о них марать не хочу, — но слышал я, будто какие-то полеты в небо будут совершаться в Царицыне. Великое сие обольщение! Земля наша далеко от других планет положена бысть, до самой близкой из них не доедешь. Воздухоплавание — мечта пустая! Рыбе — вода, человеку — земля, птице — воздух. Не ходите, молю вас, на бесовское действо.

...Царицынские автомобилисты рассказали приехавшему в город Быкову о проповеди Илиодора.

— Значит, человеку только земля положена бысть? — хохотал Быков, слушая рассказ автомобилистов об Илиодоре. — А мы-то, бедные, думали, что на земле человеку тесновато, что небо не хуже, чем земля, для нас приспособлено. А уж насчет расстояния до других планет Илиодор пусть не беспокоится: я ему могу подарить книжку Константина Эдуардовича Циолковского, — там точно и по всей справедливости объяснено, как будут люди совершать межпланетные перелеты.

— Нет, вы напрасно смеетесь, — пожимая плечами, говорили автомобилисты. — Кого невзлюбит в Царицыне Илиодор — тому плохо придется. Он хвастается, что самого чорта со света сжить сможет, а уж с вами-то справится быстро...

— Не на таковского напал, — сердито ответил Быков. — Я человек прямой: что сказал, обязательно выполняю. У меня двух правд нет, слово мое как железо. А если Илиодор хочет силой справиться со мной, то напрасно теряет время: у меня ее, этой самой силы, больше чем достаточно...

Он стукнул кулаком по столу, и автомобилисты сразу поняли, что даже великану Савве нечего помышлять о схватке с этим богатырски сложенным человеком.

На другой день, рано утром, в гостиницу пришел странный человек — узкоплечий, худощавый, в косоворотке, черных брюках и лаковых сапогах.

— Вы летчик? — спросил он, подергиваясь и поминутно поднося ко рту носовой платок.

— Совершенно правильно. Летчик.

— Слышали, что вчера о вас сказано было?

— Слышал, но с Илиодором вашим согласиться не могу.

— Не можете? — удивившись, вздохнул незнакомец. — Летать будете?

— Вот что, — рассердился Быков, — ты мне прямо скажи, чего хочешь? Зачем пришел?

Незнакомец огорченно воскликнул:

— Яростный ты какой! К тебе — по делу, а ты огонь и молонии мечешь. Я к тебе от самого... Он просил полет перенести...

— Ничем твоему Илиодору помочь не могу, чудак человек. Билеты уже проданы.

— Ах он любодей этакий, — запричитал незнакомец, выбегая из комнаты. — Ах, летун бриторылый...

Голос его, пронзительный, тонкий, долго еще доносился из коридора. Какие-то люди окружили крикуна, и он долго рассказывал о словах Илиодора и о предрезливости летунов приезжих.

Проповедь Илиодора не имела успеха. В день полета на ипподроме собралась многотысячная толпа. Три раза подымался Быков с пассажирами, и царицынцы восторженно приветствовали летчика. Вечером в Общественном собрании устроили банкет в честь авиатора. Следующий полет состоялся через два дня. Сбор был большой. Хоботовский импрессарио, приехавший с Быковым, устроил еще один полет в воскресенье вечером. Опять собралось много зрителей. Кого только не было на ипподроме — от босяков до находившегося проездом в Царицыне генерал-губернатора...

— А знаете, — сказал Делье, выходя из ангара, — сегодня, пожалуй, летать не стоит. Смотрите, как треплет флажок и как качаются ветки лип. Будет сильный ветер. Стоит ли рисковать? Отменим полет.

— Подождем немного. В случае чего я поговорю с нашим импрессарио.

Импрессарио, московский приказчик отца Хоботова Родионич, за полчаса до начала полета прибежал в ангар.

— Сбор небывалый — больше у меня ни одной билетной книжки не осталось...



к стр. 125



Ветер усиливался.

— Придется отменить полет. Того и гляди «фармашку» сломаешь.

Родионыч растерянно посмотрел на Быкова.

— Что вы? Ни в коем случае! Убьют, ей-богу убьют.

— А я не полечу! Нельзя же попусту рисковать...

Родионыч чуть не заплакал.

— Да мыслимое ли дело — полет отменять? Что с публикой делаться будет...

— А если «фармашку» сломаю, лучше будет?

Это убедило Родионыча, он вышел к беговой дорожке и, заикаясь, закричал нараспев:

— Господа публика, по случаю плохой погоды полеты господина Быкова сегодня не состоятся.

— Жулики, аферисты приезжие! — зашумели в толпе.

Напрасно Родионыч старался перекрычать толпу. Особенно усердствовали пришедшие на ипподром поклонники Илиодора, и в разноголосице сборища терялись голоса людей, выступавших в защиту летчика.

Быкову казалось, что пройдет еще минута, и толпа, заполнившая ипподром, ринется на аэроплан и разломает его на мелкие части. Он встал возле «фармана» и спиной прислонился к нему.

Полицмейстер, невысокий старик в очках, похожий на учителя латинского языка в классической гимназии, подошел к Быкову и сокрушенно развел руками.

— Ничего не поделаешь, придется лететь.

— При таком ветре лучшие спортсмены не рискуют подыматься в воздух.

— Вам, конечно, виднее. Но если не можете летать во время ветра, не надо устраивать такие сборища.

— Вы учите, а сами ничего не понимаете в авиации.

— Что?! — угрожающе спросил полицмейстер.

— Ну-ка полети, полети по своей лестнице со ступеньки на ступеньку! — закричал давешний гостиничный незнакомец, хлопая руками по голенищам лакированных сапог, словно собираясь пуститься в пляс.

— Лети, лети! — неистовствовали поклонники Илиодора. Зонтики, трости, шляпы взлетали в воздух. Городовые осаживали особенно взволнованных зрителей.

— Летите! — сердито повторял полицмейстер.

- А если разобьюсь?  
— Значит, летать не умеете...  
Быков расстегнул ворот куртки:  
— Знаете, Делье, придется лететь.  
— Но ведь это же безумие...  
— Ничего не поделаешь. Купец деньгам счет любит.  
Раз дело до его кровного дошло, ни за что не простит...  
А, чорт, — вдруг рассердился он и махнул рукой.  
— Полети, полети, — дразнил кто-то, — полетишь по ступенькам вниз — ребер не сосчитаешь.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ



Толпа, собравшаяся на ипподроме, еще недавно приветствовала летчика. Подносили цветы, угощали редерером, говорили речи. Вчера еще он был героем. Его портреты продавали газетчики, его воспоминания, напечатанные в «Огоньке», читали вслух на ипподроме. Местные спортсмены доказывали, что даже фамилия знаменитого летчика свидетельствует о его силе. Вчера, во время удачного полета, человека, наговаривавшего беду, избили бы. Десять визитных карточек — приглашения на обед в богатые дома города — получил Быков за последние дни. Вчера еще имя его означало смелость, и даже знаменитые царицынские босяки дружелюбно встречали летчика. Разбейся он вчера, многие плакали бы и похороны устроили бы пышные. Горожан удивляло вчера все: и то, что аэроплан летает, и повороты, и спуск, и подъем, и величина крыльев, и работа мотора. Вчера, когда он подымался в воздух, тысячи глаз, замирая, следили за аэропланом. Быков был для многих человеком непонятного, высшего мира.

Сегодня обстоятельства изменились. Ветер? Но разве сейчас сильный ветер? — рассуждали царицынские купцы. Объяснение Быкова казалось им вздорным. Вчерашний герой превратился в обыкновенного жулика. Полицмейстер ехидно улыбался, глядя, как Делье запускает мотор. Нескольким зрителям показалось, что Быков оттягивает полет, — ведь уже скоро начнет смеркаться.



Быков взялся за руль. Он старался не оглядываться. Шея его стала багровой. Еще немного — и он решился бы выпрыгнуть из аэроплана и избить первого попавшегося Илиодорова братца.

Впервые в жизни было страшно лететь — пугала бессмысленность предстоящего полета. Он был уверен, что полет кончится плохо. Летчик думал так, пока аэроплан не побежал по дорожке. Но стоило оторваться от земли — и сразу же забыл он ехидную улыбку полицеймейстера и потные, пьяные лица раздраженных, свирепых босяков. Он быстро набирал высоту.

Летел, успокаиваясь и думая только о машине. Стало темно, и нельзя уже было разглядеть ни крыльев, ни руля.

Он попал в облако.

И вдруг ему показалось, что он не сможет вылететь из мгlistой, скользкой, постепенно обволакивающей мути. Пропало ощущение времени. Начало казаться, что аэроплан стоит в облаке, не сдвигаясь с места.

Была секунда, когда захотелось вдруг выпустить руль, раствориться в холодной, отовсюду наступающей мгле и упасть на ипподром, переполненный праздными зеваками и подосланными Илиодором горлопанами. Но тотчас встала перед ним в дымном тумане Россия, такой, какой ее можно видеть с высоты, — южные приморские города, северные туманные откосы, могучие реки и невысокие подмосковные увалы — все, что еще хотелось увидеть... люди промелькнули перед ним, те, которых любил, — и, странно, среди них — румяный беловолосый Ваня. Быков даже не увидел всего этого, а почувствовал, словно ненадолго заснул, и в ту же секунду облако осталось позади. Он посмотрел — и не мог разглядеть ипподрома.

Где-то вдалеке сверкнул огонек.

Быков только через несколько минут понял, что удаляется от Царицына.

Ветер ослабел. Нужно было думать о спуске.

Он увидел поле, на котором горели костры, и решил, что здесь — лучшее место для посадки.

Земля теряла линейность и геометрическую правильность углов. Вдруг вырастали деревья, телеграфные столбы, пригорки и насыпи. Мир приобрел третье измерение.

Аэроплан побежал по земле. Чорт возьми, он удачно спустился!

Костры весело трещали. Отовсюду бежали люди, возбужденно покрикивая, споря. Неизвестно откуда взявшийся урядник лихо козырнул Быкову.

— Откуда вы? Как долетели?

Быков слез с аэроплана и прищурился. Он не понимал еще случившегося. Такая посадка во время состязания была бы прославлена газетами, но Быков не думал больше о пережитом в небе. Он знал одно: опасность миновала. Достал папиросу, закурил и вдруг услышал женский голос, странно знакомый, ласковый, добрый.

— Петр Иванович? Удивительно, что мы так неожиданно встретились!

Он обернулся и, еще не увидев лица, сразу же узнал Лену. Он вспомнил, что Победоносцев перед отъездом давал ему адрес тетки — родные Глеба жили нынешним летом на даче под Царицыном, — и не мог уже скрыть своей радости.

— Здравствуйте, Елена Ивановна, вот и я к вам в гости пришел.

Лена подошла ближе.

— Не пришли, а прилетели.

— Да, прилетел. Но боюсь, во-время ли?

— Мы отсюда недалеко живем, я ходила смотреть на костры. Теперь пожалуйста к нам чай пить. Мы вас не отпустим...

Четыре человека вызвались подежурить ночь у машины. Один из караульщиков пообещал потом зайти за Быковым и взять его к себе спать: горница у него была чистая и светлая.

— Почему вы спустились здесь? — спросила Лена.

Он рассказал о своей ссоре с полицеймейстером. В темноте Быков не видел глаз Лены, но ему казалось, что она смотрит на него сочувственно и внимательно, так же, как в день первого знакомства в старом доме на Подьяческой.

— Как странно! — Она чуть не заплакала, глядя на летчика, чудом, казалось ей, спасшегося от смерти. — Я никогда не думала, что люди так жестоки, то есть я знала, но все-таки...

У нее были свои заботы, и ей казалось, что они ужасны, но можно ли говорить о них малознакомому человеку?

Лене было приятно смотреть на летчика, так спокойно рассказывающего о смертельной опасности. Застрекотал кузнечик. Она наклонилась и провела рукой по траве, чтобы схватить его.

— Вот какой! — рассердилась она.

— Сейчас я поймаю. — Быков наклонился и поймал кузнечика, может быть того самого, которого упустила Лена. — Хотите посмотреть? — спросил он, подходя к костру.

Кузнечик, зажатый между пальцами, старался вырваться.

— Сейчас, сейчас, дай только на тебя поглядеть.

Кузнечик быстро шевелил длинными усами, прижимая лапки к пальцам Быкова.

— А чем он стрекочет? Я никогда не могла понять этого. Нам объясняли в гимназии, но я до сих пор не могу сообразить...

— Вот... — Быков перевернул кузнечика и при свете костра показал сначала зазубринку на левом крыле, а потом зеркальце на правом. — Когда он трет веточкой о рамку...

— Понятно, понятно, — обрадовалась она. — Только ничего не видно...

Быков выпустил кузнечика. Они шли молча.

Лена вспомнила, что завтра надо писать в Петербург, подумала о предстоящем после приезда разговоре с Загорским, которого так хорошо знали и Быков и брат, и сразу загрустила. Ведь и сейчас-то она ушла из дому только для того, чтобы подумать на досуге. Она представила жизнь Быкова — веселую, казалось ей, интересную, — подумала о себе и огорченно вздохнула.

— Петр Иванович, думаете ли вы иногда о жизни?

— Что? — Он не сразу понял вопрос.

Тетка Лены стояла на крыльце, в платочке, надвинутом на самые брови. Она уже знала, что недалеко от дома спустился аэроплан, хотела было пойти посмотреть на авиатора, но по обычной своей нерешительности в последнюю минуту раздумала и осталась дома.

Ее удивило, что Лена идет не одна.

— Лена! Кто с тобой? Я не одета.

— Ничего, тетя Женя, это Петр Иванович Быков, авиатор; помнишь, о нем рассказывал Глеб.

Чай пили на веранде.

Евгения Петровна с удивлением смотрела на авиатора. Был он уж очень прост на вид, ширококул, румян и, разговаривая, не всегда правильно ставил ударения в иностранных словах.

Евгения Петровна долго расспрашивала Быкова о царичинских полетах.

Когда она ушла в комнаты, Лена, все время молчавшая, спросила:

— Скажите, не очень плохо Глебу? Мы с ним такие друзья... Я и вас узнала по его рассказам... Он непрактичный, добрый, ему очень трудно было бы одному... С папой он в ссоре — тот не одобряет, что Глеб занялся авиацией. Евгения Петровна поддерживает папу, говорит: летчик — это вроде извозчика-самоубийцы... — Да, да, она так и называет Глеба — самоубийцей.

— Что вы, Елена Ивановна! — обиделся Быков. — Какой же он самоубийца? Кем бы я был, если бы не стал авиатором!

Было тихо, тепло, медленно таяли свечи. Он начал рассказывать о первых своих полетах, о друзьях и врагах, о Кузьме Тентенникове и банкире Левкасе, и в его рассказах было много неожиданного и смешного.

— Иногда бывает трудно не только мужчинам, — сказала Лена, — женщине жить труднее. Я бы тоже хотела сделать какое-нибудь большое дело... Я думала...

Нет, о себе самой нельзя было никому рассказывать. Поймет ли он, в чем тут дело? Запуталась, безнадежно запуталась! Неужели, вернувшись в Петербург, она назовет женихом немолодого не улыбочивого офицера с добрыми близорукими глазами?

Быков не понимал, почему она грустная, совсем не такая, какую видел ее впервые в Петербурге, и старался говорить о веселом, чтобы появилась улыбка на этом добром лице.

— А сколько смешных историй связано с авиацией, вы и представить не можете... В Париже, когда мы были там, состоялось состязание в скорости, и мотоцикл обошел аэроплан... авиатор и гонщик подрались...

Лена улыбнулась, и Быков почувствовал, что улыбка деланная, что его собеседнице вовсе не хочется смеяться.

— Нет, смешное неинтересно. Что вы знаете самое-самое страшное? Расскажите, пожалуйста.

Быков рассказал о недавнем случае в Исси ле Мулино: на старте перелета Париж — Мадрид авиатор Руже врезался в группу членов правительства, стоявшую возле стартовой черты, ранил председателя совета министров Мониса и убил вексельного маклера парижской биржи — военного министра Берто.

Суеверные люди говорили, что маршрут Париж — Мадрид — заколдованная линия. За восемь лет до авиационной катастрофы в этот же день, на этом же месте разбился гоночный автомобиль, и братья-гонщики погибли.

У Лены расширились зрачки, и тоненькие морщинки собрались на лбу.

Вошел караульщик, с любопытством посмотрел на барышню, укоризненно покачал головой.

— Спать пора. Завтра рано вставать — рожь зажимать.

— Завтра, как встанете, приходите чай пить, — сказала Лена, прощаясь с Быковым. — И потом у меня к вам просьба есть: подымите меня на аэроплане.

— Отчего же, можно. Только тетушка ваша позволит ли?

Быков ушел. Лена еще посидела немного на веранде. Ночь была темная, густая. Чистая, как слезинка, звезда синела за рекой. У перевоза водили последние хороводы. Девушки пели песню про вторник-повторник. Лена схватила в охапку постель и, крадучись, вошла в комнату тети Жени.

— Кто там?

— Я пришла к тебе спать!

Лена постелила себе на полу и сразу заснула.

Утром она встала рано и тотчас побежала на веранду посмотреть, не идет ли Быков.

— Позови Петра Ивановича, — сказала Лена хозяйской дочке, а сама села у стола и разложила пасьянс — погадать, страшно ли будет лететь.

Пришла тетка. Лена сказала ей, что полетит с Быковым на аэроплане.

— Как? Лететь на аэроплане? Вот уж сумасшедшему с полгоря. Никуда я тебя не пущу без позволения отца.—

Тетка разволновалась и сердито закричала на Быкова, когда он вошел в комнату. — И вы хороши, молодой человек, соглашаетесь исполнить вздорную просьбу моей девицы...

Быков недоуменно посмотрел на старуху.

— Скажите же, Петр Иванович, что лететь не опасно.

— Я, Евгения Петровна...

— Вы, должно быть, сговорились убить меня.

Лена встала из-за стола:

— А я говорю, что полечу. Слышите, Петр Иванович, обязательно полечу...

— Я не знаю, право...

Лена выбежала из комнаты. Евгения Петровна сидела в кресле и жалобно стонала. Быков отставил недопитый стакан.

— Простите, я, пожалуй, уйду...

— Прощайте, — ответила она сквозь слезы.

Быков подошел к аэроплану. Мужики с любопытством рассматривали диковинную машину.

— Спасибо, караульщики. Вот уже и пора улетать от вас. Только без вашей помощи мне никак не улететь.

Крестьяне удивленно посмотрели на Быкова.

— Шутник, ваше благородие, — усмехнулся самый старший, — такое дело нам не под силу.

Быков долго объяснял караульщикам, как надо заводить пропеллер, и они согласились помочь летчику подняться в небо.

— Петр Иванович, — прошептал знакомый голос. Быков оглянулся и увидел Лену.

— Зачем вы пришли сюда?

— Зачем? — Она обиженно посмотрела на него, подошла совсем близко и жарко задышала в самое лицо: — Я полечу, обязательно полечу! Я домой не вернусь, если вы меня с собой не возьмете!..

Быков подумал и махнул неожиданно рукой.

— Садитесь.

Она оперлась на его руку и смело села на место пассажира. Лицо ее горело, губы стали сухими, минуты привычного ожидания показались часами.

— Поняли? — переспросил Быков караульщиков.

— Поняли, — ответили они.

Быков сел на свое место и взялся за руль. Караульщики подошли к пропеллеру, осторожно ухватились за него и вдруг рванули что было силы. Пропеллер заворочался с шумом и треском.

Лена молча смотрела на летчика расширенными от ужаса глазами. Но все-таки скажи Быков теперь, что надо слезть с аэроплана, — она ни за что бы не ушла. В ней росло своевольное чувство, которое побеждает страх и сушит слезы.

— Можно держаться за стойки? — закричала она.

— Да. — Он ответил еще что-то, чего она не разобрала, и аэроплан рванулся вперед. Караульщики бросились в сторону, попадали на землю.

Лену радовало, что Быков больше не оглядывается. Уцепившись за стойки, она уперлась коленями в спину Быкова и со страхом ждала подъема. С шумом, разбрызгивая масло, работал мотор. Быков сидел, чуть согнув спину, и спокойно вел самолет.

Лене было очень неудобно сидеть. Она старалась лучше ухватиться за стойки. Так прошло минуты три, пока она решилась, наконец, взглянуть вниз. Она вскрикнула от неожиданности: земля была уже далеко внизу. Волга казалась не очень широкой, а деревья можно было принять за круглые зеленые пятна. Земля с ее избами и скворечнями плыла за крыльями самолета.

— Петр Иванович, как хорошо! И ни капельки не страшно.

Он ничего не ответил.

У Лены закружилась голова.

— Петр Иванович! — закричала она и не услышала собственного голоса.

Лене показалось вдруг, что ее покинули все и нет с ней никого, кроме этого человека; она никак не могла успокоиться, хотя за поворотом уже блеснули на солнце купола царьцынских церквей.

Она плохо понимала, что было дальше. Ей показалось, что аэроплан падает. Замерло сердце. Закричала, ударила Быкова кулаком в спину, но он не оглядывался. Закружилась голова... еще минута, казалось ей, стоит выпустить стойки аэроплана, и... Она зажмурилась.

Послышались голоса, кто-то назвал Быкова по имени. Лена решилась, наконец, открыть глаза.

— Ну что, Елена Ивановна, не очень страшно было?

Она не хотела врать и рассердилась:

— Страшновато. Почему вы не отвечали мне?

— Затруднительно было бы. В полете очень шумит мотор, и голоса не слышно.

— Теперь доставьте меня домой... Только не на аэроплане...

— Сейчас, сейчас...

Делье подбежал к аэроплану и обнял Быкова.

— Наконец-то! Я думал, не разбились ли вы... — сказал он по-французски.

— Жив курилка, — ответил Быков по-русски. Делье не знал, что значит русское слово «курилка», но все-таки улыбнулся.

— А кто прилетел с вами? Чудная девушка. Откуда вы ее привезли?

— Сестра Победоносцева. Помните его?

Делье протянул ей руку. Репортер «Царицынской мысли» подбежал к Быкову, аплодируя:

— До чего мы вам рады! Сейчас же бегу в редакцию. А то Илиодор собирался проповедь говорить о нераскаявшемся и потому наказанном грешнике.

Минут через двадцать Быков нанял извозчика. Лена всю дорогу молчала; у деревенской околицы спрыгнула с пролетки, расплакалась и прижала к груди правую руку.

— Завтра уезжаю, — сказал Быков, — а нынешней встрече рад.

— И я рада. Приходите к нам в Петербурге.

«Девчонка, совсем девчонка», — с нежностью думал о ней Быков. Вспомнил Глеба, почему-то стал искать в его лице черты, сходные с Леной, и решил сразу же написать приятелю о необычайных царицынских происшествиях.

..Вечером Родионич выложил на стол деньги, долю Быкова и Делье.

Царицын был только началом пути: по договору с Хоботовым Быков должен был летать еще в восьми городах Поволжья.





ена приехала из Царицына и сразу же, не снимая пальто и шляпы, вбежала в комнату брата.

— Глебушка, милый, — сказала она, обнимая его и целуя в шею, — если бы ты знал, как я рада!

Победоносцев удивленно посмотрел на нее: он не любил подобных, как говаривали когда-то приятели-гимназисты, телячьих нежностей.

— Хорошо, и я очень рад, только отойди, пожалуйста, от меня и сядь на диван. А то перепутаешь мои бумаги.

Лена хотела было обидеться, но лицо брата, с милыми большими веснушками, с коротко подстриженными светлыми волосами, снова стало таким родным и близким, что она уселась на диван с ногами и радостно захлопала в ладоши.

— Вот еще, — удивился Победоносцев, — что тебя так обрадовало, сестрица?..

...Глеб всегда говорил с ней серьезно и важно, снисходительно растягивая слова, а Лена любила нарочитую важность брата и готова была слушать его часами. Когда надоедало притворяться и хотелось говорить о том, что волновало и мучило, он подбегал к ней, подымал, бегал с ней по комнате, а потом, устав, садился в большое малиновое кресло, стоявшее у окна, и начинал рассказывать о своих мечтах.

Странно, он не замечал, как сестра росла, становилась старше. Ему казалось, что она все еще была маленькой девочкой, подростком в коричневом платье, с золотистыми волосами и капризной улыбкой на пухлых губах. Вечерами, когда он сидел в своей комнате за партой и рисовал, она вбегала с поварешкой в руке, или с отцовской толстой книгой, или с чужой шляпой, подкрадывалась к парте, быстро хватала рисунок, рвала его на мелкие клочки и убегала, озорная, радостная, уверенная в своем торжестве. Он догонял ее в коридоре и, случалось, немало бивал, но она была и тогда уже гордой и самолюбивой и не плакала. Когда он возвращался в свою комнату, Лена бегала по коридору и торжествующе кричала:

— Цветочки, цветочки, я разорвала твой цветочки.

Тринадцати лет он впервые увидел в отцовской библиотеке потрепанный том сочинений Квинта Курция об Александре Македонском, прочел украдкой и с тех пор стал интересоваться военной историей. Он помнил наизусть знаменитые сражения последних четырех столетий и знал биографии многих знаменитых наполеоновских маршалов и суворовских генералов.

— Ней? — спрашивали его иногда товарищи по классу во время большой перемены.

Он шурился, затягивая пояс, и быстро вспоминал знакомые события, имена, годы.

— Герцог Эльхингенский, участник сражений при Иене, Прейсиш-Эйлау, Ульме и Фридланде, враг Массены, расстрелян в Париже, на площади Обсерватории.

По воскресеньям — какие это бывали чудесные зимние дни! — он ходил на Александровский рынок, спускался в низкие, душные подвалы букинистов и долго рылся в развалах, выбирая нужные книги. Домой он шел не торопясь, поминутно вынимая заветный томик из кармана голубой тяжелой шинели.

Каждый год им овладевало новое увлечение, и так уже повелось, что, даже переходя в восьмой класс, Глеб был по-старому откровенен и ничего не скрывал от Лены. Она привыкла к частой смене его мечтаний. То он хотел быть артиллеристом, то капитаном дальнего плавания, то гонщиком-велосипедистом, и когда однажды сказал, что хочет стать авиатором, Лена, ласково улыбнувшись, попросила:

— Расскажи, как ты будешь летать.

Старший брат в молодости поссорился с отцом и уехал в Москву. Когда Глеб закончил гимназию, отец и старший сын помирились, и несколько дней Сергей Иванович гостил на Большой Подъяческой. Младшие дети не знали, почему поссорился Сергей с отцом, и замечали только, что отец еще сердится почему-то на старшего сына. Когда Глеб и Лена приходили в отцовский кабинет, они чувствовали, что им рады оба — и отец и брат.

Часто впоследствии вспоминала Лена темные зимние вечера. В кабинете не было электрического освещения, и каждый вечер прислуга наливала керосин в зеленую лампу. Письменный стол, большой, старомодный, с низкими барьерами, был завален бумагами, книгами, обрыв-

ками рукописей и брошюрами. Две свечи в тяжелых серебряных подсвечниках горели на столе. Когда бы ни вспоминала Лена отца, всегда она видела его низко наклонившимся над столом, с взлохмаченной бородой, в пенсне, вздрагивающем на длинной черной тесьме, с измазанными чернилами и химическим карандашом пальцами. Он работал ночами, много и жадно курил, вместо пепельницы стояло у него на круглом столе, рядом с диваном, игрушечное детское ведерко Лены, доверху набитое окурками и пустыми спичечными коробками. В те дни, когда гостил Сережа, отец курил еще больше и ничего не писал. Лена навсегда запомнила, как однажды сидел отец в кабинете с Сергеем, просматривая какие-то старинные книги (эльзевиры — узнала она впоследствии). Отец был страстным любителем редких и первопечатных книг. У Сережи было спокойное лицо с большим выпуклым лбом и резко очерченными бровями. Он сидел на диване, раскладывал пасьянс и о чем-то спорил с отцом.

Лена вошла в комнату и остановилась на пороге, затаив дыхание, боясь, что отец ее прогонит.

— Нет, почему же, — спокойно говорил Сережа, — ты ошибаешься.

Отец поморщился, но ничего не ответил.

— Папа! — крикнула Лена.

Отец обернулся, посмотрел на нее большими серыми глазами и сердито отозвался:

— Что тебе, Лена? Ты бы хоть почитала что-нибудь, что ли. Видишь, мы заняты, разговариваем с Сережей...

Лену сбидели неласковые слова отца, он почувствовал это и протянул к ней руки. Лена полбежала к отцу, обняла обеими руками за шею и поцеловала в пушистую бороду, пропахшую табаком и скверным одеколоном.

Он улыбнулся и сразу повеселел.

— Вот и отлично, — не отрывая глаз от пасьянса, сказал Сережа.

Лена покраснела. Ей показалось, что на отцовском диване сидит посторонний, непонятный какой-то человек и смотрит на нее с удивлением.

— Ну, и смешная же ты, вроде кисейной барышни. — Сережа встал из-за стола, подошел к сестре и взял ее за руку. Лена застеснялась, вырвала руку и выбежала из комнаты.

Через минуту она снова вернулась и, стараясь не смотреть на Сережу, сказала отцу:

— Папа, Глеб с тобой поговорить хочет.

— Поговорить? Но зачем же он с адвокатом? Неужели сам не мог прийти?..

— Глеб! Глебушка! Глеб!..

Глеб ждал, должно быть, у дверей.

— Иду, — сразу же отозвался он, застегивая ворот рубахи и морща лоб.

Сережа раскладывал пасьянс и тихо высвистывал замысловатый мотив из «Садко». Глеб не был дружен с отцом; они часто ссорились из-за пустяков, и время обеда, когда семья собиралась в столовой, было самым неприятным для сына. Добрый и рассеянный, отец почему-то замечал мелкие проступки Глеба и каждый раз за обедом делал ему замечания: то ногти грязные на руках, то чавкает слишком громко, то читает украдкой газету. Глеб фыркал и еще ниже наклонялся над тарелкой. Лена часто заступалась за брата, и отец называл ее адвокатом.

Глеб, кашляя, подошел к Сереже.

— Сережа, — сказал он, ухватившись за скатерть, — поговори обо мне, пожалуйста...

Сережа медленно и аккуратно собрал карты, ладонью разгладил скатерть.

— Не понимаю. О чем поговорить?

Глеб молчал, не выпуская из рук скатерти и не решаясь посмотреть на отца.

Отец отложил в сторону книгу и удивленно посмотрел на младшего сына.

Глеб отвел глаза в сторону и громко сказал:

— Я хочу стать авиатором! Понимаешь ты? Авиатором!

— Отлично. Становись авиатором. Кто тебе мешает?

— Но я хочу учиться летному делу... Нужны деньги...

Отец огорчился: он все-таки любил Глеба, и ему страшно было представить, что ждет сына в будущем.

— А кто тебе даст деньги?

Глеб молчал.

— Я дам, — сказал Сережа, вставая из-за стола. — Я дам. — Он вынул из кармана часы. — Уже и спать пора, спать. Завтра утром поговорим, — и вышел из комнаты.

Следом за ним вышли Лена и Глеб.

— Сережа... — зашептал Глеб, но брата уже не было в коридоре. Он прошел в свою комнату, и Глеб услышал, как сразу же щелкнул ключ в двери.

Из-за границы Глеб только раз написал отцу, и то несколько сухих строк о том, что, слава богу, здоров и чувствует себя хорошо, а Лене писал почти ежедневно, делаясь с ней своими горестями и заботами, и волновался, если не получал от нее ответа.

...Глеб вспомнил об этом сейчас, когда Лена сидела на диване, подошел к сестре и поцеловал руку.

— Ну вот, видишь, я и стал авиатором. А давно ли мы с тобой еще только мечтали о моем призвании...

Лена молча смотрела на брата.

— А молодец я, не правда ли, молодец? — говорил Глеб, прохаживаясь по комнате. — Я тебе, Лена, скажу — только тебе, и не хвастаясь, что меня большое будущее ждет. Я в себе чувствую такую силу...

— Сядь только, пожалуйста, сядь. А то у меня голова устает ворочаться из стороны в сторону.

Глеб сел в кресло, достал папиросу, закурил, сразу же наполнил дымом всю комнату и закашлялся.

— Стукнуть тебя по спине?

— Не надо. Так вот, понимаешь... Я сбился. С чего я, бишь, начал?

— Со славы.

Глеб еще глубже сел в кресло.

— Буду знаменит, чего бы это ни стоило! Только в спорте и шахматах слава безусловна. Возьми музыку — там трудно установить, кто первый... А тут... — Он почесал переносицу, словно вспомнил что-то, и вдруг сказал: — Послушай-ка, знаешь, что я тебе предложу? Хочешь со мной подняться на аэроплане?

Она зажмурилась.

— Нет, не хочу.

— Боишься летать?

— Нет, только с тобой боюсь... А так-то вообще летала.

— Летала?

— Ты знаешь, — сказала она, вставая с дивана и снимая пальто, — я очень жалею, что так плохо знаю маму

и только два раза встречалась с ней. Мне кажется, своеволие у меня от нее...

— Своеволие? Ну, какая же ты своевольная! Ты просто добряк.

— Помнишь, мы видели маму лет семь назад, когда она приезжала в Петербург?

...Как они ни были откровенны друг с другом, но ни разу не говорили о том, почему мать живет отдельно от семьи, и в первый раз, пожалуй, Лена вспомнила о матери. Семь лет тому назад, в зимний вечер, когда они сидели в гостиной и готовили уроки, пришел отец, бледный, взволнованный, и, смущенно протирая пенсне, позвал в столовую. В столовой у окна стояла немолодая женщина с печальным, усталым лицом.

— Вот, — сказал отец, ни к кому собственно не обращаясь.

Женщина обернулась, и они увидели ее большие, широко расставленные глаза. Глеб узнал мать и заплакал. Отец вышел из комнаты.

Мать уехала из дома, когда Лене было четыре года, и ее удивило теперь, что эта полная женщина со светлыми волосами обнимает ее, говорит нежные слова и называет дочкой.

Вечер они провели с нею; в половине двенадцатого вернулся отец, молчаливый, грустный, осунувшийся за несколько часов. Мать посмотрела на него как-то жалко и виновато и сразу же начала собираться.

С тех пор они не видели матери.

Отец о ней никогда не говорил. Только на пасху и рождество, два раза в год, по утрам сам ходил открывать дверь, с нетерпением ожидая почтальона, и, получив письмо со знакомым штемпелем, уходил к себе в кабинет и запирался до обеда.

Лена и Глеб уже знали, что письмо от матери. За обедом, когда будут подавать сладкое, отец скажет быстро и раздраженно:

— Да, от мамы сегодня письмо. Кланяется и целует.

...Глеб нахмурился, словно снова почувствовал пережитую и давно минувшую боль, и помолчал несколько минут.

— Почему ты о ней заговорила? Если она с нами не живет...

— Нет, я не к тому, я просто хотела сказать, что поссорилась с тетей Женей, вдруг почувствовала, будто ничего не страшно, и...

— И полетела?

— Да, и полетела.

Глеб рассмеялся:

— Турусы на колесах, турусики...

— Нет, и вовсе не турусы. Я с Быковым летала.

— С Быковым? Значит, ты видела Быкова?

— Но это еще не все. Я тебе о другом хочу сказать, о более важном событии в моей жизни...

— Погоди, а как же Быков? Он вспоминал обо мне?

— Ты сначала послушай, что я расскажу...

Глеб опять закурил и лениво махнул рукой:

— Говори.

— Я с тобой хотела посоветоваться. Слушай, Глеб, может быть... — Она застеснялась и немного помолчала. — Я в нынешнем году кончила гимназию, а еще не решила, что делать мне в жизни. Посоветуй хоть что-нибудь, а то такая тоска сидеть дома и хозяйничать... К тому же недавно мне сделали предложение...

Глеб посмотрел на нее с удивлением и впервые заметил то, чего не замечал раньше: девочка, к которой он с детских лет привык относиться покровительственно, стала взрослым человеком.

— Леночка, — медленно проговорил он, чувствуя, что ему нечего сказать — Лена...

Она поднялась с дивана.

— Леночка, Лена, — растерянно повторил Глеб.

Когда он надумал наконец, что следует посоветовать, ее уже не было в комнате.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ



К перелету Петербург — Москва готовились долго, но многие летчики отказались в нем участвовать. Быков был в это время на юге. Тентеников подражал Ефимову: летать на небольшие призы настоящему спортсмену совестно — заявил он.

Как и Ефимов, он считал, что перелет подготовлен плохо. В газетах появилось интервью с Тентенниковым, и репортер придумал фразу, будто бы сказанную летчиком: Кузьма Васильевич потому-де не хочет участвовать в перелете, что к участию в соревновании допущены авиационные младенцы. Тентенников напечатал в следующем номере опровержение, и падкие на сенсацию газетчики снабдили его неожиданным примечанием, заявившим чуть ли не половину газетной полосы. Оказывается, в то самое время, когда Тентенников выступил с опровержением, к устроителям перелета явилась мать одного молодого летчика, тоже желавшего принять участие в состязании. Бедная старушка пришла в аэроклуб рано поутру и плакала весь день, умоляя запретить ее единственному сыну участие в перелете: живет она на пенсию и рисковать жизнью сына не может. Вызвали в аэроклуб самого летчика, — он был очень расстроен, просил не вычеркивать его из списка, но старуха была неумолима. Это происшествие было изложено в примечании к опровержению Тентенникова, и в заключение репортер писал: «Господину Тентенникову следовало бы давать поменьше интервью и пореже выступать с опровержениями, а неудачливому летчику, в последнюю минуту отказавшемуся от участия в соревновании, мы бы порекомендовали запастись маминым разрешением, прежде чем подымать на ноги всю Россию».

Победоносцев вернулся в Петербург за четыре дня до перелета. Его поездка по провинции была сперва не очень удачна — всюду полеты приходились на ветреные дни, и он летал осторожно, боясь разбить хоботовский аэроплан.

В провинциальных газетах Победоносцева прозвали даже «Через час по столовой ложке». И вдруг в один осенний день его судьба изменилась... В большом губернском городе юга было организовано состязание на скорость полета. В состязании участвовали пять опытных летчиков, любимцев публики, — и Победоносцев взял первый приз. В газетах успеху молодого летчика было посвящено много статей, но через несколько дней Победоносцев добился еще более блестящих результатов — в отличном полете он поставил новый всероссийский рекорд.



Среди поздравительных телеграмм, полученных Победоносцевым, самой приятной для него была телеграмма Быкова. «Рад за вас, — телеграфировал летчик, — и по такому случаю пью за ваше здоровье и счастье. Вот видите, как негаданно исполняются мечты... Ваш Быков».

С тех пор отношение летчиков к Победоносцеву изменилось: его мнением стали интересоваться, его приглашали участвовать в состязаниях, хроникеры столичных и провинциальных газет отмечали в больших статьях успехи летчика. И только один человек, тот, от которого зависел материально Победоносцев, его хозяин Хоботов, относился к нему так, будто ничего в судьбе Победоносцева не изменилось и словно он по-старому оставался неудачником, чей аэроплан так неуклюже прыгал по кочкам и буграм учебного аэродрома.

Вернувшись из поездки по югу, Победоносцев жил один в опустевшей петербургской квартире, вечерами листал старую «Ниву» и ждал нового назначения: Хоботов обещал опять отправить в поездку по провинции.

За день до перелета Хоботов приехал к Победоносцеву.

— Вот какое дело к вам... Вы, я слышал, пописывали что-то?

Победоносцев потупился.

Действительно, из Мурманска он прислал несколько корреспонденций в петербургские газеты. Старые статьи были наклеены на толстый картон и хранились в ящике письменного стола.

— Ну-ка, покажите, что там такое.

Победоносцев достал папку и недоумевающе протянул Хоботову.

Хоботов читал внимательно, перечитывая некоторые строки по нескольку раз, делал ногтем отметки на полях. Минут через двадцать отложил папку и посмотрел на часы.

— Я приглашен в одну газету вести авиационный отдел. Вы дадите материал о перелете. Сегодня же вечером выезжайте в Москву. Я дам письмо, по этому письму получите автомобиль. Старайтесь поймать победителей на последнем этапе перед Москвой. Две корреспонденции: с последнего этапа и из Москвы — встреча, слезы, утро России. Поняли?

— Понял.

— Ну и хорошо. Вот вам деньги на дорогу. Да собирайтесь быстрее — до поезда осталось немного. Я вас доведу...

Победоносцев быстро собрался, положил в чемодан белье, пачку бумаги, карандаши, походную чернильницу и через пять минут спускался с Хоботовым по лестнице.

В Клину, на предпоследнем участке перелета, вместе с десятками репортеров — лето в том году было тихое, и других сенсаций в газетах не предвиделось — он провел день возле парусиновой палатки, на окраине города, где помещался комиссар участка.

В три часа восемнадцать минут в Петербурге первым взлетел Уточкин. Лерхе поднялся вторым через шесть минут. С этого времени у людей, ждавших летчиков в Клину, была только одна мечта: первыми встретить победителя перелета.

Организован перелет был плохо, и Победоносцев, не любивший порядков, установленных в аэроклубе бездарным генералом бароном Каульбарсом, написал злую и подробную корреспонденцию, перепечатанную большими провинциальными газетами.

Из участников перелета только Васильев долетел до Москвы.

Янковский несколько раз ломал свой «блерио», и закрытие перелета застало его в Твери.

Уточкин потерпел аварию у деревни Вины, Лерхе — в Новгороде, Костин — за Вышним Волочком, Агафонов — в Валдае, Кампо-Сципио — в Крестцах; Шиманский погиб при падении, Слюсаренко получил тяжелые ранения под Петербургом.

В эти дни летчики перессорились. Распределение призов принесло споры и взаимные обиды, и особенно злились многие на не участвовавшего в перелете Победоносцева за его корреспонденцию, в которой правдиво рассказывалось о ссорах летчиков из-за призов. Победитель соревнования Васильев стал на несколько недель самым популярным летчиком страны, и его многочисленные опровержения и письма охотно печатали редакции столичных газет.

Фотографии Васильева продавались на всех спортивных состязаниях. На карточках была собственноручная подпись летчика:

«Кто не летал, тот не может знать всей прелести и красоты пространства».

В день перелета Янковский страшил Васильева, как призрак. Прилетев первым в Торжок и узнав, что Янковский летит следом, Васильев объяснял, что нервничал только потому, что опасался за жизнь своего конкурента. На самом же деле, как передавали знающие люди, Васильева страшило другое: он боялся, что первым прилетит в Москву Янковский.

Победоносцеву было грустно, что в такое благородное дело внесены низкие помыслы и мелкие дразги.

Вскоре он получил телеграмму, извещавшую, что корреспонденция Хоботовым одобрена. Через несколько дней после телеграммы пришло в Москву и письмо от Хоботова. «Еще раз за статейку спасибо, — писал Хоботов. — Живо, бойко и, главное, зло. И откуда в таком тюлене, как вы, столько злости? Маршрут вашей новой поездки: Пермь — Екатеринбург — Челябинск — Баку. Аппарат вышло с доверенным человеком и механиком. Вы выезжайте сразу в Пермь, ждите распоряжений. Отдохните пока, что ли. Деньги на расходы переведу завтра».

В тот же вечер Победоносцев уехал из Москвы. В Пермь он приехал рано утром и пешком пошел с вокзала в гостиницу. В последние месяцы он полюбил одиночество и даже радовался тому, что приехал в город, в котором нет знакомых, где никто не будет мешать жить как хочется, где можно будет сидеть одному в тихом городском саду и обдумывать заново жизнь.

Сняв номер, он пошел на набережную Камы, долго сидел на скамейке, следя за пароходами, бегущими вверх по течению — к Усолью, к Чердыни, к дальним северным деревням. Был один из тех удивительно светлых дней, какие часты летом в Прикамье, и так легко было на душе, что, прислушиваясь к хриплым гудкам пароходов, Победоносцев стал мечтать о времени, когда, под старость, переедет в такой же тихий провинциальный город, снимет дом с мезонином на окраинной улице и будет одиноко доживать свою жизнь, листая старые журналы и диктуя стенографистке мемуары, — ведь и того, что пережил он сейчас, уже хватило бы на целую книгу...

Нынешний год был особенно богат событиями, и русские конструкторы именно в 1911 году добились новых

серьезных успехов. На всероссийском конкурсе аэропланов, в котором участвовали русские и иностранные машины, первую премию взял биплан русской конструкции, показавший скорость в восемьдесят пять километров. Ни один из иностранных бипланов не мог превысить и семидесяти километров в час.

Накануне отъезда из Москвы Глеб повидал брата Сергея.

Сергей заканчивал работу над новым монопланом, которому пророчил большое будущее сам профессор Жуковский.

— Вот погоди, — говорил Сергей, — возьму с моим монопланом приз, и сразу же станешь ты у меня летчиком-испытателем. Заговорит тогда вся Россия о братьях Победоносцевых...

Обо всем этом думал Глеб, сидя на набережной Камы, и не заметил даже, как начало смеркаться...

Под вечер он вернулся в гостиницу, переоделся и спустился вниз, в малолюдный зал ресторана, где играл струнный оркестр. Музыканты поздоровались с ним, как со старым знакомым, и Победоносцев велел официанту отнести им бутылку вина.

Совсем рядом прошелестело женское платье. Женщина в черном платье легко и быстро прошла через зал и села за соседний столик. Так неожиданно было ее появление, что Победоносцев не смог скрыть своего удивления и не отрываясь глядел на нее. Она не сразу заметила устремленный на нее внимательный взгляд, а заметив, хотела, должно быть, пересест за другой столик, но вдруг улыбнулась, чуть скривив губы, и в упор посмотрела на молодого человека. В равнодушии ее пристального взгляда почудился Глебу тайный укор. Покраснев, он отвернулся и теперь следил за нею осторожно, чуть скосив глаза.

Свободно и непринужденно сидела она за столом, и во всей ее повадке было много уверенной, спокойной силы. Она вынула из ридикюля книжку. Лицо женщины оказалось в тени, но хорошо можно было рассмотреть тонкую руку, быстро перелистывающую страницы. Она облокотилась на стол, и ее лицо больше не закрывала тень. Победоносцев увидел ее подстриженные темные

волосы, гладко начесанные на уши и разделенные посредине прямым пробором.

Победоносцев дожил до двадцати одного года, никем не увлекаясь, не думая о любви, и если бы ему сказали накануне, что он способен влюбиться, — только рассмеялся бы в ответ. Но сейчас он почувствовал, как появление незнакомой женщины с внимательным, чуть прищуренным взглядом темносерых глаз особым мягким светом осветило зал ресторана.

Она быстро пообедала, протянула деньги официанту и прошла мимо столика, за которым сидел летчик. Сразу опустел зал, и тени легли на стены, и убогим показалось медленное кружение старого вальса.

Ночью мечтал Победоносцев о новой встрече с незнакомкой и сотни вопросов задавал самому себе: кто она такая, как приехала в Пермь, собирается ли здесь постоянно жить? .. И почему она была одна в ресторане? И сколько ей лет? И замужем ли она? И многое еще мучило его в эту ночь, и только на рассвете заснул он тревожным, беспокойным сном.

...Проснулся он в полдень. Солнце ярко освещало стены, и выщербленный мраморный умывальник, и дубовый резной шкаф, и ширму с узором из желтых цветов. В соседнем номере громко разговаривали. Слов нельзя было разобрать, но Победоносцев ясно различал два голоса — мужской и женский.

— Помогите! — вдруг громко закричала женщина в соседнем номере.

Победоносцев поднялся с постели, прислушался, приложил ухо к стене. Действительно, женщина звала на помощь. Он услышал, как загремела в соседнем номере опрокинутая мебель. Быстро одевшись, он вышел в коридор. Прислушался еще раз — женщина теперь еще громче кричала.

Он постучал в дверь соседнего номера. Женский голос отозвался: «Войдите», мужской неуверенно пробасил: «Кто там?» Победоносцев отворил дверь и, удивленный, остановился на пороге. Он увидел ту самую незнакомку, которая обедала вчера в ресторане. С заплаканными глазами сидела она на подоконнике, а возле платяного

шкафа стоял молодой человек с растрепанными курчавыми волосами и блестящими черными глазами.

— Вам что угодно, милостивый государь? — вызывающе спросил молодой человек, и теперь только Победоносцев заметил, что в руках у него никелированный маленький браунинг.

— Я слышал, как звали на помощь, и считал необходимым...

— Шутник, право, шутник! — истерически захохотал он, презрительно окидывая взглядом Победоносцева. — Совать нос в чужие дела — самое глупое дело на свете...

— Отнимите у этого безумца браунинг, — властно сказала женщина. — Он хотел застрелить меня...

Молодой человек негодующе посмотрел на женщину, швырнул на пол браунинг и, что-то пробормотав под нос, выбежал из номера. Вслед за ним хотел выйти и Победоносцев, но женщина тихо сказала:

— Оставайтесь...

Победоносцев потупил взгляд. Все происшествие казалось ему похожим на дурно разыгранную сцену из водевиля. Так и промолчали они несколько минут, потом женщина подошла к нему и протянула руку.

Взгляды их встретились, — они оказались почти одинакового роста, и глядеть в ее глаза он мог не опуская головы.

— Смешная история, не правда ли? — спросила женщина со смущенной улыбкой.

— Видите ли, я не могу судить, ведь я не знаю, что здесь произошло... Хотя ваш знакомый, если говорить откровенно, — о, я никак не хочу его обидеть! — очевидно, впервые держал в руках браунинг: оружие было дулом обращено вниз...

Женщина засмеялась, приоткрыв свежие губы, и мелкие морщинки собрались возле глаз.

— В этом я не сомневаюсь, — сказала она. — Но давайте сперва познакомимся. Меня зовут Наталья Васильевна Пономарева.

— Победоносцев, Глеб Иванович.

— Очень хорошо. — Она оглядела его внимательно и вдруг с доброй, непринужденной улыбкой сказала: — Если вы свободны, нынешний день до вечернего парохода я хотела бы провести с вами...

— Буду очень рад... Мне тоскливо в незнакомом городе.

— Не считите меня за искательницу приключений — просто мне нужен человек, который сможет защитить от повторения недавней сцены, а отец мой — в Кизеле, и я одинока сегодня в Перми...

Они долго сидели в номере. Наталья Васильевна рассказывала о своем детстве, о жизни в последние годы, и Победоносцев узнал, что она родилась на Урале, в Кизеле, где смолоду работает инженером ее отец, была замужем, но неудачно: муж оказался игроком, беспутным человеком, и они разошлись. А вскоре муж умер, и последние годы Наталья Васильевна одиноко жила в Москве и занималась живописью, но в нынешнем году окончательно убедилась, что никаких способностей у нее нет, и решила съездить на Урал к стареющему отцу. Осенью она вернется в Москву и — не удивляйтесь, пожалуйста — будет работать на фабрике и разрисовывать ситцы. Если не стала художницей, то, может быть, хоть в прикладном искусстве сумеет найти себя...

Победоносцева не меньше, чем рассказы Пономаревой, интересовало другое: кем был мужчина с растрепанными волосами, который хотел стрелять в Пономареву? И почему они поссорились? И каковы были их отношения в прошлом? Но об этом Наталья Васильевна не говорила ни слова, а всякие расспросы Победоносцев считал теперь неуместными. И без того она была на редкость откровенна.

Удивительный, сумасбродный день и кончился необычно. Когда вечером, стоя у трапа, Победоносцев прощался с Натальей Васильевной за три минуты до отплытия парохода в Усолье (это была последняя остановка по пути к Кизелу), Пономарева вдруг притянула руку Победоносцева к себе и тихо спросила:

— Когда начнутся ваши полеты?

— Через неделю.

— А что вы будете до начала полетов делать в Перми?

— Думать о вас, — с неожиданной смелостью сказал Победоносцев.

— Знаете что, — сказала она, опустив глаза и не выпуская руку Победоносцева из своей руки, — поедemте со мной...

Когда в последний раз прогудел пароход и зашлепали по воде колеса, Победоносцев, стоя на палубе, несмело и неуклюже притронулся к руке Натальи Васильевны, и долго стояли они рядом, следя за убегающими в ночной простор огнями Перми...

Вся поездка была весела и радостна, и Победоносцев никогда в жизни не был так счастлив, как в эти дни. И не было больше усталого, грустного выражения на его лице, и он часами смотрел на Наташу и не мог наглядеться, и особенно был благодарен взбалмошному человеку, безотступно преследовавшему Наталью Васильевну своей докучливой любовью, приехавшему вслед за ней в Пермь и пытавшемуся застрелить ее в припадке беспричинной ревности. Ведь если бы не было его сумасбродного поступка, Победоносцев никогда бы не познакомился с Пономаревой...

Быстро пролетела неделя в Кизеле. А в день отъезда летчика Наталья Васильевна сказала отцу, что выходит замуж за Победоносцева.

К удивлению Победоносцева, отец Натальи Васильевны, зная, что его дочь знакома с летчиком всего несколько дней, охотно согласился на этот брак.

Василий Егорович был очень веселый, разговорчивый человек, хороший рассказчик и — что удивительно было встретить в человеке, любящем поговорить, — сам умел хорошо слушать. Он любил крепко выпить, и с первого же вечера пришлось Победоносцеву проводить долгие часы за круглым столом, уставленным разными настойками, наливками и экстрактами, и отвеживать всевозможные уральские соленья, заливные и маринады, которые старик сам умел хорошо готовить. Так, незаметно, за несколько вечеров рассказал Глеб старику и Наталье Васильевне всю свою жизнь и, хоть ничего не приукрасил и ни разу не прихвастнул, чувствовал, что любому человеку его жизнь действительно может показаться интересной и своеобразной.

— Замуж выходишь! — сказал поздно вечером старик, когда все трое рассаживались они за столом. — Что же, я все понимаю. Ты, Наташенька, не сердись, но с такой красотой одинокой женщине очень плохо. Давно тебе




замуж пора. А уж если внуки пойдут — привезешь их ко мне, я сам воспитывать буду.

Они распили не одну бутылку шампанского и немного захмелели. Наталья Васильевна с отцом поехала провожать Победоносцева в Усолье, — и еще один день жизни был так наполнен счастьем, что Победоносцеву на мгновение захотелось бросить все, разорвать все обязательства, чтобы только не расставаться с женщиной, которую так неожиданно он назвал своею невестой. Прощаясь, договорились встретиться в Москве и там уже обдумать будущую жизнь.

— Главное, летай осторожней! — крикнула на прощанье Наталья Васильевна. И долго стоял Победоносцев на палубе, глядя на женщину, оставшуюся на белой отмели печального усольского берега, — впервые в жизни он полюбил и чувствовал, что до конца своих дней останется однолюбом, какие бы испытания ни сулила эта любовь...

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

 те годы не было в России города и даже захолустного посада, в котором не появлялись бы летчики на своих неуклюжих и неверных машинах. Французский авиатор Ведрин не раз признавался, что завидует русским летчикам, — огромная страна самой природой была предназначена для состязаний на дальность полета. Русский летчик перевозил в товарном вагоне свой аэроплан в далекий город, и сразу изменялась размеренная, неторопливая жизнь главной улицы. В первом этаже гостиницы, в ресторане, становилось шумно и весело — городские обыватели устраивали банкеты в честь летчика, механика и вездесущего антрепренера с дешевой сигарой в черных зубах. Обывательские козы в такие дни паслись возле заборов, украшенных пестрыми афишами, объедая клейстер.

Русские летчики появились в далеких городах Востока, их имена становились известны в Западной Европе. Один из них летал над плоскими крышами Ханькоу, над Зондскими островами, над Бангкоком. Смерть авиатора

подсказала Блоку страшные строфы о летчике — участнике будущей войны. В зеленокрылых оползнях снежной петербургской ночи поэт писал стихи о людях, несущих земле динамит, но многим его предсказание казалось несбыточным. Процветала спортивная авиация. В сотнях городов побывали Васильев, Россинский, Габер-Влынский, Седов, Слюсаренко, Зверева, Уточкин, Кузнецов, братья Ефимовы, Кабария, Раевский...

Поэт Василий Каменский летал над лесами Урала и набирал высоту над щеголеватыми улицами Варшавы. Ученик Ефимова — мотоциклист Яков Иванович Седов летал в Харбине, побывал на Дальнем Востоке и в Средней Азии. Посмотреть на его полеты в Ташкенте приехали узбеки из дальних кишлаков — некоторые по триста верст сделали на верблюдах.

Спадало увлечение автомобилем и мотоциклом. Вчерашние мотоциклисты садились на аэроплан, брались за рули и смело подымались в небо. Имя Сергея Уточкина облетело Россию, хотя он не был очень искусным пилотом. Он был когда-то мотоциклистом, знаменитым на юге. Это он удивил недоверчивую Одессу, проехав на мотоцикле по прославленной лестнице. Когда при автомобильной катастрофе погиб в Одессе банкир Анатра, неграмотный репортер вечерней газеты так изложил интервью, взятое у Уточкина как у известного автомобильного гонщика: «Даже на таком страшном несчастье я скажу, что счастливо, могло быть и хуже. Все оплакивают одного, мог один оплакивать всех, и я знаю во Франции случаи, когда плакать было некому, ибо все присутствующие умирали».

Уточкин часто становился жертвой собственной смелости и все-таки уверял: «Небо мне ближе, чем палач всего живого — земля».

Пятнадцать отраслей спорта изучил Уточкин. В том же интервью он говорил о себе, и это не было хвастовством: «Даже я скажу, никому за мной не угнаться. Прошу не считать меня гордым или самонадеянным... Там, где мне трудно, — другому невозможно. Там, где я неуязвим, бронирован, дышу свободно, — другой развалится и задохнется. Я укрепил свой дух и тело. Довел свой мозг до высшей восприимчивости, приведшей меня к неоспоримым рассуждениям».

Граф Кампо-Сципио, или, как называл его Тентенников, Кампо-Птицио, и сын сенатора Кузьминского встречались на состязаниях с бывшими шоферами, телеграфистами, механиками.

Мастеровые люди неизменно выходили победителями в подобных соревнованиях. Для них авиация не была модным увлечением или спортивным пристрастием, как для барчуков из императорского аэроклуба, возглавлявшегося русскими князьями и прибалтийскими баронами. Быстро изучая сложные и еще непривычные новые механизмы, мастеровые вносили в конструкцию самолетов немало изменений, подсказанных практическим опытом, и достигали выдающегося мастерства в вождении тяжелых, неуклюжих машин. Для них авиация становилась профессией, такой же, как любая другая, разве только более опасной и менее обеспечивающей денежно: трудно было в ту пору летчику-профессионалу рассчитывать на постоянный заработок.

Были авиаторы-исследователи, летчики-ученые — Нестеров, Рынин, Ульянин, Россинский, но о них меньше всего кричали бульварные газеты. Появились и женщины-авиаторы. Зверева, Галанчикова делили славу с мужчинами. Зверева была близорука и при посадке однажды сломала аэроплан. Стриженная по-мужски, в коротенькой юбке, она смело садилась на место пилота, уверенно клала руки на руль и летала, как бы ни чихал и ни задыхался мотор.

Зимой летчики уезжали на юг, осенью и весной тянулись в столицы, где происходили авиационные состязания, летом ездили по северу и центральной России. Царское правительство не заботилось об этой новой, растущей силе. Летчики были предоставлены самим себе.

Тентенников с юношеских лет мечтал о рекордах. Вернувшись в Россию, он поехал в большой город на Волге, к купцам, одолжившим ему деньги на учение в летной школе. Его встретили расстегаями и стерляжьей ухой. В сарае, охраняемом седым стариком с косыми бровями, стоял аэроплан: по газетному объявлению братья Петины приобрели с торгов в Петербурге на железнодорожной станции не выкупленный кем-то «блерио». Моноплан был в отвратительном состоянии. Пять дней сидел Тентенников

в сарае, не разгибая спины. Наконец настал торжественный день, и Тентенников совершил полет над имением Петиных. После полета братья дали Тентенникову аэроплан в аренду.

Братья Петины жили верстах в сорока от губернского города. Проверив аэроплан, Тентенников поехал в город.

Однажды, обедая в ресторане, Тентенников заметил, что сидящий за соседним столиком господин в шевиотовом костюме внимательно посматривает на него из-под блестящих стеклышек пенсне. Летчик сидел за столом, чуть откинувшись на спинку мягкого стула. Теперь самое трудное оставалось позади — тяжелая пора учебы, вечный страх остаться без денег и кончить голодной смертью. Израненный «блерио» был началом новой жизни. Тентенников мечтал о будущих победах, о славе. . . Мечты были упоительны, но он так устал, что, положив голову на стол, неожиданно задремал.

Он дремал минут двадцать, может быть полчаса. Очнувшись и протерев глаза, увидел, что давешний сосед старательно просматривает газету, время от времени пристально вглядываясь в лицо Тентенникова. Летчика рассердила бесцеремонность незнакомца, и, сердито постучав пальцами по тарелке, он повернулся спиной к соседнему столу. Прошло минут двадцать, и Тентенников услышал чье-то тяжелое дыхание возле самого уха. Сосед стоял возле Тентенникова и старательно закручивал большие пушистые усы. Несколько минут они смотрели друг на друга молча. Незнакомец первый нарушил молчание.

— Какое счастливое совпадение обстоятельств, — сказал он, важно кланяясь и прижимая руку к сердцу. — Мог ли я подумать, что познакомлюсь с гордостью русской авиации — знаменитым Тентенниковым?

— Откуда вы меня знаете? — удивился Тентенников.

— Откуда? Но ведь о вас сегодня напечатана заметка в местной газете. Неужели вы ее не читали? Я всегда жалел, что спортсмены так мало интересуются прессой. . .

Он развернул газету. В газете был напечатан портрет Тентенникова и статья о полетах волжского богатыря, прославившего свой родной город.

Через полчаса летчик и его новый знакомый — известный в провинции делец и комиссионер Пылаев — сидели уже за одним столом.

— Каковы ваши дальнейшие замыслы? — интересовался Пылаев. — Что предполагаете делать?

— Летать.

— Ну, конечно, летать, но где именно и когда?

— По России летать, — рассердился Тентенников, отшвырнув в сторону газету.

— По России? Но отечество наше велико... И вам придется много рисковать, если будете разъезжать по России без определенного плана. Представьте, вдруг вы приедете в город, где только что были полеты. Кто заинтересуется тогда вашим «блерио»?

Тентенникова удивила рассудительность нового знакомого.

— А что же делать в таком случае?

— Что делать? Разрешите, я вам покажу карту России.

Он вынул из саквояжа, лежавшего на соседнем стуле, большую учебную карту и вооружился цветным карандашом.

— У меня записано... — пробормотал он, зачеркивая названия городов и посадов, где уже состоялись полеты. — О Баку нечего и думать — там Слюсаренко... В Елизаветграде — Кузнецов. В Тифлисе — Васильев.

Он протянул карандаш Тентенникову.

— Теперь, пожалуйста... Извольте, пишите, куда стоит собираться.

К вечеру они составили список городов.

Утром Пылаев пришел в номер. Он был попрежнему важен, чисто выбрит, брюки аккуратно разглажены, волосы старательно расчесаны на косой пробор.

— Значит, скоро уедете? — спросил он, обрезая перочинным ножом сигару.

— Да, скоро уеду. Дальняя дорога.

— Но неужели вам не нужен опытный и честный человек, который помогал бы в дороге, продавая билеты, устраивая дела?

Тентенников задумался: в самом деле, у него еще не было ни управляющего, ни механика.

— Если бы вы хотели... Я занят большой работой, но ради вас... если понадобится, я согласен поехать с вами...

— А сколько вам надо платить? Я ведь сижу без денег, только и надежды, что на сборы.

— Какие пустяки! — пожал плечами Пылаев. — Да стоит ли о деньгах и говорить! Будьте спокойны: я вас не обижу. Так, значит...

— Значит, вы у меня на службе. — Тентенников посмотрел еще раз на Пылаева и, увидев, как блеснули его карие глазки под синеватыми стеклышками пенсне, хотел было перенести разговор на завтра, но Пылаев уже принял решение:

— Я скажу, чтобы в номер дали вторую кровать, — какой нам смысл платить лишние деньги.

Он позвонил, пришел коридорный, должно быть уже предупрежденный заранее, и принес железную ржавую кровать. Тентенникова рассердила самонадеянность нового знакомого, но Пылаев был так вежлив и предупредителен, что пришлось промолчать.

— Я вам и механика разыщу. Я застрял в городке и проживаю уже третий месяц... Знакомых у меня множество, отношения — чудесные, поддержка полная обеспечена...

Они погуляли по городу. Не было на главной улице человека, с которым не поздоровался бы Пылаев. В автомобильной конторе наняли механика — молодого коренастого паренька Леньку.

День прошел в беготне по городу.

— Вот видите: как бы вы без меня управились? Сколько сутолоки мышиной... — Пылаев улыбался, чуть приоткрыв рот.

Тентенников и радовался и злился: новый знакомец — человек деловой, но очень уж высокомерно, важно относился он к своему новому хозяину. У Пылаева было множество привычек, обличавших человека аккуратного и довольного жизнью. Раздеваясь на ночь, он бережно складывал одежду, а Тентенников швырял в разные стороны пиджак, рубаху, носки. Просыпаясь, Пылаев курил сигару и пил сельтерскую из сифона, неизменно стоявшего на ночном столике. Во время обеда он старательно

прожевывал пищу. Тентенников злился, подсмеивался над Пылаевым и скучал.

Из имения Петиных привезли «блерио» на ломовой подводе. Полеты решили устроить за городом, на большом неогороженном поле.

— Кузьма Васильевич, — сказал Пылаев, садясь в пролетку, — на первое время надо бы рублей двести...

— Двести? Откуда быть у меня таким деньгам? В гостинице — и то живу в кредит... даже за вашу койку не плачено.

— Что же раньше вы не сказали? А я полагал... Впрочем, ничего страшного... Подождите меня в гостинице... я съезжу за деньгами...

Часа через два он вернулся и положил на стол пеструю пачку кредиток.

— Насилу достал двести рублей... под тридцать процентов на четыре дня... пересчитайте, пожалуйста...

Тентенников вздрогнул.

— Побойтесь вы бога, Нил Степанович, можно ли из такого процента...

— Из такого процента? А вы рассчитали, сколько надо заплатить плотникам? А бензин? А механику? А досок купить для забора?

Тентенников, не отвечая, пересчитал деньги. Пылаев дал ему двадцать рублей на расходы, остальные положил в боковой карман своего пиджака и нанял извозчика. На огромном неогороженном поле, поросшем бурьяном и лебедой, работали плотники. Пылаев поговорил с ними, приказал сколотить ангар для аэроплана и потом уже взяться за постройку ограды, лож и трибун.

Когда возвращались в гостиницу, на городских заборах пестрели оранжевые афиши. Под чертежом аэроплана крупными буквами было напечатано: «Директор-распорядитель Нил Степанович Пылаев».

На аэроплане стоял мотор «Анзани». Утром Тентенников поехал в поле. Ленька ждал его возле ангара.

Допоздна провозился Тентенников, собирая аэроплан. Часу в шестом «блерио» вывели из ангара. Тентенников несколько минут прислушивался к стуку мотора. Ленька взмахнул рукой. Плотники отпустили хвост. Тентенников дал газ. Машина рванулась вперед. «Блерио» побежал по полю, разбежавшись, подпрыгнул и медленно взмыл

вверх. Радостный, побагровевший Тентенников спустился через десять минут. «Блерио» снова вкатили в ангар. Тентенников поехал в гостиницу. Пылаев сидел за столом и подсчитывал деньги.

— Вот сегодня продано билетов на семьсот пятьдесят рублей. . . Завтра снова буду продавать в гостинице. . .

Полеты были назначены на четыре часа дня, но зрители уже с утра собирались на поле. Многие приехали с семьями, с чемоданами, набитыми едой: день был воскресный, и каждому хотелось видеть не только самый полет, но и подготовительную работу летчика и моториста.

Пылаев сидел в будке возле входа и продавал билеты. Нагнувшись, Тентенников вошел в будку.

— Как дела?

— Закройте дверь на крючок. Очень хорошо, отлично. Билетов продано еще на пятьсот рублей. — Возле табуретки, на которой сидел Пылаев, стояло ведро. В это ведро и в мешок Пылаев ссыпал серебро и медь. Крупные кредитки клал на трехногий венский стул, стоявший подле.

Кто-то постучал в дверцу. Тентенников, придерживая крючок, осторожно выглянул из будки и увидел полицмейстера. Полицмейстер, рослый мужчина с огромным животом, вошел в будку и внимательно посмотрел по сторонам, словно разыскивая кого-то.

В заставленной вещами будке было тесно, и Тентенников прислонился к стене, боясь, что полицмейстер упрется животом в его колени. Полицмейстер погладил свой живот и усмехнулся.

— Денег-то сколько, — сказал он, осматривая ведро, мешок, стулья и изогнутую, похожую на гитару, спину Пылаева.

Он постоял несколько минут молча, потом наклонился к стулу и быстро взял волосатой пухлой рукой несколько разноцветных кредиток.

— Пятьдесят, сто. . . — отсчитал он, вздохнув, дунул в грудь Тентенникова и положил деньги в карман брюк.

Движения полицмейстера были спокойны и деловиты. Тентенников удивленно смотрел на одутловатую, в безо-



бразных узлах, широкую руку полицеймейстера, и все это показалось ему шуткой, фокусом, — стоит толстяку дунуть — и деньги снова окажутся на столе. Но толстый полицеймейстер не собирался удивлять Тентенникова повторением фокуса и, поправляя саблю, повернулся к выходу.

— Ваше благородие... — зло сказал Тентенников.

Полицеймейстер удивленно посмотрел на него и раздраженно фыркнул.

— Что? А? Что?

— Ваше благородие, сотенную вы сперли...

— Дурак, — спокойно ответил полицеймейстер и откинул крючок.

— Да за подобные дела в порядочных клубах шандалами по голове били...

Полицеймейстер не дослушал летчика, наклонил эфес сабли и вышел из будки.

— Закрывайте кассу! — закричал Тентенников Пылаеву, вываливая деньги из ведра.

Пылаев закрыл окошко и с ужасом посмотрел на Тентенникова. Летчик рассвирепел, и синяя упрямая жила, наливавшаяся на его лбу, с каждым мгновением становилась толще.

— Чорт знает что такое! Из-под самого носа ворует полиция!

— Не волнуйтесь, не волнуйтесь, — выталкивал его из будки Пылаев, — деньги будут в целости, корешки квитанционных книжек в порядке.

Тентенников выбежал на поле, взбешенный как никогда.

— Ярмарочное действо, — бормотал он под нос, тяжело дыша.

Зрители узнали летчика.

Оркестр заиграл нестройно, словно раскачиваемый ветром. Тентенников был так раздражен, что хотел было отказаться от полета, но толпа шумно приветствовала его, и он подошел к «блерио». Ленька запустил мотор. Площадку очистили от публики.

Ленька дал знак, и «блерио» рванулся вперед.

Механик посмотрел вверх и вдруг увидел, что какая-то палка висит у рулей. Он оглянулся по сторонам: рядом с плотником стоял представительный коммерсант в котелке.

— Что вы тут делаете? — закричал Ленька.

Мужчина в котелке посмотрел на него усталым, безразличным взглядом и с гордостью ответил:

— Я помогал держать за хвост.

— За хвост? Да не ваша ли палка висит у рулей? — грозно подступая к усачу, спросил он снова.

— Палка? Представьте себе!.. Да, да!.. — зачем-то ощупывая свои карманы, отвечал он. — Чорт возьми, я забыл палку на аэроплане. Смотрите, вон она висит...

Ленька схватил его за воротник пальто.

— Я держал аэроплан...

— Кто вас просил?

«Блерио» шел прямо к реке, но Ленька со страхом ждал поворота. Наконец настала минута, когда Тентенников решил полететь назад.

В вышине, под немолчное фыркание мотора, постепенно проходила злоба Тентенникова. Он забыл о полицмейстере, об украденных деньгах, о важном и въедливом Пылаеве и чувствовал только одно: свою силу, власть над хрупкой и неверной машиной, восторг тысячи людей. Ему хотелось так вот, не теряя ни на минуту скорости и нигде не снижаясь, долететь до самого Мурмелона и, спускаясь, крикнуть изворотливому и самонадеянному мсье Риго:

— Кого теперь обманываешь, пройдоха? Видишь — и без твоих «завтраков» летать научился.

Он вспомнил, какие у мсье Риго большие волосатые уши, как пугливо, шевеля ноздрями, пьет профессор вино, и рассмеялся. Потянуло прохладой. Вдали синела река.

Тентенников решил возвращаться и взялся за руль. Руль не поворачивался. Тентенников повернул руль в обратную сторону. Руль оставался неподвижным. Тентенников закричал пронзительно и сердито. Фыркание мотора заглушило крик — человеческий голос был на высоте жалок и беспомощен.

Он закричал снова, и снова голос пропал в синем просторе. Никогда в жизни — ни до этого дня, ни после — не испытывал Тентенников такого страха.

Почувствовав, что повернуть «блерио» не удастся, он начал медленно спускаться. Он слышал, как билось сердце, стучала кровь в висках, чувствовал, как надувались жилы на лбу и на шее.

Площадка, на которую он спускался, сверху казалась ровной; но вот колеса коснулись земли, и он увидел канавку. «Блерио» подпрыгнул и с размаху остановился. Тентенникова качнуло. На мелкие куски разлетелся пропеллер.

Отовсюду сбегались люди.

Пока зрители галдели, мужчина в котелке скрылся, — злополучная палка осталась на память летчику.

Ночью Пылаев сидел в номере и подсчитывал деньги. Всего было собрано тысяча четыреста рублей. Он отсчитал долг, жалованье Леньке, вычел сотенную, взятую полицмейстером, и сказал:

— Остаток, думаю, так: мне одна треть, прочее вам. . .

Тентенников не стал спорить, взял деньги, положил под подушку и повернулся лицом к стене. Пылаев пожал плечами и вышел из номера.

Рано утром Тентенников пешком пошел на ипподром осмотреть аппарат. Ленька спал в лагере, прямо на земле. Услышав шаги летчика, проснулся и тяжело вздохнул. Они молча осмотрели аэроплан. В полдень приехала подвода и отвезла «блерио» в мастерскую. Работы было дней на восемь.

За обедом Тентенников встретился с Пылаевым. На худых нервных пальцах управляющего появился новый перстень с крохотными рубинами.

— Ну, вот, — сказал он, — я получил телеграмму из Вятки: нас ждут там. . .

Тентенников молчал. Ему стал ненавистен этот важный, приглаженный человек. С каким удовольствием отделался бы он от Пылаева. . .

Его все теперь раздражало в Пылаеве — и привычка прищелкивать пальцами во время серьезного разговора, и пристрастие к многозначительным намекам на будто бы пережитые когда-то приключения, и пачка фотографий, которые Пылаев после выпивки извлекал из бокового кармана пиджака и, шумно вздыхая, показывал летчику, пытаясь заинтересовать его лицами курносых хористок и черных, как воронье крыло, шантаных певиц, с которыми порою проводил время Пылаев.

— А ведь недурненькая девушка? — хитро улыбаясь, говорил Пылаев за ужином, и Тентенников угрюмо мычал что-то в ответ, не решаясь поднять глаза от тарелки:

казалось ему, что стоит только встретиться с взглядом собеседника, и трудно уже будет сдержать свою скорую на расправу руку.

Через четырнадцать дней они приехали в Вятку. Из денег, вырученных за полеты, у Тентенникова оставалось только пятьдесят рублей.

В Вятке Пылаев собирался опять поселиться в одном номере с Тентенниковым, но летчик заявил, что хочет жить вместе с механиком, и Пылаев уступил, не споря. Ленка не любил Пылаева, и долгими вечерами, запершись в номере с Тентенниковым, они распивали чай и обдумывали, как отделаться от вьедливого управляющего.

— По-моему, он и ворует, — сказал механик в день отъезда из Вятки. — Не мудрит ли он с квитанционными книжками?

Они решили проследить за Пылаевым, но управляющий, должно быть, догадался об этом заговоре и, собирая деньги, был особенно аккуратен в расчетах. Только в Нижнем Тагиле удалось Тентенникову заметить, что у Пылаева были особые квитанционные книжки, по которым он продавал билеты. Продав тысячу билетов, он сдал Тентенникову корешки только на пятьсот.

Обман был несомненен, и спорить не имело смысла.

— Я вас не хотел обмануть, — подстригая ногти, важно говорил в номере Пылаев. — Я вам потом бы полный сбор отдал. Я только собирался обсчитать немного благодетелей: ведь чем больше у меня квитанционных книжек, тем больше надо сдавать денег на сиротские нужды.

— Нет, о чем же тут говорить, — злился Тентенников, — придется нам, значит, расстаться.

— Дайте мне на дорогу денег, а то я скандал подыму... У меня связи.

Пылаев спокойно смотрел на Тентенникова, поблескивая голубыми стеклышками пенсне. В тот же день, важно попрощавшись с Тентенниковым и снисходительно кивнув механику, Пылаев уехал из Нижнего Тагила на деньги, полученные от летчика.

Тентенников сломал в Нижнем Тагиле шасси и задержался на несколько дней. Починив «блерио», он собирался поехать в Сибирь, но, проснувшись однажды утром,

увидел выпавший за ночь снег. Белая пороша покрыла улицы, деревянные тротуары и низкие заводские дома. Ленька сказал, усмехнувшись:


— Наступила зима. Надо бы сани готовить...

Тентенников решил ехать не в Сибирь, а на юг, и через неделю трясся уже в вагоне поезда, уходящего в Златоуст.

Снова он объезжал города, в которых бывал когда-то известен как мотоциклист, и все ждал чего-то, словно надеялся на перемену судьбы. В Самаре ему гадала рябая цыганка и предсказала какие-то неприятности от червонной дамы, дальнюю дорогу и место трефового короля.

Переезжая из города в город, Тентенников с ужасом замечал, как изнашивается «блерио» от перевозок и мелких поломок при посадках, и топил свое горе в вине.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

 умрачным непогожим утром Тентенников и Ленька приехали в Баку. Каспийское море штормовало. Огромные черные волны перекатывались через парапет, и во всем городе стоял ровный, ни с чем не сравнимый душераздирающий гул. Небо, задернутое тучами, иссиня-черное, возле самой набережной сливалось с волнами, и минутами казалось, что нет ни моря, ни неба, а есть одна только дымная, рваная громада, со страшным треском набегающая на жалкие огни города.

В гостинице мелом на черной доске были записаны фамилии жильцов. Тентенников долго разглядывал список и вдруг вскрикнул от удивления. Последним в списке стоял Победоносцев.

— Это какой же у вас стоит Победоносцев? Не летчик случаем?

— В котором? В сорок седьмом? — разгладив окладистую светлую бороду, вопросом ответил швейцар.

— В сорок седьмом.

— Мне ни к чему, а вроде как летчик, — они еще и летать хотели, да ветер с моря подул...

Тентенников забыл о спорах с Победоносцевым и теперь вспоминал только об одном — о первом знакомстве в чужой стране, в маленьком поезде захолустной ветки...

Как он мог обижать этого человека, такого прямодушного и справедливого, и дружить — хоть недолго, несколько дней всего — с проходимцем Пылаевым? Нет, не научился он еще по-настоящему разбираться в людях...

Он бегом поднялся по лестнице и, увидев сорок седьмой номер, не стучась распахнул дверь.

Среди комнаты стоял Победоносцев, голый, в коротенькой повязке на бедрах, и старательно приседал — по утрам он всегда занимался гимнастикой.

— Глебушка, до чего я рад тебя видеть!

— Тише, тише, — вырвался Победоносцев, — ты же меня раздавишь...

Когда прошло волнение встречи, они сели на диван и наперебой принялись рассказывать о происшествиях последних месяцев. Победоносцев стал немного шире в плечах, вообще возмужал.

— Так-то... значит, живем, — бормотал Тентенников, похлопывая приятеля по плечу. — Кто бы и подумать посмел, что такая кондиция выйдет... А ты молодец — меня обогнал, гляди-ка... Тебе-то не скучно по городам разъезжать?

— Тоскливо, — ответил Победоносцев. — Ведь мечтаешь о больших, настоящих делах...

С волнением вспоминал он события последних месяцев. Как и всегда, неприятности начались с дома. Отец ездил в командировку на Дальний Восток: в Маньчжурii свирепствовала чума. Иван Петрович думал, что только его дела, его личные заботы существенны и значительны, к прочему же привык с годами относиться иронически и снисходительно. Так и теперь — он ездил по Маньчжурii, и ему казалось порой, будто на свете нет ничего, кроме чумы. Страшна и тосклива была поездка по зачумленному краю. Люди боялись дышать, сам воздух таил в себе смерть, и каждую минуту можно было видеть перекошенные от ужаса лица, глаза, подернутые сероватой дымкой усталости и безразличия. Он впервые увидел Маньчжурiiю. Твердые каменистые до-

роги убегали в пыльный простор. В серой степной дали терялась граница между жизнью и смертью. Сурки-тарбаганы — переносчики заразы — неуклюже бегали по степи. Возле норок тарбаганов вырастали несуразные холмы, называвшиеся бутанами. На бутанах росла пыльная трава. И над пламенеющей марью песков, над диким, нищим простором, над желтой землей шумели в полдень могучие крылья белоголовых орлов...

Иван Петрович видел чумные очаги в Худзяне и трупы на берегу Сунгари, сваленные огромной кучей, как камни или как дрова, — сквозь маску тяжело было смотреть на окостеневшие руки и восковые лица, на застывшие в страшных судорогах тела. Вечером трупы сжигали. Из огромного пожарного насоса их поливали керосином. Дымное пламя, треща, поднималось к небу. Вороны каркали вдалеке, чуя добычу. По-шакальи, заунывно и протяжно, выли собаки.

На руках у Ивана Петровича умерла молодая женщина, фельдшерица, приехавшая из Москвы. Она просила перед смертью, чтобы ей принесли букет полевых русских цветов. Ее сведенное судорогой лицо навсегда врезалось в память Ивана Петровича, и несколько дней в вагоне он не мог прикоснуться к еде.

В Петербурге, встретившись с Леной и сыном, сидевшим без дела после поездки по Уралу, Иван Петрович был особенно сух и неразговорчив. В первый же день он поссорился с Глебом из-за какого-то пустяка.

Однажды вечером он позвал Глеба к себе.

— Ну, вот что, — сказал он сыну, — меня интересует, как ты собираешься жить. Ведь жизнь трудна, а ты не думаешь ни о чем.

Сын стоял возле книжного шкафа, высокий, упрямый, с крупными веснушками на лице, с подстриженными ежиком волосами — и все-таки до мельчайших черточек похожий на мать. Это сердило Ивана Петровича, и он раздраженно всматривался в лицо сына, стараясь найти в нем собственные черты.

— Молчишь? Мыслимое ли дело? Я тебе говорю просто и ясно: иди учиться. Не хочешь на медицинский — иди на юридический. Хоть историей займись, хоть санскритом, но выбей только дурь из своей головы... Я уже стар и говорю с тобой серьезно... Ты не знаешь жизни...

За последние три месяца я видел тысячи трупов... Тот, кто лицом к лицу видел смерть, лучше понимает живое.

Он замолчал, выжидая, что скажет сын, но Глеб не отвечал, только губы его вздрагивали.

— Так как же?

Глеб усмехнулся и тихо сказал:

— Я уж сам как-нибудь обдумаю свою жизнь. Понимаю, тебе нелегко, ты беспокоишься за меня, тебе кажется странным, что я, как говоришь, решил стать воздушным извозчиком. Но выбор профессии мы делаем всегда сами, — и у меня такой же упрямый характер, как и у тебя. Нет у меня другой жизни, кроме авиации. Именно летчиком буду, не профессором, не конструктором, а летчиком, человеком у руля... Сейчас к авиации несерьезно относятся, правительство на летчиков как на обыкновенных спортсменов смотрит, но настанет пора, когда летчик станет самым знатным человеком в стране.

Отец пожал плечами, хотел было продолжить спор, но вдруг засмеялся и громко сказал:

— Ты прав: упрям в меня и по-моему. А в общем — живи как хочешь.

В тот приезд в Петербург так и не сказал Глеб отцу и сестре о своей помолвке...

Через несколько дней Глеб подписал новый контракт с Хоботовым и снова отправился в гастрольную поездку по провинции, на этот раз уже по городам юга.

Поездка началась неудачно.

В Ростове-на-Дону механик запил горькую, целые дни плясал в номере, лез целоваться и, вздыхая, рассказывал о своей разгульной юности. Дальше Глебу пришлось ехать одному. С механиками ему не везло: то попадется лодырь, то ничего не понимает в моторе, и в большинстве городов приходилось пользоваться услугами случайных людей. Жалованья от Хоботова Победоносцев получал, кроме дорожных денег, сто рублей в месяц, а в выручке от полетов отчитывался Васенька, приказчик Хоботова, поссорившийся с Глебом Ивановичем в первый же день знакомства. Приказчик жил во всех городах отдельно от летчика и встречался с ним только на ипподромах, где происходили полеты.

В Баку Победоносцев приехал без механика.



— Может, тебе моего дать в помощь? — спросил Тентенников.

— Буду очень благодарен.

— Хорошо. А я буду попросту зрителем.

Летать пришлось при сильном встречном ветре. Победоносцев медленно набирал высоту, глядя сверху на большой, заполненный толпой ипподром, и, сделав семь кругов, решил спускаться, чтобы захватить пассажира. Ветер усилился. Сильным порывом ветра аэроплан качнуло влево. Прежде чем он успел выпрямить «фарман», новый порыв ветра повернул аппарат вправо.

«Фарман» ударился о небольшой холмик. Толпа шарахнулась к аэроплану. Женщины бились в истерике. Плакали дети. Конные полицейские теснили людей к трибунам. Залитый кровью, с переломанной ногой, Победоносцев лежал без сознания под обломками «фармана». Приехал извозчик. Тентенников и механик положили на линейку Победоносцева и повезли в больницу.

Врач долго осматривал окровавленное тело летчика и сказал наконец, поправляя очки:

— Выживет. Крепко сложен. Левая нога переломана, а прочее — не очень существенно. Родственники здесь? Ногу положим в лубок...

— Никого нет у него в Баку, — сказал Тентенников. — Я уезжаю сегодня, вещи его, если надо, привезу сюда, деньги оставлю, а вас уж попрошу его выходить...

Васенька, не забежав даже в больницу, дал Хоботову телеграмму о ранении Победоносцева и гибели «фармана» и вечером выехал в Петербург. Тентенникова ждали в Елизаветполе, и через два часа он уехал из Баку с тифлисским поездом.

Очнувшись через несколько дней, Победоносцев увидел вокруг себя чужих людей, белые халаты сиделок, белые стены больницы и закрыл снова глаза. Положенная в лубок нога не двигалась.

«Неужели безногий?» — со страхом подумал Победоносцев и закричал. К нему подбежали сиделки, подошел случайно находившийся в палате врач.

— Что с ногой? — простонал Победоносцев, пытаясь приподняться на локте.

— Пустяки, ничего страшного, — успокоил врач, — и всего-то вам полежать придется с месяц.

— А «фарман»?

— Что? — переспросил врач, не понимая, о чем спрашивает больной.

— Аэроплан, говорю, что?

Врач устало мотнул бородой.

— Разбит вдребезги...

Победоносцев знал, что Хоботов не простит ему аварии.

Вечером пришли две телеграммы — одна от Лены: «Читала в газетах расстроена телеграфируя здоровье нужно ли приехать»; другая от Хоботова — короткая и выразительная: «Глупо самвиноват», последние два слова были почему-то написаны вместе.

Победоносцев выздоравливал медленно, но настал, наконец, день, когда он смог ходить, опираясь на палку.

Глеб снова вернулся в гостиницу, в которой жил с Тентенниковым. Катастрофа на бакинском аэродроме разбила надежды Победоносцева. Денег на покупку собственного аэроплана не было, о помощи Хоботова не приходилось и думать. Победоносцев решил вернуться в Москву и начать там хлопоты по устройству на работу в аэроклубе, где требовались инструкторы для обучения новичков полетам.

Он приехал в Москву утром, нанял извозчика и сразу же направился к Наташе. Подъезжая к Лубянке, он увидел огромные клубы синего дыма, поднимающиеся вверх со скоростью футбольных «свечек».

— Горит? — спросил он извозчика.

— Стало быть горит, — уныло ответил тот, причмокивая.

— Да где хоть горит?

— Должно, в галерее горит. Да мы-то увидим, как по Петровке поедem...

Пробиться к Петровке было нелегко — отовсюду бежали люди, ехали извозчики, спешили ломовики. Толпа, собравшаяся на перекрестке, медленно подступала к Александровскому пассажию.

— Осади! — кричал пристав, крупом коня оттесняя суевившихся зевак.

Теснимая полицейскими, толпа бросилась в конец Неглинной. Передние догнали пролетку, на которой ехал Победоносцев, и опрокинули ее. Падая на землю, Победоносцев вскрикнул от боли.

Очнулся он уже в больнице. Левая нога снова была в лубке и страшно болела.

— Как же вас угораздило? — спросил фельдшер.

— Что с ногой?

— Ничего, потерпите немного. Где это вас?

— На пожаре.

— Бывает же — пока потушат пожар, сколько людей передавят... Дела, — покачал головой фельдшер, — теперь придется у нас полежать, в больнице...

Победоносцев ничего не ответил...

...В палате было темно. Сиделка стояла у окна и смотрела на улицу.

— У меня к вам просьба, — сказал Победоносцев сиделке, когда она подошла к кровати и зажгла огонь: — напишите, пожалуйста, записку по адресу... я вам скажу... — Она написала под его диктовку записку и вышла из палаты.

Победоносцев лежал на кровати, пересиливая боль, закрыв глаза, и медленно вздыхал. Послышались чьи-то шаги в коридоре. Он чуть приподнял голову. В палату вошла женщина в шуршащем шелковом платье.

— Глебушка! — вскрикнула она, протягивая к нему тонкие руки.

— Откуда узнала? — спросил он, забывая боль и видя только ее прямой пробор.

— Ты же теперь знаменитый летчик, — ответила Наташа, садясь на стул, принесенный сиделкой.

— Записку отправлять? — спросила сиделка, с интересом прислушиваясь к их разговору.

— Нет, не надо, — ответил он, сердясь, что не может остаться с Наташей наедине. — Все-таки как ты узнала?

— В газете была заметка о пострадавших при пожаре...

Он облегченно вздохнул, — снова вернулось к нему недавнее счастье.



обедоносцев выписался из больницы утром и сразу же позвонил брату. Долго не отвечали, потом подошел к телефону человек с незнакомым резким голосом и равнодушно ответил:

— Нет дома. Еще не приехал.

Голос был незнаком, хриловат, и все-таки Глеб почему-то сказал:

— Звонит брат его, Глеб, позовите Сергея Ивановича к телефону...

Незнакомец долго не отзывался, потом Победоносцев услышал трудный, надрывистый кашель, и через несколько минут обычным, знакомым, ласковым голосом брат сказал:

— Глебушка? Здравствуй!

— Но это же свинство, Сережа, — рассердился Глеб, — я чуть не умер, лежал в больнице, и хоть бы ты зашел, навестил меня... Один-одинешенек...

Брат снова замолчал, должно быть думая о чем-то. Глеб сердито кричал в телефон, и Сергей ответил, наконец, растерянно и беспомощно:

— Да, нет, почему же... Прощу тебя, приезжай ко мне. Очень хочется повидаться с тобой.

Победоносцев шел, опираясь на палку, — еще болела нога, и приходилось отдыхать на трудных подъемах. На набережной, возле моста, раскинулся Грибной рынок. Глеб увидел бочонки с квашеной капустой, огромные светложелтые связки лука, моченые яблоки, в ноздри ударил густой, кисловатый запах базара. После больницы еда соленые, моченые, квашеные овощи казались особенно вкусными и привлекательными. Пройдя мимо бочонков и банок с огурцами, Глеб купил четыре моченых яблока и съел тут же, жадно, почти не разжевывая.

Все, что встречалось на пути, казалось слишком ярким и светлым. Победоносцев медленно шел по мосту. По зеленому отлогому берегу Москвы-реки бегали мальчишки. Лодка плыла по реке.

Брат жил во втором этаже старого деревянного дома.

В комнате брата было темно и неудобно. Сережа лежал на диване, закрыв лицо руками. Услышав шаги,

он приподнялся на локте и слабым, простуженным голосом проговорил:

— Как же ты вытянулся, Глебушка, какой громадный стал... Рад, очень рад тебя видеть...

Они расцеловались, и Глеб сел на диван рядом с братом. Сережа неумело, двумя пальцами скручивал самокрутку и молчал. Глеб с удивлением смотрел на него и не мог понять, почему брат стал таким молчаливым и неприветливым.

— Не болен ли ты, часом?

Сережа защелкал пальцами.

— Нет, здоровье у меня хорошее...

Они опять молчали. Глебу показалось, что брат тяготеет его присутствием.

— Может, я напрасно пришел?

— Нет, почему же... Устраивайся на соседнем диване, — потом поговорим, а пока помолчи, я хочу отдохнуть немного...

Одутловатый, с отечными щеками и красными опухшими веками, небритый, усталый, Сергей казался сегодня очень постаревшим. Глебу стало жалко брата, он обнял его за плечи и тихо сказал:

— Не грусти, Сережа, я тебя очень прошу... Взгляну на тебя — и почему-то расстроюсь...

Сережа ничего не ответил. Глеб лег на соседний диван, взял со стола последнюю книгу «Русской мысли» и занялся чтением. Нога еще болела. В комнате было холодно; в открытую форточку дул ветер, трепал и пузырил занавеску. Несколько минут Глеб боролся с дремотой и вдруг почувствовал, что немеют плечи, руки. Он заснул.

Услышав тоненькое прерывистое сопение брата, Сережа, притворявшийся спящим, спрыгнул с дивана, надел пиджак и подошел к окну. В окно был виден низкий деревянный переулок с маленькими палисадниками, с пестро раскрашенными скворечнями, с флюгарками на крышах, с петушками на ставнях, — Сережа жил в тихом московском дворике.

...Глеб проснулся вечером. В комнате было темно.

— Сережа! — крикнул Глеб. Никто не отзывался.

Сергея в комнате не было... Глеб хотел зажечь на-

стольную лампу, но фитиль коптил и наполнял комнату противным запахом гари: в лампе не было керосина. Глеб походил по комнате, потом снова почувствовал усталость, лег на диван и часа полтора прислушивался к шагам в коридоре. Очень хотелось есть. Глеб снова встал и, чиркая спичками, обшарил комнату, но не нашел ничего съестного.

«Нечего сказать, хорош, — рассердился Глеб, — приехал я к нему, а он убежал и не сказал ни слова — хотя бы записку оставил».

Идти одному в трактир не хотелось, и Глеб начал уже раздеваться, как вдруг по коридору послышались чьи-то медленные, неуверенные шаги.

«Должно быть, Сережа», — подумал он и подошел к двери.

Постучали в соседнюю дверь, и Глеб снова сел на диван.

В коридоре громко заговорили, Глеб услышал незнакомый шепелявящий голос. В дверь постучали.

— Глеб Иванович Победоносцев?

Глеб открыл дверь и увидел посыльного, протягивающего небольшой запечатанный конверт.

— От брата. Просили зайти к вам. Ждут в отдельном кабинете в «Мавритании».

Зная привычку брата к спокойной, уединенной жизни, Глеб удивился.

— Да не ошиблись ли вы?

— Никак нет, обратно же приказали и на словах передать...

Глеб наскоро оделся, пригладил волосы щеткой, запер дверь и вышел из дома. Извозчик долго трусил по кривым переулкам, и только через полчаса Глеб приехал в «Мавританию». Его уже ждали. Швейцар, снимая фуражку, спросил:

— Не господин ли Победоносцев будете? Пожалуйста, налево, милости просим...

В завешанном тяжелой портьерой отдельном кабинете, за столом, заставленным закусками и вином, сидел Сережа. Он был сильно навеселе, — впервые в жизни видел его Глеб таким взъерошенным и разъяренным.

— А, Глебушка, — сказал он, — рад, что ты приехал, я без тебя соскучился. Я тебе заказал стерляжку уху... Ну, расскажи, пока ее принесут, как ты жил и тому подобное.

— Наконец-то догадался спросить. Я думал, что тебя раньше интересует моя жизнь...

— Раньше? Ну, знаешь ли, я не виноват, раньше настроения не было. Я по газетам немного следил, в общих чертах мне твои дела известны, рад, что ты, наконец, выдвинулся в первые ряды русских летчиков... А вообще-то тяжело тебе, должно быть.

— Очень тяжело. Хозяин мой когда-то дружбу со мной свел, а теперь охамел совсем. А я не могу из авиации уйти, учиться другому делу не хочу... — Он помолчал несколько минут, нервно теребя край ска-терти.

— Знаешь, — сказал Сергей, медленно потягивая со-ломинкой крюшон, — я за последние дни передумал всю свою жизнь. И о тебе думал, ведь ты мне особенно дорог. Где теперь отец, не знаешь?

— Лена писала, что он на днях снова на Восток уехал.

— Постарел он?

— Не сильно. А я забыл поблагодарить тебя, Сережа, за помощь. Разве бы я без тебя стал летчиком...

— Пустое... Я отцу сегодня письмецо отправил. А маму ты помнишь?

— Маму? Нет, я мало видел ее. Мы ведь с Леной до сих пор не знаем, почему она живет отдельно от нас... Я хотел было у тебя спросить...

— Трудная история, — вздохнув, ответил Сергей. — Семья у нас была неустроенная, мать с отцом жили недружно, он мало думал о доме, не сумел заинтересо-вать ее своей работой — вот и начался разлад в семье. А кончилось все разездом. Разошлась она с отцом, когда мы еще детьми были, влюбилась в одного, как и сам отец мне говорил, хорошего человека. Отец резок был с ней, обидел, оттолкнул окончательно от себя, как раз в те дни, когда нужно было стать мягче. А человек, к которому она ушла, вдруг заболевает какой-то тяже-лой болезнью, если не путаю, вроде туберкулеза позво-ночника. Вот и лежит он многие годы неподвижно,

а она — у его кровати, сиделкой. Так что счастья у нее во второй семье нет.

— Может быть, если бы она счастлива была, мы, дети, ей не простили бы, что она нас малышами оставила... А так — видать, жизнь ее была не в любви, а в долге...

— Пожалуй, ты прав, — сказал Сергей. — Но расскажи теперь о себе. Мне хочется узнать, что ты за человек. Ты когда-нибудь думал серьезно о жизни?

— Ты меня мальчишкой считаешь... Я уже в шестнадцать лет думал о смысле жизни...

— Насчет смысла жизни — дело второе. Я тебя спрашиваю не о том. Приходилось ли тебе задумываться всерьез об окружающей тебя жизни, ну, о судьбе России, о будущем?

— О судьбах России? Почему ты меня об этом спрашиваешь? Уж не стал ли ты социал-демократом?

— В том-то и дело, что нет. Это меня и грызет. Когда я учился в институте, был очень близок к большевикам, хотел вступить в партию, а потом, под влиянием профессоров, передумал. Они мне прочили большое будущее, вот я и решил, что мое дело — техника, а не революция. И ошибся! Пока не свершится революция, нет технике дороги на Руси.

— По-моему, тебе нечего раскаиваться. Говорят о твоём таланте...

— Говорят? Да знаешь ли ты — я неудачник. Три года убил на разработку моноплана, и чем же это кончилось...

— Чем?

— На заводе забастовали рабочие. Я, как и они, не выходил на работу, хозяин написал донос, а когда я вернулся, не пустил меня на завод, со зла поджег и уничтожил часть моих чертежей, а может, и просто украл... Министерство отказалось вести со мной переговоры. К частным авиационным меценатам идти бесполезно — наговорят туры на колесах и дадут на чай четвертную...

Глеб не знал, что ответить брату.

— Впрочем, ты-то как живешь? Я на тебя навеваю грустные мысли, а ты и сам, должно быть, не очень весел... Друзья у тебя есть? Жениться не собираешься?



— Жениться? — переспросил Глеб, вспоминая о Наташе. Это воспоминание смутило его, румянец проступил сквозь загар сухих, пожелтевших щек, но и Сергею он ничего не сказал о своей помолвке.

Сергей был занят собственными мыслями, не заметил смущения брата, и Глеб был доволен этим. Он и радовался и стыдился своего счастья, — ведь он любил впервые, и ему казалось, что трудно найти настоящие слова для рассказа о Наташе, о внезапно полонившей душу любви.

— Я тебе вот что, дружище, скажу: не спеши жениться, лишняя обуза. Сейчас я свободен, что хочу могу делать. А будь у меня семья? — Сергей помолчал несколько минут и, откашлявшись, продолжал: — Ужасно плохо придумана жизнь. Я не хотел заниматься никакими философствованиями, честно делал свое дело — и вот до чего дошел. Страна бедная, нищая, а богатства в ней — горы... Вот уж воистину: «ты и убогая, ты и обильная»... — Он тяжело вздохнул и нервно захрустел пальцами. — А ведь почему против моего изобретения так настроены хозяева? Да потому только, что невыгодно им пускать в ход русское изобретение. Завод наш наполовину принадлежит иностранцам, и они боятся каждого новшества, грозящего конкуренцией. Вот, скажем, сейчас дело у них идет как по маслу — авиационные русские предприятия представляют собою только сборочные цехи иностранных заводов. Стало быть, доход за патенты и прочее такое идет в чужие карманы. Будь я поговорчивей, они бы мои чертежи купили, но я, как ты знаешь, в отца пошел характером... Уступать ни в чем и никому не люблю. Месяца два назад представитель фирмы предлагал мне поехать в Берлин и там заключить договор. Но я ему сказал, что множить число русских изобретений, присвоенных иностранцами, не собираюсь. Посмотрел бы ты, какое у моего собеседника кислое лицо стало, словно он стакан уксусу выпил! Я тогда торжествовал победу, а на поверку-то что вышло? Часть чертежей пропала. Может, они прямоком за границу и проследовали? Ну, что же, пожалуй, пойдем, — подымаясь из-за стола, сказал Сергей. — Надоело мне в здешнем арабском заточении, в «Мавритании» этой самой.

Глеб целые дни сидел за столом и читал старые журналы, — переехать к Наташе он хотел только после свадьбы. Сергей не ночевал дома, приходил ненадолго, не разговаривая с Глебом, копался в большом, набитом бумагами и чертежами чемодане и уходил снова. Однажды утром, когда Глеб еще спал, Сергей пришел грустный и озабоченный. Глеб проснулся. Лицо брата казалось таким бледным и усталым, что трудно было решиться заговорить с ним. Сергей походил по комнате, закрыл чемодан с бумагами, приблизился к постели, пристально посмотрел на брата и пошел к двери.

— Сережа! — закричал Глеб, но никто ему не ответил — Сергея уже не было в комнате.

В эту ночь Сергей не приходил домой. Глеб проснулся среди ночи. Оделся, зажег лампу и читал до самого утра. Утром вздремнул, сидя в кресле, не раздеваясь. Разбудил стук в дверь: почтальон принес телеграмму.

Глеб распечатал телеграмму и несколько раз перечел ее. Телеграмма была странна и несуразна: брат просил немедленно зайти в гостиницу «Билло» на Большой Лубянке.

В подъезде гостиницы Глеб остановился: его поразила странная суэта, топот сапог по коридорам, полицейские, медленно поднимающиеся по лестнице, пристав, с озабоченным видом разгуливающий по вестибюлю.

— Вам кого? — спросил швейцар, снизу вверх рассматривая Глеба.

— Мне в сороковой номер, к господину Победоносцеву, он меня вызвал телеграммой, — в смутном предчувствии непоправимого несчастья растерянно ответил Глеб.

Швейцар удивленно посмотрел на него, ничего не ответил, подбежал к приставу и что-то взволнованно зашептал.

— Что? — закричал вдруг пристав, медленно и важно подходя к Победоносцеву. — Что вы говорите?

— Я брат его, он меня вызвал телеграммой. . .

Пристав выхватил телеграмму, прочел ее и положил в карман.

— Так. Значит, вы к брату. Пойдемте.

Глеб решил, что сейчас его арестуют и вместе с братом посадят в тюрьму. Он знал, что с полицией надо держаться смело, и, отталкивая пристава, сказал:

— Я и без вас найду дорогу. Не беспокойтесь.

Пристав вслед за ним поднялся по лестнице.

Подойдя к сороковому номеру, Глеб стукнул в дверь. Никто не отзывался. Тогда он ударил еще раз.

— Простите, — сказал пристав, — я вам сейчас открою.

Он открыл дверь, и Глеб увидел, что на кровати лежит человек, накрытый простыней. Пристав схватил Глеба за локоть, крепко прижал и, чуть усмехаясь, сказал:

— Братец-то ваш того... долго жить приказал.

Глеб вырвался, подбежал к кровати, сдернул простыню, увидел застывшую, словно окаменевшую улыбку на желтых губах Сережи, закричал и, садясь на холодный паркет, успел еще рассмотреть огромный кровоподтек на Сережином лбу.

Он очнулся в той же комнате на диване. За столом сидел полицейский и внимательно рассматривал Глеба.

— Что с ним случилось? — спросил Глеб, стараясь не смотреть на кровать и все-таки ничего не видя в комнате, кроме белой, запачканной кровью простыни.

— Самоубийство подозреваем, — равнодушно ответил полицейский, разглаживая седые пушистые усы.

Потом, когда дознание было снято и Сережино тело вынесли из гостиницы, Глеб побежал домой, — ему казалось, что там найдется хоть какая-нибудь записка от брата. Страшно входить в комнату, из которой навсегда ушел человек, и Глеб долго стоял у порога, не решаясь закрыть за собой дверь. Только теперь он рассмотрел как следует большую квадратную комнату с низким потолком и зеленоватыми окнами. Комната была обставлена просто, и по некоторым мелочам легко распознавалось душевное смятение ее хозяина. На этажерках беспорядочно теснились книги в пестрых обложках — тут были и современные романы, и технические брошюры, и спортивные справочники. Стены, выкрашенные масляной краской, лоснились, как в больнице, вещи были покрыты

ровным сероватым слоем пыли. На новеньком кожаном чемодане сверкали никелированные щегольские застёжки. Глеб поднял чемодан и увидел небольшой конверт, лежащий на ковре. На конверте не было никакой надписи. Глеб распечатал его, на пол упал листок почтовой бумаги. «Леночку целую, — писал Сережа, — тебя прошу передать этот чемодан профессору Жуковскому — он перешлет мои чертежи в музей». Подписи не было, но Глеб узнал характерный, с высокими черточками над «т», прыгающий почерк брата.

Он набрался, наконец, смелости и закрыл дверь. До утра ходил Глеб по комнате, вспоминая жизнь Сережи. Слез уже не было; отекли и распухли веки, дрожали руки, сухой кашель немилосердно драл горло. На память приходили юношеские годы Сережи, прогулки с ним по городу, катание на вейках, длинные зимние вечера, когда Сережа читал вслух в столовой или играл в шахматы с приятелями — гимназистами старших классов.

На рассвете Глеб забылся на несколько минут, но уже в шестом часу утра проснулся и заходил по комнате. Глеб чувствовал, что если никто не поможет, будет очень трудно перенести горе, и вышел из дома. Зашел на телеграф, долго думал, следует ли сообщать о несчастье Лене. Но разве можно скрыть самоубийство, о котором все равно завтра будут писать падкие на сенсации вечерние газеты? Отправив телеграмму, Глеб пошел к Наташе.

День прошел в мелких хлопотах, — на завтра были назначены похороны, пришлось заказывать гроб, ездить в полицию, — всюду приходилось платить, и Глеб с ужасом подумал, что у него уже не осталось денег.

— Что с тобой? — спросила Наташа, когда они выходили из бюро похоронных процессий. — Что случилось?

— Денег нет...

— Денег? У меня есть немного, возьми и трать, сколько нужно... — Она протянула ему ридикюль.

Наташа решила вдруг, что хоронить надо в Лефортове, и они поехали туда на извозчике. Кладбищенский попик, черный, мохнатый, с толстыми бородавками на носу и щеках, заявил, что хоронить самоубийц на клад-

бище не дозволяется. На пригорке, под липами, у самой кладбищенской ограды они нашли хорошее место. Здесь Глеб решил впоследствии поставить памятник, сделать скамейку, разбить цветник.

Было уже поздно, белый туман клубился над крестами и оградами. Они еще долго бродили по кладбищу.

— Конечно, я самоубийство оправдывать не могу, — сказал Глеб. — Сережа показал свою слабость...

Наташа схватила Глеба за локоть и быстро зашептала:

— Пойдем отсюда...

Вернувшись в город, Наташа вспомнила, что ничего не ела с утра. Они зашли в трактир, но Глеб не притронулся к еде, только пил воду да лепил фигурки из черного хлеба. Домой вернулись в первом часу ночи.

Утром они приехали на Николаевский вокзал. Поезд уже пришел. Они дошли до конца состава и хотели уже вернуться в вестибюль, но вдруг увидели, что из последнего вагона вышла заплаканная Лена, прижимая платок к губам и щуря покрасневшие глаза.

Глеб бросился к ней, расталкивая пассажиров.

— Леночка, какое несчастье!

Лена плакала.

— Глеб Иванович, — сказал кто-то мягко и тихо, — не надо расстраиваться...

Тут только Глеб заметил, что Лена приехала не одна: рядом с ней шел Загорский. Глеб удивленно посмотрел на него.

— Удивляетесь, что встретили меня сегодня? — спросил Загорский, смущенным медленным движением поправляя пенсне.

— По правде говоря, не понимаю ничего. Почему вы приехали вместе с Леной?

— С Парижем у меня теперь покончено. После вашего отъезда разыскивал вас и Быкова, заехал на Подьяческую и там встретился с Еленой Ивановной... — Он запнулся, слово не решаясь найти нужного слова...

— Глеб, — краснея, сказала Лена, и на лице ее на мгновение появилась улыбка. — Корней Николаевич — мой жених...

Наташа стояла в стороне и издали наблюдала за встречей.

— Да, — растерялся Глеб, — я и забыл познакомиться. Наталья Васильевна Пономарева. . .

. . . С вокзала поехали на квартиру Сережи, долго сидели молча, а к двенадцати уже были в морге.

Медленно шли лошади в черных пополах по переулкам Москвы.

Когда невысокий холмик вырос над Серезиным телом, Лена заплакала и положила голову на плечо Загорского. Она редко встречалась с братом, но именно поэтому так обстоятельно помнила каждую встречу с ним, каждый случайный разговор и чувствовала, что Сережа был несчастен в жизни и очень одинок.

Загорский остановился в Московской гостинице, Лена же вместе с Глебом поехала ночевать к Наташе. Глебу постелили на полу, он лег не раздеваясь и сразу заснул. Лена и Наташа легли на одной кровати, проговорили до рассвета и заснули обнявшись — волнения и заботы трудного дня как-то сблизили их.

— Знаете, Глеб Иванович, — сказал Загорский утром за завтраком в ресторане, — не знаю, как вы, — он испытующе посмотрел на Наташу, — а мы с Леной решили тут и обвенчаться. У меня все приготовлено, я еще перед поездкой заготовил документы.

Наташа сказала, что знает хорошую церковь на Арбате, — Загорский сразу же поехал туда и просил подождать его в ресторане. Наташа и Лена вполголоса разговаривали, а Глеб, не прислушиваясь к их разговору, смотрел на сестру и не мог понять, как эта девочка, до пятнадцати лет ходившая в коротеньких платьях и читавшая детские книги, так быстро стала взрослой женщиной, от кого научилась она, всю жизнь просидевшая дома, подчинять себе людей и даже к тем, кто был старше и умнее ее, относиться ободряюще-снисходительно, словно знала и видела больше, чем другие.

Через два дня вечером на Николаевском вокзале Глеб провожал сестру и ее мужа, возвращавшихся в Петербург. Он признался Наташе, что, пожалуй, злитесь, глядя

на спокойное напудренное лицо Лены. Казалось, она забыла о Сережиной смерти; Глеба раздражал эгоизм молодой красивой женщины, прижавшейся к руке чужого человека, и снова до слез стало жаль брата.

Прощальные слезы Лены показались притворными, и, чуть дотронувшись губами до ее щеки, Глеб ушел с вокзала. Только много лет спустя он понял, что напрасно сердился на сестру: просто она умела скрывать свое горе от других и боль переживала наедине, ни с кем не делясь своими заботами и печальями.

Последние дни в Москве прошли в каком-то тумане. Все перемешалось, все перепуталось... Только одно было неизменно — теплые губы Наташи, ласковые ее слова, долгие вечерние разговоры. В день отъезда Глеб пошел на кладбище. Все эти дни шел снег, и могильный холмик покрыла снежная пелена. Слез не было — казалось, что он знал брата в какой-то прошедшей жизни. Вечером Глеб уезжал в Петербург. С Наташей было договорено, что она снимет недорогую квартиру, где-нибудь в переулочках, между Арбатом и Пречистенкой, — тем временем Глеб постарается устроиться более прочно, и начнется тогда настоящая, новая жизнь.

Часа за три до отхода поезда Глеб поехал на автомобиле в старый переулок у Покровских ворот. Наташу он упросил не приезжать на вокзал, — он не любит проводов, неизбежных при прощании женских слез, тех тяжелых и стеснительных минут перед долгою разлукой, когда трудно найти слова и с нетерпением поглядываешь на часы, ожидая неизбежного третьего звонка, возвещающего о скором отправлении поезда.

Только теперь удалось Глебу выполнить последнюю просьбу брата; он отвез чемодан с Сережиними чертежами профессору Жуковскому. Сережа оставил старому профессору и письмо в незапечатанном конверте. Глеб начал читать его, и буквы запрыгали сразу перед глазами, — так трогательны и по-настоящему нежны были слова, обращенные к великому учителю.

«Дорогой Николай Егорович, — писал Сережа. — Вы помните, наверно, день, когда я впервые пришел к вам с чертежами моего моноплана. Я и сейчас с волнением

вспоминаю этот день и все пережитое и передуманное вместе с вами. Какие были хорошие вечера в вашем доме в Мыльниковом переулке, когда мы сидели с вами, склонившись над чертежами, и радостно мне было, оторвавшись на мгновение от заваленного бумагами стола, видеть, что за мною с улыбкой наблюдаете вы, наш дорогой вдохновитель. Я всегда стеснялся сказать вам об этом, но именно сегодня первая моя дума о вас и вашем бессмертном труде...»

Дальше у Глеба не было силы читать, и он заплакал.

Старый профессор принял Глеба в кабинете. Над письменным столом висела гравюра, изображавшая Галилея с его дочерью — дочь была верной помощницей ученого, когда он ослеп, — и Глеб слышал от кого-то из знакомых, что дочь Жуковского — тоже преданный товарищ отца. Должно быть, это она в светлом платье пробежала по лестнице, когда Глеб входил в переднюю.

— О вашей горе слышал, — сказал Жуковский, разглаживая окладистую бороду и внимательными черными глазами глядя на Победоносцева, — но поступок Сергея Ивановича оправдать не могу: нужно было зубы стиснуть и драться, утверждая свою идею. Если бы люди так легко сдавались, отступали перед трудностями, ни одно великое открытие не могло бы победить.

— Я себя виню, что не распознал настроения брата, — сказал Глеб. — Хотя, впрочем, в таких случаях самое легкое — винить себя. Ведь он таил от меня свою мысль о смерти...

Они помолчали, и Победоносцев, подымая чемодан с чертежами Сергея, сказал:

— А чертежи он просил вам отнести, чтобы вы со временем передали в музей...

— Волю его я выполню, — вздохнув, сказал Жуковский. — Пригодятся когда-нибудь его работы будущим конструкторам самолетов. Он был человеком редкого дарования, я всегда буду скорбеть о его смерти...

— Вы извините, мне сейчас уезжать надо, а вообще, если позволите, я еще когда-нибудь вас навещу...

— Обязательно, — сказал Жуковский, — рад встречам с летчиками, ведь они служат делу, которому я сам от-



дал большую часть своей жизни... А вы к тому же родной брат Сергея Ивановича...

Но так и не довелось Глебу никогда больше встретиться с Жуковским.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ



В конце лета в Петербург приехал болгарский офицер, не то поручик, не то штабс-капитан, — чина его точно никто не знал, так как ходил болгарин в штатском, в плаще и модном коричневом костюме. Был он высок, широк в плечах и неизменно весел. Приезжий офицер жил в меблированных комнатах, неподалеку от гостиницы «Эрмитаж», встречался с журналистами, отставными военными, о цели своей поездки ничего не говорил и долгие часы проводил в беседах с учеными, изучающими историю болгарского народа. Загорский встречался раза два с болгаринном, однажды даже поспорил с ним о будущих судьбах Балкан. От кого-то из знакомых он слышал, что болгарин приехал в Петербург с серьезным поручением, и удивился, однажды вечером получив городскую телеграмму: болгарский офицер извещал о желании немедленно с ним встретиться и поговорить.

Оказалось, что болгарин покупал аэропланы. Болгарская армия, дравшаяся под Адрианополем, ждала помощи от русских авиаторов. Загорский повеселел, забегал по департаментским приемным, повез болгарина на авиационный завод Щетинина и твердо решил ехать на фронт вместе с летным отрядом.

Болгарская армия покупала пять аэропланов и давала деньги на запасные части и содержание летчиков.

Загорский не спал ночами, вспоминая старые рассказы о балканских войнах, и чувствовал, что пришло настоящее время: его дед дрался когда-то под Плевной, был убит там, и Загорский мечтал навестить его могилу. В дни итальяно-турецкой войны многие еще не верили в пользу авиации, теперь настал, наконец, час проверки нового и грозного оружия...

В военных кругах начались серьезные споры, — решался вопрос о том, как следует поступать с попавшими в плен летчиками. Можно ли их приравнять к офицерам или же правильнее будет считать шпионами и расстреливать сразу по задержании аэроплана? «Какой он военный? — говорили о летчиках некоторые генералы, мыслившие по старинке. — Он сверху смотрит, выглядит, чинов у него никаких нет...»

Однако мечта Загорского о поездке в Болгарию не свершилась. Как раз в те дни его вызвали в инженерное управление и отправили на один из петербургских заводов принимать оборудование для воздухоплавательных рот.

Формирование отряда взял на себя завод Щетинина, где к тому времени, на правах компаньона, работал Хоботов. Он сразу заинтересовался предстоящей поездкой и заявил, что сам обязательно направится в Болгарию на фронт. Не очень обрадовала летчиков совместная поездка с Хоботовым, но все-таки Евсюков, Костин, Колчин согласились вступить в отряд. Летчики, вызвавшиеся поехать в Болгарию, были людьми надежными, но Хоботов еще больше верил в удачу Быкова и Победоносцева. Поздно вечером Хоботов вызвал их и предложил вступить в отряд.

— Я болгарского офицера видел, — сказал Победоносцев, — встречался с ним у Загорского. Человек он симпатичный, культурный. Он говорит, что русским летчикам в Софии будут рады, — народ русских любит и от летчиков ждет помощи в войне. Ведь в Турции сейчас самые зверские настроения; младотурки прикидываются культурными людьми, а сами мечтают о том, чтобы снова с огнем и мечом пройти по славянским землям.

Через несколько дней летчики получили заграничные паспорта, кожаные костюмы и поехали в гости к Лене. Корнея Николаевича дома не было.

Лена сидела на диване и вышивала салфетку. Мелкая стежка вилась вокруг ажурной каемки, и Лена напевала, прислушиваясь к шагам на лестнице. Стена выходила на площадку. Лена привыкла издали узнавать шаги и никогда не ошибалась — спокойная, ровная походка

мужа совсем не походила на прыгающую, порывистую походку Глеба. Вот и теперь, услышав знакомые шаги, Лена отложила вышивку и послала прислугу открывать дверь.

«Глебушка... — решила она. — А с ним кто такой? Похоже на Корнея, но шаги еще глуше...»

Она не вытерпела и побежала в переднюю. Глеб поднял сестру и крепко поцеловал в губы.

— Мы снова к тебе, — сказал он, расстегивая воротник новенькой кожаной куртки, — но на этот раз уже не чай пить, а прощаться. Где Корней Николаевич?

— Прощаться? Нет, почему же прощаться? Корней уехал на завод, вернется поздно. А вы куда собираетесь?

Победоносцев выждал несколько минут, вытянул руки по швам и тихо сказал:

— Уезжаем на войну, сестрица!

— На войну? Но где же теперь война? По-моему, Россия теперь нигде не воюет... — Она решила, что брат шутит, и, ухватив его за воротник куртки, сердито потянула к себе. — Лгунишка ты, лгун, как тебе не стыдно...

— Нет, почему же, Елена Ивановна?.. Глеб не обманывает вас, через четыре дня выезжаем. Разве вам Корней Николаевич не говорил? Он и сам тоже собирался на войну, да его не пустили.

Лене стало неудобно, что она, обрадованная приходом брата, еще не поздоровалась с Быковым.

— Простите, пожалуйста, Быков...

— Бросьте, Елена Ивановна, бросьте, — ответил летчик, с удовольствием пожимая пухлую руку Лены. — Должно быть, вам Корней Николаевич ничего не говорил о предстоящем отъезде Глеба, не хотел заранее волновать.

Лена, покрасневшись, сидела у самовара и хозяйничала. Было приятно чувствовать себя взрослой, хозяйкой, только жаль, что мужа нет дома, — он бы сумел занять их разговором, гости не скучали бы; собственные слова казались Лене скучными и однообразными.

— Я ездила на днях с Корнеем, — она покраснела, назвав имя мужа, и застенчиво посмотрела на Глеба — не заметил ли брат смущения, — ездила на днях, — сердито морща лоб, повторила она, — к его дяде. Чудный старик... Он хорошо знает генерала Кованьку, но не по службе: они вместе старинные монетки собирают...

Живет он в Карташевке — хорошее место, только сыро очень; мы ходили по лесу, искали грибы, много нашли, и самых хороших. Возвращаемся домой — идет босая женщина с лукошком, в ситцевом платочке, и читает французскую книжку. Я заинтересовалась. . . может быть, это скучно? — снова перебила себя Лена, исподлобья поглядывая на Глеба.

— Нет, почему же, рассказывайте, Елена Ивановна, — маленькими глотками отхлебывая чай, отозвался Быков.

— Я заинтересовалась, кто она такая. . . Оказывается — толстовка, из интеллигентной семьи, бросила город и живет только тем, что можно собрать в лесу. Интересно, правда? Я даже ей позавидовала. . .

— Нечего ей завидовать, — хмуро сказал Быков. — Сейчас мода такая пошла на опрощение. Дескать, нужно покинуть шумные города и вернуться поближе к природе. Один модный поэт так прямо и заявил в стихах — мне они недавно в газете попались, — что, дескать, душа его стремится в примитив. Я посмеялся. Нескладно как-то у него получается. Сам простоты хочет, таким же босоножкой ходить мечтает, а все-таки стремится в примитив. И тут без иностранного словечка обойтись не смог! Понятно, раз у него мечта о примитиве, то ему и хождение по лесу босиком чем-то умильным кажется. А вот пробегал бы он, как я, все детство босиком да в рваных штанах, небось о своем примитиве не возмечтал бы.

— Он ближе к народу быть хочет, — робко сказала Лена, — а иностранное словечко он нечаянно вставил, за это на него сердиться нельзя. . .

— Именно в словечке дело! — сердито ответил Быков. — Снимет этакий стихотворец дачу с мезонином и будет думать, что настал для него момент самого вожделенного слияния с природой.

Он засмеялся, и Лена сама не могла удержаться от смеха. Так, смеясь, и распрощались они, не дождавшись Загорского.

Хоботову в эти дни почти не удавалось вздремнуть. Он был возбужден, как всегда, когда наклеивалось выгодное дело, и заранее подсчитывал суммы, которые ему выдаст болгарское правительство. Летчики ехали драться

в небе за болгарский народ, но Хоботов больше думал о земном, о выгоде своего предприятия. С раннего утра разъезжал он по городу на автомобиле. Множество дел ждало на заводе, — нужно было разбирать аэропланы, упаковывать их в ящики, подбирать запасные части. Болгарин поспевал всюду, внимательно следил за погрузкой и помогал Хоботову.

Вечером с Варшавского вокзала уходил почтовый поезд в Одессу. Провожавших было немного. Быков и Победоносцев ехали отдельно, в вагоне третьего класса. В Одессу приехали дождливым, тусклым вечером. В гостинице жили несколько дней, ожидая парохода. Газеты были заполнены корреспонденциями с фронта. Жилистый Брешко-Брешковский и седой Немирович-Данченко, рассудительный Водовозов и осторожный Пиленко, нагруженный пузатыми чемоданами писатель Чириков и вечно пьяный сотрудник черносотенной «Земщины» писали только о войне. Вслед за ними направились на фронт и другие корреспонденты. А те, кому не удалось выехать за границу, занялись неожиданно вопросами славянской филологии и оглушали читателей длинными цитатами из ученых трудов. Буржуазная печать и на этот раз была верна своим давним правилам. Газетчики рыскали в поисках сенсации и меньше всего думали о помощи борющимся за свое освобождение славянским народам. Война на Балканах была для них сенсацией — и только; кадетская «Речь» и «Земщина» затеяли ожесточенную полемику, и фельетонист «Земщины» злорадно рассказывал о пощечине, которую дали вождю кадетской партии Милюкову на собрании, посвященном македонскому вопросу.

О Македонии много говорил и Хоботов. Ему нравилось по вечерам обстоятельно беседовать с летчиками, но тон у него теперь был не тот, что прежде, а покровительственно-поучающий, и Быкова больше, чем других, раздражали снисходительные разъяснения заводчика.

— Теперь все по-другому пойдет, — говорил Хоботов как-то вечером, полулежа на большом диване с деревянной спинкой. — Македония — это, братцы, такой орешек, о который много зубов было обломано... Но теперь македонские мужики получают полную свободу...

Для того я и еду на Балканы, чтобы ускорить освобождение славян. . .

— А не для своей выгоды? — прищурившись, спросил медленно прохаживавшийся по комнате Быков.

— Выгоды? — недоуменно переспросил Хоботов. — Ты что-то путаешь, братец. . .

— Я тебе не братец. Но неужто ты не понимаешь, что цели у нас с тобой разные?

Хоботов обиделся и прекратил разговор. С тех пор изменилось его отношение ко всем летчикам — он с ними говорил только о делах, только на служебные темы. . .

Когда садились на пароход в Одессе, встретили Тентенникова: он также ехал на войну и, по приглашению сербского правительства, направлялся в Белград.

На рассвете, когда пароход, тяжело покачиваясь, отдал швартовы, Победоносцев сказал, строго посматривая на влажные, скользкие крыши города:

— Что нас ждет впереди? Ведь мы теперь боевое крещение принимаем. . .

Огромный маяк пропал за высокой волной, и пароход вышел в открытое море. Ветер крепчал. Могучие волны яростно били в борта. Берег исчез за туманной дымкой. Летчики недолго походили по палубе и спустились в ресторан.

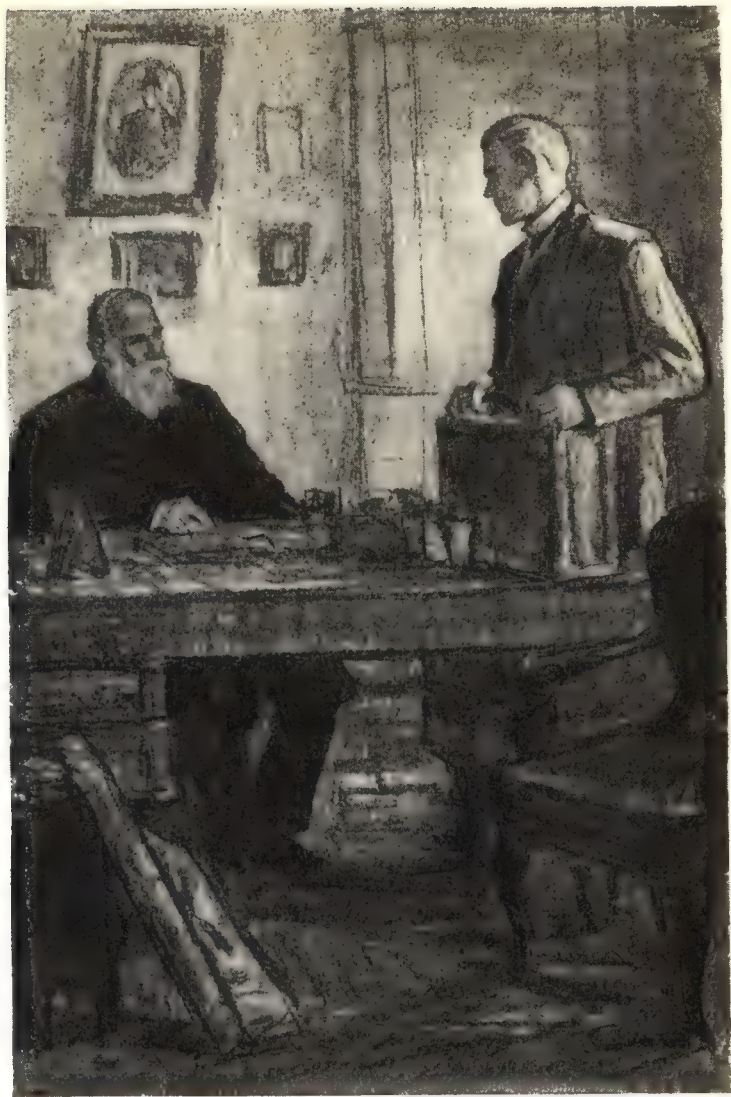
За круглым столом сидел усатый мужчина в желтых крагах и пил пиво. Лицо его показалось знакомым Тентенникову. Рядом с усачом сидел, просматривая газету, худенький человечек с маленьким, незначительным лицом и пышными бровями.

Тентенников с удивлением посмотрел на соседей и, почесывая щеку, мучительно вспоминал, где видел усатого господина, важно отпивающего пиво из цветного граненого бокала.

Тентенникову показалось уже, что он обознался, как вдруг господин в крагах начал закручивать усы, и летчик узнал Пылаева. Тот несколько изменился за год: чуть набрякли щеки, да проседь кое-где прошла по вискам.

— Милейший! — закричал Тентенников. — Ты-то здесь чем промышляешь?

Услышав знакомый голос, Пылаев вздрогнул, важно встал из-за стола, посмотрел на Тентенникова недоверчивыми глазами и улыбнулся.



*к стр. 186*





— Дорогой мой, какими судьбами? .. Сердечно рад! — улыбаясь и вытирая глаза платочком, растерянно заговорил Пылаев, направляясь к летчику. — Я о вас вспоминал, газетки почитывал. .. Не воевать ли едете, дорогуша? ..

— С кем ты беседуешь? — громко спросил Быков, рассматривая румяное, холеное лицо Пылаева.

— Мошенник один, — не подавая изворотливому антрепренеру руки, ответил Тентенников, — прохвост. ..

— Что вы, что вы, — добродушно улыбался Пылаев. — Тоже наговорите, господа летчики невесть что смогут про меня подумать. Разрешите отрекомендоваться. Вас я, господин Быков, сразу по фотографическим снимкам узнал. ..

— Нет, ты мне скажи, как втерся сюда? — не переставал допытываться Тентенников.

Пылаев замолчал и снова вернулся на свое прежнее место. Тентенников рассказал приятелям историю знакомства с Пылаевым. Они долго хохотали, особенно когда Тентенников описывал отъезд антрепренера из Нижнего Тагила.

На другой день пароход подошел к гирлу Дуная. На румынской границе началась хлопотливая проверка паспортов и багажа, — пришлось сойти на берег, ожидать часа два, и только в сумерки таможенные чиновники впустили пассажиров на пароход.

Ночью пароход плыл вверх по Дунаю. Туманы клубились над волнами. Лоцман сердито жевал табак и клялся, что никогда еще не видел более безрадостной ночи на этой реке. На каждой версте, прорезая тяжелые волны, подымались вязкие мели, пароход качало еще больше, чем на Черном море.

Летчики сидели в кают-компании первого класса и, скучая, просматривали старые одесские газеты. На пароходе появились новые пассажиры: чешский торговец, возвращавшийся в Прагу, молоденькая англичанка в коротком полосатом жакете и несколько итальянцев — они держались особняком и все время оживленно спорили. Но самым интересным пассажиром был пожилой болгарин; он одиноко сидел за ломберным столом и исподлобья поглядывал на посетителей кают-компании, не снимая надвинутой на самые брови круглой шапочки. В расшитых бисером сафьяновых сапогах, в пышном поясе, с меда-

лями и крестиками на широкой груди и огромным маузером на шнуре, седобородый и отяжелевший с годами, он казался особенно красивым. Победоносцев с любопытством смотрел на загорелого усталого человека, портреты которого были напечатаны во всех одесских газетах: капитан парохода рассказал, что старый болгарин прославился в первых сражениях нынешней войны и турецкий паша много лир обещал за голову храбреца. Скрипнула дверь, и в кают-компанию вошел Пылаев. На нем не было уже ни серого туристского костюма, ни желтых щеголеватых краг. В военной форме, мешковато топорщившейся на широкой спине, Пылаев казался выше и тоньше. На груди его висело штук пять бронзовых медалей.

— Где наворовал? — тыкая пальцем в грудь Пылаева, спросил Тентенников: он теперь не мог без раздражения смотреть на этого человека.

Пылаев молчал и старался держаться подальше от своего недруга.

Рассветало. Заревел пароходный гудок. Издалека отозвался смутный нарастающий гул голосов. Летчики вышли на палубу и увидели маленький городок, раскинувшийся на берегу Дуная. Это был Руцук. Почти все пассажиры сошли на пристань. Пылаева и худенького господина, его попутчика, тоже переодевшегося в военную форму, никто не встречал. Хоботов нанял экипаж, запряженный парой, и поехал в город. Летчики и механики остались ждать на пристани. Здесь Быков и Победоносцев расстались с Тентенниковым: он поехал на пароходе дальше, в Белград. Расцеловались, пообещали встретиться в Адрианополе, помахали кепками, и вот уже последние клочья дыма растаяли в липком тумане.

Хоботов вскоре вернулся и приказал ехать в гостиницу.

В гостинице было скучно, и летчики разбрелись по городу. В тесной сладкарнице заказали бутылку вина и яичницу. Победоносцев рассказывал о давних боях за Руцук, и его слушали внимательно: всех интересовало прошлое Болгарии.

Вечером поехали на прием к губернатору, а оттуда — к одному учителю местной гимназии, невысокому стройному болгарину с темнокарими внимательными глазами и широкой улыбкой, красившей его смуглое лицо, чуть

тронутые отметинами оспы. В квартире было много русских книг, на стенах висели репродукции с картин русских художников, все здесь дышало Россией, и Победоносцев с радостью перелистывал свежие книги петербургских толстых журналов, только накануне прибывшие в Рущук.

— Главное, помните, что нельзя судить о Болгарии по тому отношению, которое будете встречать в высших сферах, — говорил болгарин, угощая летчиков папиросами из крепкого, пряного табака. — Кобургская иностранная династия ненавистна народу, прусские юнкера здесь интригуют против России, та часть офицерства, которая училась в Германии, настроена германофильски. Понятно, орудуют в Софии и английские агенты, мечтая о поживе в будущем. А в народе сильна любовь к России, к русской культуре, и стоит только вам сказать болгарскому крестьянину или рабочему, что вы — русские летчики, и тотчас откроются перед вами все двери, тотчас распахнутся все сердца. . .

Сам он недавно побывал на Шипке, в русском монастыре, превращенном в госпиталь для раненых болгарских солдат и офицеров, и переданные учителем бесхитростные рассказы солдат больше познакомили летчиков с характером народа, чем сенсационные статьи в петербургских газетах. Расставаясь с учителем, уговорились снова встретиться с ним на обратном пути в Россию.

Через два дня пришли ящики с самолетами. Их погрузили на платформу и с товарным поездом отправили в Софию.

В центре Софии стоял царский дворец, обнесенный высокой стеной. Как и дворец русского императора, он был выкрашен в темнокрасный цвет. У железных ворот были две полосатые свежеевыкрашенные будки. У будок стояли часовые, и штыки их тускло чернели в тумане.

София слыла одним из знаменитейших городов Европы. Здесь перекрещивались интересы великих держав. Издавна правительства Германии и Англии посылали сюда своих наиболее ловких и пронырливых дипломатов, интриговавших против России.

Болгарский крестьянин в жилете, надетом поверх рубахи, в широких шароварах, попав в Софию, долго приглядывался к бестолковой сутолоке базара и внимательно

слушал рассказы о боевых действиях. Болгария жила теперь войной. С радостью узнали рабочие и крестьяне, что в Софию прибыли русские летчики. Настоящая Болгария, бедная мужицкая страна, теснилась по отрогам Балкан, мечтая о лучшем будущем. Прекрасен болгарский край, ясны его просторы, могуча его природа. В лесах Странджини Планины в ясные ночи далеко разносится волчий вой. На пастбищах по крутым скалам прыгают горные козы. В Родопах идут дожди, и кажется, что мглистое небо медленно падает на землю. В долине роз — Казанлыке — редко выпадает снег, шумят вековые дубы, пьянит душевное благоухание цветов, и на десятки верст разносится нежный запах.

В Софии в русском посольстве Победоносцеву дали толстую пачку русских и иностранных газет, и он узнал много нового о происходящих в Турции событиях. Германские офицеры, под руководством генерала фон дер Гольца, переименованного в Гольц-пашу, находились теперь на фронте. Берлинские авиационные заводы снабжали турецкую армию аэропланами и отправляли на фронт немецких летчиков. Летчик Рентцель с двумя бипланами фирмы «Отто» отбыл в турецкую армию. Однако, отправляясь в Турцию, он не позаботился о запасных частях для аэропланов, и поэтому его машины еще ни разу не совершали полетов.

Немецкие военные орудовали не только в турецкой армии — они находились и в Болгарии, пользуясь покровительством царя Фердинанда.

В Софии на каждом шагу встречались русские, особенно много было прибывших из России врачей, организовывавших госпитали и лазареты для болгарской армии. Один из русских врачей, приятель отца Победоносцева, предупредил Глеба Ивановича, что надо подальше держаться от Пылаева, — очевидно, бывший администратор Тентенникова прибыл в Болгарию с каким-нибудь секретным заданием от охраны — всего вероятнее, для слежки за находящимися в Болгарии русскими.

После этого разговора летчики старались не попадаться на глаза Пылаеву, да он, казалось, и не обращал на них внимания.

Целые дни он играл в карты, вечером разгуливал по Софии с худеньким человечком в военной форме, назвав-

шимся поручиком Гдовским, пил ракию — водку из слив — и громче всех кричал в ресторане. Как-то вечером он подошел к летчикам и сказал, что уезжает в Мустафа-Пашу. Победоносцев огорчился, что придется снова встречаться с этим человеком: отряду было приказано ехать туда же. Один только Хоботов, видимо боявшийся поездки на фронт, оставался в Софии под каким-то благовидным предлогом.

Поезд уходил из Софии вечером. Летчики сидели в купе и рассматривали карту, на которой синим кружком был обозначен осажденный Адрианополь и красным — древний Царьград.

— Наконец-то, — сказал Победоносцев, — наступает наш час. Нынешняя наша экспедиция войдет в учебники военной истории — ведь над Адрианополем мы испытаем самолеты во время боя.

— Ты прославишься, что ли? Может, с неба возьмешь Константинополь? — усмехнулся Костин.

— Нет, не потому. До сих пор авиация не применялась в боях, а мы теперь такое показать сможем. . .

— Ну и показывай! — рассердился Костин. — А мне кажется, что тяжеленько нам здесь будет.

Победоносцев обиделся и замолчал.

— Напрасно вы на него взъелись, — вмешался в разговор Быков, — он прав: пройдет еще несколько лет, и без авиации ни одна армия не сможет победить. Правильно говорил Попов, что зрячий карлик сильнее слепого великана. . . Но это еще дело будущего, а пока мы только будем летать над осажденной крепостью.

Вдали сверкнули белые вершины Родопских гор, и летчики подбежали к окну.

Вскоре поезд остановился: впереди произошло крушение, и товарные составы загородили дорогу. Поезд стоял два дня, и летчики ночевали не в вагонах, а в деревеньке, расположенной у самого моста.

Каждый вечер они приходили в крайний дом, единственный, в котором остались жители, и кипятили чай на жалком, наполовину разрушенном очаге.

Ждать отправки поезда было мучительно, и летчики совсем не отдохнули. Все время они бегали то в халупу, то из халупы, кипятили чай, играли в карты и узнавали, скоро ли двинется состав в Мустафа-Пашу.

Темная южная ночь была особенно тосклива в тесной халупе с разбитыми окнами. Издалека доносились оружейные залпы: союзная армия бомбардировала Адрианополь. Только через два дня состав тронулся дальше.

Путь в Мустафа-Пашу был утомителен, но шел он по синим лощинам, по диким, величественным взгорьям. Летчики стояли у окон и видели, как постепенно карабкался в гору рельсовый путь. Ручьи, гремя, падали с обрывов, и в белой кипящей пене ломалась радуга. Артиллерийская канонада нарушала покой долин. Дорогу починили плохо, поезд часто останавливался, и только к вечеру увидели летчики крохотный синий огонек, горевший у въезда в Мустафа-Пашу.

— Русские летчики? — спросил Быкова на другой день молодой генерал. — Аэропланы в порядке? Скоро придется летать. . . Предупреждаю, — все так же начальственно продолжал он, — летчикам нашиваются эполеты подпоручиков, но вход в офицерское собрание воспрещен.

К вечеру на пригорке были разбиты палаточные ангары, и началась сборка самолетов. Место было неудобное, глинистое, ноги вязли в грязи, работали молча, прислушиваясь к отдаленным взрывам снарядов: от Мустафа-Паши только двенадцать верст до осажденного Адрианополя.

Ночью, окончив работу, сели поесть и не успели даже нарезать хлеба, как пошел дождь, и палатки залила вода. Пришлось перебираться выше. Под утро заснули коротким беспокойным сном в ящиках из-под самолетов.

В Мустафа-Паше помещалось командование наступающей болгарской армии. Маленький турецкий городок с мечетями, с мостом через Марицу и скверными шашлычными был ключом к Адрианополю. Здесь стояли болгарские и сербские войска, выжидая дня, когда можно будет начать штурм древнего города.

Мустафа-Паша недавно был занят болгарами, и повсюду еще сохранились следы зверств отступающей турецкой армии. Немногие уцелевшие в этих местах болгары рассказывали о чудовишных истязаниях, которым подвергали турки местное славянское население. Летчики видели на дорогах трупы с выколотыми глазами, женщин, у которых были выломаны руки и вырезаны груди,

они видели разоренные села, сожженные дома, однажды в поле нашли труп болгарского мальчика с отрезанными ушами. Победоносцев признавался Быкову, что теперь по ночам мучат его кошмары — он видит почерневшие, изуродованные лица мирных болгарских крестьян.

В Мустафа-Паше часто шли дожди, город стал еще грязней и неуютней. Русские летчики сидели вечерами в грязной сладкарнице, прислушиваясь, не раздастся ли, наконец, гул адрианопольских орудий. Ожидания были напрасны: окруженный город молчал, и никто не знал, что таится в этой тишине. Начальник аэродрома пришел однажды к Быкову и долго говорил с ним. На следующее же утро было приказано вылететь в Адрианополь и произвести воздушную разведку. Весь отряд провожал летчика. С волнением ждали его возвращения: Быкову было суждено стать первым русским летчиком, участвовавшим в войне. Через полтора часа он вернулся, веселый и разговорчивый: с высоты Адрианополь был прекрасно виден. Огромные толпы турок собрались на улицах города и с удивлением следили за полетом диковинной машины.

После этого несколько дней полетов не было. Пылаев и Гдовский неизвестно почему тоже оказались на аэродроме, но большую часть времени они проводили в сладкарницах, курили, пили спирт и передавали петербургские сплетни.

Победоносцев случайно подслушал их разговор и снова предупредил летчиков, что с ними следует вести себя осторожней: Пылаев и Гдовский — явные филеры. Вернешься в Россию — они доносить будут. Как-то вечером Гдовский подошел к Быкову, взял его под руку и начал рассказывать о последней забастовке в Петербурге.

— Молодцы ребята, надо, наконец, взяться за ум и сбить царя Николашку с катушек.

Быков ничего не отвечал, но Гдовский пытливо поглядывал на своего неразговорчивого слушателя и кашлял в кулак.

— Мужества не хватает, — выхаркивал он со слюной. — Я с самого начала заметил, — громогласно заявил он, раздувая ноздри, — что вы из наших. . .

— Отстаньте от меня, — крикнул Быков, — никакой я не ваш!

Гдовский пожал плечами и ушел, но на следующий день, встретившись на аэродроме, как ни в чем не бывало ласково помахал рукой.

В полночь развело последние тучи. Утром механики возились возле аэроплана Победоносцева. Сам он ходил по пригорку, покашливая и то подымая, то опуская воротник желтой кожаной куртки: ему предстояло сегодня заниматься не только воздушной разведкой — он должен был произвести первый опыт бомбометания. Гдовский и Пылаев спорили и собирались разрядить найденную ими неподалеку турецкую гранату. Быков, прислонившись к ящику, курил.

— Что вы делаете? — крикнул кто-то из летчиков Гдовскому. — Разве так разряжают гранату?

Гдовский сидел на земле и осторожно бил капсюлем по камню. Пылаев стоял рядом и следил за его работой.

Летчики собрались возле аэроплана. Послышались приветственные голоса. Полковник Васильев, болгарский начальник аэродрома, махнул рукой. Вдруг раздался взрыв. Солдаты и офицеры бросились к Победоносцеву, но крик донесся с другой стороны. Побежали туда. На земле, раскинув руки, лежал Гдовский. Рядом с ним, зажав руками окровавленный рот, стонал Пылаев.

Гдовский никогда не был военным. Уезжая на фронт, он надел офицерские погоны. На этот раз военные забавы кончились плохо: Гдовскому пришлось проваляться месяц в госпитале, а Пылаев, у которого выбило три передних зуба, на следующий день уехал в Софию...

Все были так заняты Гдовским и Пылаевым, что не заметили, как поднялся аэроплан.

Полет начался прекрасно. Вскоре Мустафа-Паша остался позади. Марица, трудясь, пробивалась через горный развал. В синих долинах клубился туман. Яркозеленые горные луга блестели, словно вымытые. Вдали сверкнул купол огромной мечети. Прямые минареты окружали ее со всех сторон. Победоносцев узнал знаменитую мечеть Селимие и сразу же увидел Адрианополь. Кварталы города, разрушенные артиллерийской бомбардировкой, ды-



мились. Но вот уже далеко, далеко остался город. Безлюдны поля. По шоссе идут войска. Услышав гул мотора, отряд остановился. Передние выстрелили из винтовок. Победоносцев поднялся выше и дернул ногой веревочку. Бомба, привязанная к веревочке, упала. Прошло несколько, как показалось ему, невыразимо долгих секунд, — Победоносцев напряженно смотрел вниз — и вот уже увидел белое облачко взрыва. Пока шла стрельба, он потерял из виду Адрианополь; когда же попытался снова найти мечеть Селимие, ее уже не было видно. Огромная грозовая туча с рваными широкими краями летела навстречу. Победоносцев обошел ее и попал в полосу дождя. Косые струи падали на аэроплан и прибавали к земле. Прошло немного времени, а он окончательно потерял направление и стал снижаться. Стремительно падали на горы тучи. Вдруг в узком просвете Победоносцев увидел землю, — косая тропинка ползла в гору, и зеленый луг казался особенно ярким и просторным. Летчик решил идти на посадку.

Его сильно потрянуло, и на несколько минут Победоносцев потерял сознание. Наконец он сполз на землю. Крылья аэроплана были пробиты пулями, шасси сломано. Коснувшись земли, он почувствовал на миг боль в сломанной когда-то ноге. Он отошел от аэроплана. Одиночество было неприятно, но уйти от машины Победоносцев не хотел, сел на пень, закурил и прислушался. Было тихо, только немолчный шум падающего дождя да гуденье деревьев нарушали глухую, замороженную тишину.

Победоносцев услышал кашель, потом чей-то торопливый шопот, и два человека с разных сторон выбежали на поляну. Они бежали с винтовками наперевес прямо на него и кричали хриплыми, простуженными голосами.

— Братушки! — крикнул по-болгарски Победоносцев.

Он ясно, до мельчайшей морщинки, видел их усталые бородатые лица, мокрые на груди и плечах рубашки, вороненные штыки винтовок.

— Братушки! — крикнул еще раз, предчувствуя непоправимую беду, и только теперь разобрал, что кричали они на каком-то чужом, незнакомом ему языке.

Глеб выхватил револьвер и выстрелил наугад. Он не успел еще понять, ранен ли турок, как почувствовал тяжелый удар по спине.

Он поднялся и схватил за руку ударившего его турка. Где-то вблизи шла схватка.

— На нож, на нож!<sup>1</sup> — кричали по-болгарски солдаты.

Победоносцев выхватил винтовку у турка и тотчас же потерял сознание. Очнувшись он уже в Мустафа-Паше, куда перенесли его на руках болгарские солдаты. Неделью пролежал он в постели, когда же поднялся, узнал, что обстановка на фронте изменилась. Болгарская армия, обложив Адрианополь, пока не собиралась брать его штурмом, и боевые операции были перенесены на другие участки.

Еще несколько разведывательных полетов совершили летчики над расположением турецких частей и, как только было заключено перемирие, стали собираться домой.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ



Через два месяца по пути в Константинополь летчики, возвращавшиеся на родину из Мустафа-Паши, встретились с Костиным, который побывал в турецком плену. В кают-компании парохода они проводили долгие вечера, рассказывая о приключениях последних недель. Костина сначала хотели повесить, и он уже приготовился умереть — написал даже прощальные письма родным, — но в последнюю минуту случайность спасла пленника: он заболел и пролежал в больнице до перемирия.

Вместе с летчиками возвращался в Россию и молодой морской лейтенант Филиппов. Он сдружился с ними и много рассказывал о Константинополе, Балканах, об английской политике в Турции. Филиппов был прикомандирован к штабу Черноморского флота, и ему приходилось часто бывать в Константинополе.

— Вы уж нам покажите Царьград, — сказал Победоносцев, — хочется посмотреть старый город, — бог весть, попадешь ли еще когда-нибудь туда.

— Обязательно покажу, я ведь Константинополь хорошо знаю, — без проводников, никого не расспрашивая, проведу из одного конца города в другой по кратчайшей дороге.

---

<sup>1</sup> В штыки, в штыки!

По трапу русского парохода «Добрыня Никитич» летчики сошли в лодку и сели на покрытую пестрыми коврами скамейку. Вскоре лодка врезалась в песок, подбежали посыльные, взяли чемоданы, портпледы, и летчики пошли налегке в подворье Афонского монастыря, где обыкновенно во время своих приездов в Константинополь останавливался Филиппов. Им дали небольшую комнату с пятью кроватями и низким столиком.

Выпив по стакану французского вина, летчики сразу легли в постели, но Филиппову не хотелось спать, и он медленно прохаживался по комнате, дымя папиросой.

— Удивительный город, — говорил он. — В Царьграде каждый раз находишь новые черты. Он очень провинциален, застой во всем, — я сказал бы, что он главное препятствие быстрому развитию Ближнего Востока и Балкан. Недаром наши ретрограды, даже из числа самых злых ненавистников ислама, особенно когда-то боялись, что после поражения Турции в одной из предстоящих войн Константинополь будет объявлен вольным городом. Они утверждали, что Царьград нейтрализованный станет резиденцией мировой революции, центром всесветного нигилизма...

— Неужто вы верите в близость европейской войны? — спросил Победоносцев. — На Балканах скоро станет спокойней. Германия и Австрия бряцают оружием, но, кажется мне, когда о войне столько говорят, она обычно не приходит.

— Велика тайна рождения войны, — задумчиво сказал Филиппов. — Мне приходилось много заниматься военной историей, и каждый раз источники подтверждали одно: современники легкомысленно относят ее в будущее, в то время как враг уже стучится в ворота их страны. Впрочем, завтра мы сумеем поговорить с вами о будущем, а сейчас пора на боковую: ведь с утра отправимся на прогулку по городу.

Он погасил лампу, и вскоре все заснуло.

Рано утром, когда туман подымался с Золотого Рога и анатолийские берега плыли в розовом свете, летчики и Филиппов вышли из подворья. Город уже просыпался. На черепичной крыше низкого дома стояли аисты. Хлопая клювами, безголосые птицы, очевидно, как-то разго-

варивали, но среди других поющих и щебечущих птиц они казались глухонемыми.

— Красота какая, — говорил Филиппов, показывая на огромный раскаленный шар, катящийся из-за зеленых гор Анатоли-Кивака.

Летчики напряженно вглядывались в туманную даль Золотого Рога, в розовую дымку на анатолийском берегу, прислушиваясь к скрипу уключин.

Пароход должен был уйти поздно ночью, и они не спеша ходили по людным улицам Константинополя. Прежде всего отправились на базар: ведь в восточном городе базар — средоточие жизни, главное место встреч и знакомств, политических бесед и обмена новостями.

Несмотря на ранний час, на базаре уже было многолюдно и шумно. На корточках сидели лудильные мастера в дырявых халатах и лудили кастрюли. На скорую руку тут же пекли и чуреки, делали клейкую сладость из риса, сахара и молока; отведав ее, летчики долго чувствовали во рту неприятный вяжущий привкус.

По кривым переулкам и проходным дворам минут через сорок вышли на широкую улицу, обсаженную кипарисами и чинарами. Неподалеку отсюда начинается древний тракт на Адрианополь, путь на Россию, к дальнему дунайскому гирлу.

Филиппов повел летчиков к переделанному в мечеть древнему византийскому храму.

Уплативши по десять пиастров, они надели широкие мягкие туфли и вошли в дряхлый, душный простор Айя-Софии.

Медленно, тягуче поучал верующих проповедник под воркотню голубей, неторопливо летающих по храму.

Бесчисленные колонны удивляли раскраской мрамора. То красные с белыми крапинами, то голубые, то зеленые вперемежку с желтым, они радовали глаз неожиданными переливами цветов.

— Здесь что ни памятник старины — то сооружение византийцев, переделанное турками, — говорил Филиппов. — За каждым камнем — века...

Продолжая прогулку по городу, летчики направились в Таксим, просторный сад с навесами и кафе. Зашли в кафе. Им подали молочный кисель. Было жарко, и вкус-

ней всего показалась чистая прохладная вода с вареньем. Потом в кафе вошел оборванный певец с бритой головой и запел песню погибшей любви, песню о Наджие:

Ты не такая была раньше, моя Наджие.  
Кто же твой учитель?  
О ты, на чьей груди слева направо идет ряд ягувиц,  
По ком сгорело твое сердце?  
Кто ушел на чужбину, моя Наджие,  
Ты подумала, что он уже не вернется,  
Кто лежит в тюрьме, неужели, моя Наджие,  
Ты подумала, что тот из нее уже не выйдет?  
Я тебе закажу, моя Наджие,  
Из слоновой кости гребенку,  
Причеши свои кудри, моя Наджие,  
И откинь их набок.

Вертевшийся возле летчиков человечек с сизым носом слово за словом перевел затейливые слова песни. Победоносцев вслушивался в простой напев, и песня чем-то напоминала ему пережитое — ведь, уезжая на войну, он даже не успел попрощаться с Наташей. Зато как она будет рада теперь, встретив его живым, здоровым и по-прежнему бодрым... А ведь тогда, под Адрианополем, он был не больше чем в двух шагах от смерти...

У летчиков не было никаких интересных встреч, никаких — довольно частых в Константинополе — уличных приключений, а память о том дне жила долго.

Ночью тихи улицы Стамбула. К одиннадцати часам засыпает столица, стихают переулки, смолкают базары, в легком забытии, в полудремоте спят чинары на берегу Босфора. Тихо колышутся кипарисы. Ночью отдыхает Стамбул, и только на окнах публичных домов в бельэтажах горят фонари. Кочевой суховатый дымок плывет над Стамбулом, и, словно колеса арб, поскрипывают двери домов.

Летчики шли по притихшему городу, и Филиппов медленно говорил, вглядываясь в дымный простор:

— Советую вам лучше запомнить виденное сегодня. Теперь уже не скоро удастся нам побывать в Константинополе. Война неминуема, помяните мое слово, — и Турция выступит против нас...

Не было за всю историю России как морской державы такой эпохи, когда бы наши флотоводцы не думали с тревогой об угрозе со стороны черноморских проливов.

В Черное море впадают воды многих судоходных рек юга. Почти на две тысячи верст тянулось в ту пору наше неукрепленное черноморское побережье. Корабли уходили из десятков русских черноморских портов. Но Черное море — закрытое море. И, образно говоря, замок от него — в руках турок. Захотят турки — и закроют море на замок, и оно сразу превратится в озеро. Захотят — и пропустят к русским берегам флот любой враждебной России державы, — так прошли через Босфор английские и французские корабли во время Крымской войны и Севастопольской обороны...

В тот день Филиппов долго рассказывал о нынешнем положении Турции, и летчики внимательно слушали его повествование: этот невысокий задумчивый человек воистину лучше любого ученого знал Константинополь, его прошлое и настоящее. Он рассказал, что в годы султана Абдул-Гамида по улицам города бродили тысячи шпионов. Хамид — осел — было запретное слово в те дни, и окликать длинноухого упряма погонщики осмеливались только на самых глухих улицах турецкой столицы: шпионы могли донести, что ослом обозвали Абдул-Гамида. Журналисты не смели употреблять в статьях многозначия, а таинственные слова «продолжение следует» мог вставить в фельетон только самый отчаянный смельчак. В страшном гнете жила в Турции крестьянская беднота, — ее положение не улучшилось, когда пришли к власти младотурки, заключившие соглашение с кайзеровской Германией.

Младотурки начали думать о будущем флоте и убедились, что современных военных кораблей в Турции мало. Были адмиралы в турецком флоте, служба которых от первого до последнего дня проходила на посыльных судах.

Бредовая мысль о распространении турецкого владычества на весь мусульманский Восток нашла среди младотурок самых ярых сторонников.

В последнее время они решили усилить свой флот, и комиссионеры турецкого правительства разъезжают по столицам трех материков, вступая в бесконечные торги

с судостроительными компаниями, — особенно длительные и секретные переговоры ведутся с Германией и Бразилией...

— Но поверьте мне, — говорил Филиппов, — что младотурки не будут тратить большие деньги на покупку боевых кораблей... Ведь как только настанет война, государство, которое будет воевать с Россией, само — и без всякой платы — пришлет свои корабли в черноморские проливы.

Когда пароход уже отдал швартовы, Победоносцев сказал, глядя с верхней палубы на удаляющиеся огни Константинополя:

— Оракул какой-то, седьмого, кажется, века, предсказал, что счастливы те, кто поселится в священном городе на Фракийском море, отовсюду омываемом водою, при устье Понта.

— Очень счастливы? — спросил Быков.

— Очень. Там-де в изобилии водятся олени и рыбы.

— Не знаю, были ли счастливы первые насельники этих мест, а уж нынешние жители Константинополя пожаловаться на местоположение своего города не могут, — сказал Филиппов. — Целые десятилетия турецкой истории были, собственно говоря, торгами с переторжками из-за проливов. Прибыли от транзитного мореходства гальванизируют одряхлевшее тело оттоманской империи.

Путь до Одессы прошел без особых приключений, и в порту летчики расстались со своим попутчиком, направлявшимся в Севастополь.

— Что же, может, доведется нам когда-нибудь встретиться, — сказал Филиппов, прощаясь, — вдруг еще на большой войне повидаемся...

Не задерживаясь в Одессе, сразу направились в Петербург. Быков и Победоносцев ехали в купе второго класса.

В том же купе ехал и Пылаев. Он сел в вагон раньше, чем Быков и Победоносцев, сразу разделся, накрылся одеялом и задремал. Проснулся он, когда поезд уже тронулся. Разбудила его не обычная вагонная тряска, а разговор соседей. Пылаев собирался было скандалить и звать кондуктора, но, прислушавшись, узнал голос Быкова.

Ему стало неприятно. Он не успел еще вставить зубы, и дыра во рту каждую минуту напоминала о встречах в Мустафа-Паше. «Что теперь делать?» — подумал Пылаев, накрывая голову одеялом и осторожно посапывая.

Летчики говорили громко, и он отчетливо разбирал каждое слово. Он перевернулся на бок, спиной к говорившим. Они смеялись, вспоминая какую-то встречу в Мустафа-Паше.

Впрочем, лучше было сойти с поезда, чем ехать в одном купе с приятелями Тентенникова.

Ночью, когда они заснули, Пылаев осторожно, стараясь не шуметь, оделся, снял с полки свои чемоданы и на цыпочках вышел из купе. Поезд остановился на маленькой станции. Не раздумывая долго, Пылаев схватил чемоданы и через минуту стоял уже на неосвещенной платформе. Поезд, сверкая огнями, пролетел мимо Пылаева и сразу же исчез за поворотом.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ



Кончилось время гастрольных поездок летчиков по провинции.

Вернувшись в Петербург, Быков поступил на работу на Шетининский авиационный завод, совладельцем которого стал Хоботов. Победоносцев работал в аэроклубе инструктором, а Тентенников стал сдатчиком самолетов на Русско-Балтийском заводе. Друзья редко встречались теперь; к Победоносцеву приехала Наташа, и он, как насмешливо говорил Тентенников, всерьез занялся семейной жизнью; да и сам Тентенников увлекся одной артисткой, о которой ничего не рассказывал приятелям. Впрочем, это было, судя по его словам, увлечение платоническое, и о женитьбе он не помышлял, зато стал заядлым театралом и аккуратно посещал спектакли небольшого петербургского театра, в котором играла Кубарина — фамилию-то ее удалось все-таки вывести от Тентенникова. . .

На Невском уже не было снега. Рано утром в автомобиле ехала по проспекту случайная компания, какие составляют в гардеробных при разъезде из ресторана,



в минуты неожиданной тоски по природе. В это утро несколько незнакомых и никогда не видевших раньше друг друга людей сообща наняли автомобиль и поехали на острова. Быков сидел рядом с шофером и молча курил. У Биржевого моста Нептун на роstralной колонне сердито грозил трезубцем, а дальше, за колонной, вздувалась черная большая река, то там, то сям вскипая полыньями, пугая глухим ропотом медленно идущего льда. Автомобиль рванулся снова вперед. Переулки Петербургской стороны, меченные таинственными восьмерками — золотыми кренделями булочных, — пробуждались от сна. На Каменноостровском проспекте вырастали этажи новых домов — разбогатевшие биржевики торопились строиться. На островах еще был снег, и когда автомобиль подъехал к Стрелке, спутники Быкова успели протрезветь, забыть о неожиданном желании слиться с природой, молчали, стесняясь чего-то, и только молодой поэт говорил о том, что здесь начинается древний берег и ветер отсюда летит на башни старого Копорья и Орешка. Поэта никто не слушал, и он замолчал тоже. Быков сошел с автомобиля и, увязая по колени в рыхлом, ноздреватом снегу, подошел к самому взморью. Он спустился вниз и долго всматривался в синюю даль треснувшего ледяного поля. Он стоял так несколько минут — и вдруг услышал гудок. Он решил, что его зовут; осторожно поднялся по лестнице и ничего не увидел, кроме красного фонарика на медленно удалявшемся от Стрелки автомобиле. Чорт возьми, о нем позабыли! Да и можно ли было полагаться на случайных знакомых?

Быков постоял еще несколько минут на узкой расчищенной площадке, потом поднял воротник пальто и медленно побрел к Елагину мосту. У моста нанял извозчика и, развалившись в пролетке, попробовал задремать. Дремал он минут пять, не больше. Где-то невдалеке надрывался свисток, и Быков проснулся, разбуженный хрипылыми, простуженными голосами. Он увидел невысокого мальчика. Мальчик быстро бежал, прижав к груди сверток. За мальчиком, придерживая шашку, бежал седой полицейский, отплеываясь и терзая свисток.

Мальчик мчался вприпрыжку, чуть приседая. Полицейский бежал деловито, не оглядываясь по сторонам. Полы шинели, надутые ветром, несли его вперед, как

парус. Быков медленно ехал в пролетке следом, не понимая еще странной горячности мальчика, молча бегущего по безлюдному пустырю Крестовского острова.

Когда пролетка поровнялась с мальчиком, он посмотрел на Быкова, на извозчика и, не раздумывая, прыгнул на подножку. Он ничего не сказал, но Быков понял, что следует торопиться, и, приподнявшись, шепнул извозчику:

— Гони, не задерживай!

— Чудак, ваше благородие, — шопотом же ответил извозчик, — взбалмошное дело, как можно...

— Да ты не беспокойся, знай гони, денег я не пожалею.

Лошадь рванула. Пролетка въехала в переулок, Быков оглянулся. Полицейский тер глаза: он не успел, должно быть, рассмотреть номер извозчика. Мальчик стоял на подножке, одной рукой держась за крыло пролетки, а другой прижимая к груди сверток.

— Ты чего? — спросил Быков, взволнованный неожиданным происшествием. — Садись! Наверно, устал. А что у тебя в руках? — спросил он, показывая на сверток.

Мальчик недоверчиво посмотрел на Быкова и молча сел рядом. Он тяжело дышал и поминутно оглядывался: не бежит ли кто следом.

Было ему не больше шестнадцати лет.

— Что ж это у тебя? — обиженный недоверчивостью своего негаданного спутника, сказал Быков и выхватил сверток.

Серые глаза мальчика взглянули на Быкова с ненавистью и злобой, и летчику вдруг стало неприятно, что он обидел незнакомого человека.

— Да нет, что ж ты, я пошутил, — пробормотал он, возвращая сверток, но сверток развернулся, и Быков увидел полотнище красного знамени, вдоль которого белыми буквами написаны были какие-то слова. Обернувшись к спутнику, Быков спросил:

— Ты заводский?

Тот молчал. У Большого проспекта конный полицейский патруль загородил улицу. Издалека донесся многоголосый гул двигающейся толпы. Красное знамя показалось в дымном просвете.

— Демонстрация! — крикнул мальчик и спрыгнул с пролетки.

Быков растерянно посмотрел ему вслед. Пролетка остановилась на перекрестке, — здесь стояла уже длинная вереница извозчиков и автомобилей.

— Не пропускают, — подумав, сказал извозчик. — Рассчитаться бы нам...

Рассчитавшись с извозчиком, Быков пошел к Большому. Только теперь он понял, почему демонстрация состоялась именно сегодня: нынче годовщина расстрела на Ленских приисках. Рабочие на заводе показывали ему позавчера выпущенные к этому дню Петербургским комитетом большевиков нелегальные листовки. Он был рад демонстрации. Страшно было читать известия из далекой тайги, память о рабочих, расстрелянных по приказу хозяев, жила в каждом сердце. Он попробовал выйти на проспект, но не сумел пробиться сквозь полицейскую цепь. Тогда он свернул в боковой переулочек и вдруг увидел толпу человек в полтора-два или двести, медленно движущуюся по переулочку, должно быть тоже в обход к Большому. Демонстранты шли, распевая «Варшавянку». Подумав, Быков пошел с ними. Соседи — пожилые рабочие — потеснились и пропустили его в середину ряда. Он шел, еще не зная, удастся ли выйти на Большой. Зная, не впереди толпы, а в середине, рядом с Быковым. Здесь же шел запевала — высокий мужчина, похожий по виду на отставного солдата. Толпа, должно быть, образовалась случайно, из нескольких рассеянных полицией демонстраций, и никак не могла спеться. Запевала, шедший рядом, ударил Быкова по плечу; летчик начал подтягивать хриплым после бессонной ночи голосом, и вдруг оказалось, что хору не доставало именно этой басовой хрипоты.

Пройдя переулочек, толпа уже спелась. Сделав несколько шагов, Быков попробовал было выйти из своего ряда, но сразу же понял, что пробраться невозможно. Стена вокруг знамени становилась шире, и пробиться сквозь нее не удалось.

— Едут! — взволнованно закричал кто-то впереди, и Быков увидел разъезд конной полиции, галопом приближавшийся к демонстрации. Толпа ускорила ход и рванулась навстречу разъезду. Запевала еще вел песню, и Быков подтягивал ему, с тревогой ожидая того, что произойдет через несколько минут. Еще ближе подъехали

полицейские, и он уже легко мог рассмотреть их красные, потные лица.

— Позор палачам! Да здравствует революция! — закричали передние. С трех сторон полицейские врезались в толпу. Кто-то упал. Нагайка скользнула по лицу Быкова. Рука, которой он провел по лицу, стала красной от крови. Кепка упала в грязь — ее затоптали... Знамени уже не было видно. Запевала бросился на лошадь, со страшной силой рванул ее за уздцы: лошадь поскользнулась и упала вместе с всадником. Еще несколько минут, защищаясь, кричали люди, и вдруг толпа рассыпалась. Люди бросились в разные стороны. Быков побежал вслед за другими. Его еще раз успели полоснуть нагайкой по спине, но он уже не чувствовал боли. Прошло несколько минут. Погони не было слышно. Он оглянулся. Полицейские арестовали оставшихся на перекрестке. Впереди Быкова бежали человек десять. Он узнал некоторых: они шли с ним рядом в толпе. Человек, несший знамя, задыхаясь, бежал недалеко, волоча за собой древко. Быкова охватила забота о знамени.

Он с волнением подумал, что полицейские могут вырвать знамя, разорвать его в клочки, растоптать тяжелыми сапогами. Подбежав к задыхавшемуся от усталости человеку, он сказал:

— Знамя!

— Вот, — ответил тот, протягивая ему знамя и садясь на тротуар. — Не могу дальше. Беги.

Быков выхватил знамя, оторвал его от древка и побежал по улице. Возле деревянного дома он оглянулся. Ни полиции, ни казаков не было видно. Человека четыре подбежали к нему. Он развернул знамя и зажал край полотнища в правой руке. Отовсюду стали сбегаться люди. Он снова оказался в середине толпы; теперь уже он сам нес знамя. Толпа пошла вперед, но, пройдя шагов пятьдесят, остановилась: навстречу бежала другая толпа, и следом за ней мчались полицейские. Ненависть, охватившая рабочих, передалась Быкову, и он готов был убить первого полицейского, который решился бы броситься на демонстрантов. Видя бесполезность сопротивления, рабочие начали по одному, по два уходить в переулки.

— Спрячьте знамя, — сказал кто-то Быкову, растерянно смотревшему на приближавшихся полицейских. Он

свернул знамя, запахнул пальто и вбежал в подъезд соседнего дома. Прошло минут пять. Оглядевшись, он заметил, что стоит в подъезде трактира, и швейцар, открыв дверь, повторяет:

— Милости просим!

Его удивило приглашение седобородого швейцара. Взглянув в зеркало, он не узнал себя — взлохмаченного, без кепки, с залитой кровью щекой, со сбившимся на сторону галстуком. И все-таки дорогое пальто, купленное во время гастрольной поездки по югу, внушало уважение. Швейцару и в голову не пришло, что этот человек еще несколько минут тому назад был знаменосцем в рабочей демонстрации.

Не раздеваясь, Быков прошел к окну и увидел, как пробежали полицейские, как проехал в пролетке пристав. Прошло еще немного времени, и улица затихла.

— Где вас подбили? — удивленно спросил буфетчик.

— Чорт его знает, — равнодушно ответил он, — шел по улице, вдруг навстречу мне демонстрация. . .

— Известные хулиганы, — с понимающим видом сказал буфетчик, — им неважно, какое пальто на человеке, — абы суতোлка была. У нас, в Союзе Михаила архангела, третьего дня докладывал Владимир Митрофанович Пуришкевич: будто новую революцию готовят. Хозяев отовсюду прогнать задумали, да и на самого государя посягают. . . Да шляпа-то ваша где? У швейцара оставили?

— Потерял я шляпу, — не зная, как отделаться от словоохотливого буфетчика, ответил Быков.

— Что же вы не сказали? У нас завсегда шляпы от гостей остаются, — кто убежит, не заплатит. . . Да вы бы мне раньше сказали. . . Вот, хотите, недорого уступлю, — извлекая из буфета засаленную коричневую шляпу, осклабился он, — в самый раз вам будет. . .

Быков купил шляпу и пошел к выходу. То ли он сделал неуклюжее движение, то ли оторвалась пуговица, — но пальто распахнулось, и знамя упало на пол.

— Что вы, господин, уронили? — подымая знамя и подозрительно посматривая на летчика, спросил буфетчик.

Быков выхватил знамя и, не оглядываясь, вышел из трактира. Ему казалось, что за ним бегут, но буфетчик, должно быть, не сразу сообразил, в чем дело, — когда он опомнился, Быков уже подходил к Большому.

На этом углу оцепления не было. Быков нанял извозчика и поехал на Невский. По улицам навстречу шли небольшие колонны, и теперь он видел демонстрацию со стороны.

Извозчик ловко объехал патрули, но возле Казанской остановился — дальше двигаться было невозможно. По проспекту шла огромная демонстрация. Она не походила на те небольшие толпы, которые двигались по Петербургской стороне, — налететь на такое сборище решился бы не всякий патруль. Быков не хотел стоять на тротуаре, рядом с любопытствующими завсегдатаями Невского проспекта, приподымающимися на цыпочки, чтобы лучше видеть. Он снова вошел в ряды демонстрантов.

Пройдя шагов десять, он вспомнил о знамени и поднял его над головой.

— Откуда? — спросил кто-то.

— С Петербургской.

— Ну, как там? Нагайкой тебе щеку рассекли?

— Разогнали, сволочи, — с ненавистью ответил Быков. — Но мы сюда пришли.

— Эге, да это совсем другое дело. Тут и поговорить можно, — сказал кто-то знакомым ласковым голосом. Быков вздрогнул, обернулся — и узнал Николая.

— Николай! — крикнул Быков. — Я только вчера узнал, что ты на нашем заводе работаешь, в механической мастерской, а ты сам меня разыскать не догадался.

— Тсс... — Николай приложил палец к губам и недовольно поморщился. — Не так рьяно, товарищ летчик, не так рьяно...

Они пошли рядом.

На углу Садовой демонстрацию окружили. Рабочие начали медленно расходиться.

— Ну, вот, — решился, наконец, Быков начать разговор. — Вот мы и свиделись. День-то какой горячий... Так бы и шел всю жизнь в этом ряду.

— Видел? — спросил Николай.

— Десятки тысяч шагали...

— Десятки? Скоро будут миллионы, а не десятки тысяч...

Они свернули на Караванную, и только Быков приготовился спросить о судьбе Ваниных родителей, как Николай взял его под руку.

— Смейся, пожалуйста, смейся и слушай, что я сейчас тебе буду говорить! Да смейся же, чорт возьми!..

Летчик улыбнулся.

— За нами увязался шпик, от которого я не могу отделаться с самого утра. Постарайся отвлечь его... на углу мы распрощаемся... да не оглядывайся же, чорт возьми, — он поймет... распрощаемся... ты повернешь назад... он в светлой шляпе, в калошах... подойди, попроси прикурить... и как-нибудь постарайся задержать хоть на пять минут... прощай... завтра разыщи меня на заводе. Там мы с тобой потолкуем...

Николай скрылся в переулке, а Быков повернул обратно и через минуту оказался лицом к лицу с белобрысым одутловатым человеком, — у филера было белое, мягкое, как подушка, лицо и коротенькие руки картежника.

— Позвольте прикурить! — попросил Быков.

Филер недоверчиво посмотрел на него.

— Некурящий я...

— Знаем мы вас, некурящих, спичку жалеешь...

Филер стал отступать, но Быков вцепился в его рукав.

— Дашь ты мне, наконец, прикурить или нет?

— Что вы пристааете? Я городовому буду жаловаться... хулиганить на улицах не полагается...

— Ах, так! — возмутился Быков, подходя вплотную и наступая на ногу филера.

Филер закричал, Быков же спокойно пошел к Невскому. Филер пошел за ним. Минут через десять, оглянувшись на углу Литейного, Быков увидел, что согляда-тай, следовавший за ним по пятам, исчез.

Вечером Быков прошелся по Невскому. Улицы стали тихими, как будто и не было днем демонстрации в столице. Конные полицейские патрули озабоченно скакали по проспекту.

Вскоре ранка зажила, но узкий шрам — отметина полицейской нагайки — навсегда остался на щеке.

Вечером Николай пришел к Быкову.

— Других гостей не ждешь сегодня? — спросил он, оглядев большую комнату с окнами в сад.

— Никого не жду...

— Вот и хорошо. Не люблю посторонних людей — каждому нужно выдумывать какую-нибудь особенную

историю о себе, а знаешь, как это надоедает после долгих месяцев, когда за тобой по следам ходят шпики...

Он сел в кресло и негромко проговорил:

— Устал дьявольски, прямо не носят ноги...

Впервые слышал Быков от Николая такое признание и удивленно поднял брови.

— Прежде не уставал...

— И прежде уставал. Или ты думаешь, что я из железа сделан? — спросил он, приглаживая мокрые волосы. — Я, знаешь ли, в баньке был сейчас, попарился, а то очень уж ломило старые кости...

— Не чаял тебя скоро встретить, — чистосердечно признался Быков, — вчера во время демонстрации чуть не заорал от радости, когда ты окликнул меня...

— Хорош бы ты был! Да меня бы тогда сразу же замели архаровцы...

— А в Питере ты давно?

— Месяц уже. Ты, кстати, меня не именуй Николаем Григорьевым. Я теперь по паспорту поляк, Станислав Викентьевич Ржевуский.. уроженец Седлецкой губернии...

— Ну уж прости, с таким носом картошкой никак нельзя за поляка сойти...

— А придется, — вставая с кровати и подходя к Быкову, сказал Николай. — Я уже по самоучителю сотню польских слов выучил и писать по-польски с грехом пополам умею...

Оба засмеялись, и Николай, прохаживаясь по комнате, весело сказал:

— А радостно было мое возвращение в Питер, хоть ни копейки денег не было, — поверишь ли, когда уезжал из Рыбинска, только на билет и хватило. Так, голодный, и промчался от Волги до Невы. Приезжаю в Питер, выхожу на Знаменскую площадь, и сразу передо мною жирная туша Александра Третьего на таком же, как он сам, жирном коне. Говорят, будто скульптор, автор этого памятника, в ответ на чей-то недоуменный вопрос сказал: «Я не собирался лепить карикатуру на царя Александра и его любимого коня. Я просто изобразил одно животное на другом». Ну вот, увидел я памятник, и до того, понимаешь ли, весело стало, что расхохотался. А есть хочется...



— Ты бы ко мне приехал...

— К тебе? А у кого адрес спрашивать? Нет, братец мой, пришлось весь день по улицам прошляться, так как к верному человеку, чей адрес мне дали в Рыбинске, раньше вечера являться было нельзя... И снова вопрос: а где же прогуливаться? На первый взгляд, на малолюдной улице спокойнее время провести, а на самом-то деле в таком случае лучше всего в толпе затеряться. В толпе ничьего внимания не привлечешь, а как в особицу передвигаться станешь, скорей обратит внимание власть держащая... Пришлось весь день по Невскому гулять — от Штаба до Лавры и обратно...

— А как же ты к нам на завод попал?

— Знакомый механик устроил.

— В Питере-то жизнь особенною стала.

— Еще бы! Ты раньше в Питере не жывал, представить не можешь, как люди теперь изменились. Вот на днях на одном заводе рабочие повздорили с администрацией, и когда стали их уговаривать, кто-то из толпы погрозил хозяйским слугам, что, дескать, недолго осталось ждать возвращения пятого года...

Давно не видел летчик Николая Григорьева таким веселым; он словно помолодел и, хоть только что пожаловался на ломоту в костях, минуты не мог посидеть спокойно: рассказывая или споря, он любил прохаживаться по комнате и сейчас не изменил своей привычке.

— А к тебе на днях ребята с завода по делу обратятся, — сказал, уходя, Николай, — так уж ты смотри, поговори с ними посердечнее...

Он посмотрел на часы и заторопился куда-то. О многом хотелось поговорить со старым приятелем, но прежде всего нужно было спросить о мальчике, с которым, по милости Николая, отец Быкова возился уже три года.

— Скажи, что с мальчиком делать?

— С мальчиком? — удивился Николай. — С каким мальчиком?

— С Ваней.

— Не понимаю, о ком ты говоришь.

— Помнишь, ты меня в Париже просил отвезти в Тулу мальчика? Я привез, никого по адресу нет — арестованы. Пришлось Ванюшку у себя оставить — вот он и живет с моим отцом...

— А, вспоминаю. Это не Вахрушева ли мальчик?

— Вахрушева.

Лицо Николая стало угрюмым и печальным.

— С Вахрушевым плохо, убит полицией при загадочных обстоятельствах.

— А мать его?

— Чья мать?

— Ванина, мальчика мать...

— Она на каторге умерла...

— Как же мне быть теперь?

— С кем?

— С мальчиком.

— Придется себе оставить. У тебя свои дети есть? Женат?

— Нет.

— Вот и хорошо, воспитывай парня. У него отец был хороший революционер, преданный, смелый.

Быков огорчился. Он часто переписывался с Ваней, но боялся, что из-за кочевой своей жизни не сумеет воспитать мальчишку; на отца он не слишком надеялся: стар, взбалмошен, вечно занят выполнением каких-то причудливых планов...

— А где твои приятели? Особенно часто я вспоминаю рыжего верзилу, который так ошарашил французов своим первым полетом. Его фамилия, кажется, Тентенников? И где твой француз-механик?

Быков рассказал о пережитом за последние годы, о друзьях, о механике Делье, работающем теперь в Москве, на авиационном заводе «Дукс».

Прощаясь, Николай еще раз напомнил, что вскоре с летчиком будет говорить один из заводских большевиков по очень важному делу.

— А сейчас ты не можешь сказать, о чем разговор будет?

— Узнаешь со временем. И помни: я на тебя надеюсь...

Щетининский завод, совладельцем которого стал Хоботов, был одним из самых первых в России авиационных предприятий. Совсем еще молодым человеком Щетинин заинтересовался летным делом и построил в Новой Деревне несколько деревянных павильонов, неподалеку от заброшенной мельницы. Здесь собирали первые русские

аэропланы. Начать дело было очень трудно, сразу нашлись конкуренты — «Дукс» и «Орел» в Москве, Русско-Балтийский завод, мастерская Ломача в Петербурге.

Щетинину приходилось проводить целые дни в приемных, вымаливая заказы. Банки отказывали в кредите. Конкуренты предлагали создать синдикат, чтобы повысить цены на машины. В двенадцатом году завод получил первый большой заказ, и положение улучшилось, но новые неприятности особенно волновали заводчика: начали бастовать рабочие. В дни забастовок они являлись с утра на завод и, не приступив к работе, расходились по домам. Часто это случалось в самые горячие и тревожные недели. Вот и теперь, когда директор вел очень важные переговоры о новых заказах, он боялся забастовки.

Дня за два до сдачи «нюнпоров» военному ведомству Хоботов возил Быкова в ресторан и угощал водкой.

— Надежда моя на тебя, — говорил он, волнуясь.

Накануне испытания Быков был на заводе. К концу дня он собрался домой и вдруг увидел, что следом идет слесарь Сидорчук — большерукий, вихрастый, с шрамом на верхней губе. За мостом слесарь подошел к Быкову и, как будто стесняясь предстоящего разговора, сказал:

— Мне рабочие поручили потолковать с вами, Петр Иванович.

— Со мной?

Слесарь закашлялся, лицо его стало красным от натуги, напряглась синяя жила на шее.

— Именно с вами разговор... Завтра мы собираемся у проходной и, не приступая к работе, разойдемся. На завтра как раз назначена сдача самолетов. Если вы не полетите, Щетинина заstopорит. Время горячее — придется ему ложиться на лопатки, уступить рабочим...

— А бастовать все будут?

— Конечно, все.

— А другие сдатчики?

— Мы уже узнавали, остальные в разъезде — кто в Гатчине, кто в Москве, так что остановка только за вами...

Быков ничего не ответил.

— Ну, как же? — переждав немного, снова спросил слесарь. — Неужели вы за Щетинина?

— Я думал, что и без слов мой ответ ясен... Смолоду я за большевиков... Конечно, буду бастовать с рабочими.

Домой Быков пошел пешком. Он хотел обдумать обстоятельно это дело. Собственно говоря, он думал не о том, следует ли завтра выходить на работу: он сразу решил участвовать в забастовке вместе со всеми. Волновало другое: ведь за полчаса до этой встречи со слесарем он договорился о завтрашнем полете. Завтра съедется на аэродром половина аэроклуба, и если публику не известят об отмене полета, сколько людей зря потеряет время, сколько пойдет разговоров по городу... Вернувшись домой, он решил вечером предупредить по телефону Хоботова. Поужинав, снял трубку телефона. Номер был занят, и Быков долго не мог дозвониться, а потом телефонистка сказала, что линия повреждена.

Утром Хоботов приехал на завод, и у него сразу екнуло сердце: возле ворот стояли рабочие и молча курили. Хоботов поздоровался, ему не ответили. Он быстро прошел в ворота, злой и расстроенный вбежал в контору, сел на стул и закрыл глаза.

— Так и знал, так и знал, что подведут. Хорошо, что хоть сдам сегодня «нюпор».

Он подбежал к телефону и позвонил Быкову. Никто не отвечал. Хоботов подошел к окну и увидел молчаливых, нахмуренных людей, угрюмо теснившихся у ворот. Из-за чего они начали? Да, он припоминает: жаловались, что велики штрафы. Пожалуй, их можно было бы уменьшить. Но ведь они требовали и сокращения рабочего дня и новых ставок. Из-за случая с кузнецом? Случай неприятный: мастер из Союза Михаила архангела ни за что ни про что обругал кузнеца Кирилла. Кирилл обиделся и пошел жаловаться управляющему Панкову. Панков защищал мастера и обозвал Кирилла хулиганом. Кирилл ответил тем же. Тогда Панков чуть не застрелил кузнеца из револьвера... Нет, и не это только... потом какая-то годовщина... Чем больше думал Хоботов, тем больше припоминал неприятных происшествий на заводе. Сказать им: согласен на все? Нет, ни за что. Вызову полицию, пусть останутся без работы... А может быть, и не стоит?

Подумав, он приказал вызвать полицию.

Конные полицейские приехали и сразу же стали разгонять забастовщиков. Хоботов ходил по конторе расстроенный и выжидал, пока разойдутся рабочие. Когда ему сказали, что все уже разошлись, он вышел из конторы.

«Вот-то беда — догадались же они бастовать в такое горячее время! Делать нечего — надо будет завтра же начать с ними переговоры». Он вспомнил, что на сегодня назначено испытание «ньюпора». Посмотрел на часы — он уже опоздал на двадцать минут, — придется извиняться, объяснять, почему так получилось.

Он сел в пролетку вместе с навесившим его военным летчиком поручиком Васильевым и приказал кучеру ехать на аэродром. Вдруг он чуть не взвыл от раздражения: по Строганову мосту шел Быков. Это было уже вовсе непонятно, и Хоботов приказал свернуть на мост. В самом начале Каменноостровского он догнал летчика.

— Петр Иванович, — закричал он еще издали, — что же такое случилось? Почему ты не на аэродроме?

Быков остановился.

— Я ничего не понимаю. Почему ты молчишь?

— Видишь ли, сегодня рабочие бастуют...

— Я и без тебя знаю...

— И я считаю невозможным летать сегодня.

— Ты серьезно отказываешься?

— Совершенно серьезно. Не хочу быть штрейкбрехером.

— Да понимаешь ли ты, что там люди ждут?

— Понимаю.

— Но ведь это же свинство. Мог ты хоть предупредить меня заранее!..

— Если ты так разговариваешь, нам не о чем толковать, — ответил Быков, отходя от пролетки.

— Петр Иванович!

— Что?

— Я тебе серьезно говорю.

— И я тебе серьезно отвечаю.

— Выручи, хоть сегодня выручи.

— Нет, на меня не надейся... Я рабочих хочу выручить, а не тебя.

Только теперь Быков заметил, что рядом с Хоботовым сидит в пролетке молодой офицер, смуглый, коренастый,

с наглым взглядом серых навывате глаз. Быков узнал его: это был Васильев, однофамилец победителя перелета Петербург — Москва, летчик из бывших кавалеристов, о проделках и авантюристических похождениях которого ходило немало рассказов в летной среде. Васильев был навеселе и насмешливо крикнул:

— Господин товарищ Быков, видимо, просто побаивается лететь — вот и выдумывает, будто бы сочувствует забастовщикам!

Хоботов усмехнулся, и пролетка снова задребезжала по мостовой.

— Прохвост! — крикнул вдогонку Быков.

— Я с тобой еще рассчитаюсь, подлец! — сказал, обернувшись, Васильев. (Не чаяли они тогда, что наступит пора, когда им действительно придется рассчитываться друг с другом, и истинную цену предстоящего расчета не знали еще!)

### ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ



Забастовка на Щетининском заводе была упорной и долгой. Никакие уговоры Хоботова не действовали — бастующие добивались точного выполнения предъявленных ими требований и только в этом случае соглашались снова встать на работу.

На второй же день после забастовки Хоботов отправил Быкову длинное, высокопарно составленное письмо, в котором, призывая на голову летчика самые страшные кары, заявлял ему об отказе «от услуг новоявленного большевика господина Быкова, каковые (услуги) теперь не нужны, так как и без г. Быкова немало есть безработных летчиков, только и мечтающих о том, чтобы заступить его место сдатчика — хорошо оплачиваемое и дающее возможность вращаться в высших кругах аэроклуба и прочей авиационной общественности».

— Эх его проняло, — хохотал Быков, перечитывая послание Хоботова. — Что же он так сплеча решил рубить насчет вращения в высших кругах? Это — как же вращаться? Наподобие волчка? Либо он намекает на коловоращение судьбы, на какое некогда жаловался Чичиков?

В тот же день Быков отправил Хоботову короткий ответ городской телеграммой: «Зря увольняешь я бы все равно ушел а времени у тебя видно стало много свободного если пишешь такие длинные письма».

Узнав об уходе Быкова с Щетининского завода, знакомые летчики обещали устроить его на работу к Меллеру, на московский авиационный завод «Дукс».

Теперь у Быкова было много свободного времени, и он смог, наконец, навестить знакомых, с которыми никак не удавалось встретиться за последнее время. Побывал он на Петербургской стороне, у Ружицкого, — и снова допоздна засиделся у старика. Ружицкий писал обстоятельное исследование о творце первого в истории человечества самолета Александре Федоровиче Можайском и целый вечер читал вслух Быкову уже подготовленные к печати главы своей работы.

— Вот погодите, — говорил старик, укутывая шарфом простуженное горло, — напишу о нем, и весь мир признает, что раньше Райтов и Блерио создал самолет великий русский изобретатель. Проект самолета Можайского, или, как он называл его, летательного прибора, создан еще до начала нашего столетия...

Несколько раз навестил Быков Глеба, посидел как-то вечер у Загорского, но чаще всего теперь встречался с Николаем.

Еще в тысяча девятьсот пятом году, во время большой забастовки, в которой Быков принимал участие, он почувал, что душа Николая по-особенному раскрывается в трудной обстановке. Он всюду был одинаков — и в тесной комнате пригорода, когда при свете чадающей керосиновой лампы читал с товарищем нелегальную книгу, и на большом митинге, где спорил до хрипоты в горле с эсерами и меньшевиками. Но на многолюдном митинге его невысокая, крепко сколоченная фигура в черном пиджаке, в подпоясанной узким пояском синей косоворотке и низких, всегда начищенных до блеска сапогах казалась особенно уместной, словно сросшейся с окружавшей его человеческой массой.

Недолго находился Николай на Щетининском заводе, а все нити нелегальной работы уже тянулись к нему. И рабочие удивлялись, откуда у этого прибывшего из

Седлецкой губернии поляка такой удивительно чистый акающий говорок и такое отличное понимание русского рабочего. Но Николай не раскрывал ни перед кем своего настоящего имени.

Первым начальником ведомства военного воздухоплавания в России был Кованько.

Развитие авиации породило карикатуристов, специализировавшихся на изображении Кованько. Генерал появлялся обыкновенно перед публикой в очень залихватской позе — то он летал на помеле, то отплясывал вприсядку по небу. Знавшие Кованько по карикатурам удивлялись, знакомясь с ним лично: генерал был человек скромный, образованный, хороший знаток своего дела, автор ряда работ и статей по своей специальности. Он был одержим страстью к коллекционированию. В то время рождалось особое поколение филателистов и нумизматов. Марки Сан-Доминго и древние египетские монетки были в большом почете. Суздальского чекана медными кружками шестисотлетней древности оборонялись иные коллекционеры от сутолоки петербургского дня. Кованько собирал восточные монеты, и антиквар, развозивший по столицам Европы новые находки, часто беседовал с «воздушным» генералом.

После того как Лена вышла замуж, Победоносцев узнал много нового о Кованько; длинными вечерами, постукивая ложечкой по блюдцу, Загорский рассказывал о воздухоплавательной школе, которой много внимания уделял Кованько. Показал Загорский и составленный Кованько библиографический справочник — указатель русской литературы по летному делу. Загорский нравился Победоносцеву своей серьезностью, основательностью рассуждений и суховатой подобранностью. О Загорском никто не решился бы сказать, что у него душа нарапашку, и все-таки он привлекал к себе людей. Победоносцева, раньше знавшего офицеров только по книгам и рассказам приятелей, многое в Загорском удивляло.

Загорский был беден, и в новой, в рассрочку обставленной квартире, чувствовалась расчетливость хозяина, не позволявшего себе, как говорил он, ничего лишнего. Он не скрывал своей бедности и гордо подчеркивал ее в раз-



говорах с лощеными офицерами из помещичьих семей. Вечерами в столовой за чаем Победоносцев и Загорский обычно спорили, а Лена сидела за столом и влюбленными глазами смотрела на мужа.

— Я недавно вспоминал свою жизнь — и так вот ничего и не понял, — раздраженно и громко говорил Глеб. — Чего я только не навидался за последние годы! Поехал учиться восторженным, полным надежд юношей, приехал усталым человеком. Вернулся — и здесь меня эксплуатировали. . .

Лена, волнуясь, смотрела на брата; в такие минуты он чем-то напоминал покойного Сережу.

— Да, хвастать нечем, — спокойно постукивал ложечкой Загорский. — В пехоте и на флоте, правда, труднее, там рутины больше, у нас как будто бы и легче — начинали почти на пустом месте, — но и то. . . Вот на флоте появилась новая молодежь, их шутя называют младотурками, — энергичные люди, а их установки мне тоже не нравятся — пренебрегают национальными традициями, слишком увлекаются всем западным.

Разговоры продолжались часами, но Лена не принимала в них участия, особенно если Глеб приходил один, без Наташи. Она уходила на кухню, болтала с прислугой о разных разностях и возвращалась, когда брат, закуривая последнюю папиросу, прощался. Загорский был в постоянных разъездах, и часто, оставаясь одна в квартире, Лена просыпалась ночами и вдруг начинала задумываться невесть над чем.

В жизни уже не было ничего неожиданного. Она по долгу ходила по пустой квартире, хлопая дверями и грустя. Вдруг почему-то заинтересовалась статьями о суфражистках. Потом стала раздумывать, исполнится ли ее, загаданная когда-то, в детстве еще, судьба, или так и суждено ей остаться навсегда, как говаривала прислуга, «при муже». Наташа и брат жили иначе, но Наташа всегда занята и забегает только изредка, на несколько минут. В суфражистках Лена разочаровалась, прочитав заметку о том, как подшутил над ними находчивый журналист: выпустил крыс из клеток, крысы запрыгали по полу, и суфражистки, отчаянно крича, выбежали из зала. Митинг был сорван. Прочитав заметку, Лена улыбнулась и навсегда отложила в сторону книги о затее английских барынек.

Муж почти всю весну провел в Москве; там строили аэростат, и Загорский был назначен приемщиком от военного ведомства. Аэростат строили торопясь — заводчики хотели поскорей получить деньги, обещанные военным министром, — замечания Загорского выслушивали невнимательно, небрежно сделанные механизмы обещали исправить, но сразу же забывали, и назавтра снова приходилось говорить с мастерами и инженерами. Работа была сделана плохо. Главный груз был расположен под средней частью оболочки. Загорский знал: если давление в оболочке спадет ниже предельного, нос и корма подымутся, оболочка сложится пополам — аэростат погибнет.

Он отказался принимать аэростат. Из Главного штаба приехал другой, более покладистый приемщик. Днем вылетели в первый полет. Полет шел хорошо; вдруг кто-то вскрикнул, и собравшиеся увидели, как начала складываться оболочка аэростата, падавшего на деревья. Пилот погиб во время аварии. Потрясенный его смертью, Загорский в тот же день уехал из Москвы.

Лена обрадовалась мужу, и снова началась обычная неторопливая жизнь, с обедом в четыре часа и двумя креслами четырнадцатого ряда в Александринском театре по субботам.

Они жили спокойно и тихо, редко принимали гостей, вечера обыкновенно проводили дома: она за рукодельем или книгой, а Загорский — работая на маленьком токарном станке в кабинете; и, глядя на строгое, задумчивое лицо мужа, Лена думала о том, как прочна и сильна их привязанность друг к другу. Загорский ей когда-то сказал, что ветер может порой задуть пламя огромного костра, но ничего не может сделать с маленьким упрямым огоньком, защищенным стеклами фонаря. Так и любовь их казалась Лене таким же ровным, может быть небольшим, но упрямым пламенем, которое не сможет задуть никакая буря...

Из Москвы пришло, наконец, письмо. Московские знакомые сообщали, что хозяин завода «Дукс» согласен принять Быкова на работу сдатчиком и испытателем аэропланов, но предупреждал заранее, что платить будет меньше, чем Щетинин.

Выбора не было, и через несколько дней на перроне Николаевского вокзала встретились Тентенников и Победоносцев: они провожали Быкова. Летчики гуляли по перрону. Быков и Тентенников нудно и долго спорили о достоинствах аэропланов разных марок. Победоносцев шел сбоку и внимательно разглядывал приятелей. Четыре года прошло с того дня, когда они встретились впервые, и вот как все изменились за эти быстро промелькнувшие годы... Быков немного обрюзг, но особенно потолстел Тентенников. В нем не было теперь былого задора, да и откуда набраться самонадеянности скромному сдатчику Русско-Балтийского завода? Он проще стал и добрей, уже не мечтал о славе и больших деньгах, к старым друзьям стал относиться с нежностью и заботой.

Прозвенел третий звонок.

— Ну, что же, — сказал Быков, снимая кепку, — приходится расставаться. Кто знает, скоро ли встретимся?

Они обнялись на прощанье. Победоносцев и Тентенников долго еще стояли на перроне и следили за удаляющимся красным огоньком. Поезд уходил, и Победоносцеву стало грустно до слез: не так ли вот уходят надежды, молодость, жизнь?

Вдруг пробежал по перрону газетчик с пачкой свежих газет и громко закричал:

— Несчастье на Комендантском аэродроме! Разбился насмерть летчик Загорский! Подробности смерти Загорского!

Победоносцев как-то обмяк сразу: единственным летчиком в России, носившим эту фамилию, был Корней Николаевич, муж Лены, человек, когда-то помогавший Победоносцеву и его друзьям в начале их летного пути.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ



абастровка на Щетининском заводе повернула по-новому жизнь.

Чем больше думал Быков о будущем, тем неприятнее казалось настоящее. Друзей вокруг него почти не осталось — ведь и Победоносцев и Тентенников жили

в Петербурге. Быков обрадовался и разволновался, встретив в Москве, на заводе, своего старого друга Делье, с которым расстался в начале тысяча девятьсот одиннадцатого года. Работавшие на заводе французы уговорили механика остаться на несколько лет в Москве, и он подписал контракт до лета тысяча девятьсот четырнадцатого года. Делье научился хорошо говорить по-русски, сошелся с какой-то женщиной и свободные часы старался проводить дома, но Быков иногда уговаривал его прогуляться пешком. Однажды Делье посоветовал Быкову привезти в Москву отца и Ваню. В тот же вечер на юг пошло письмо, а еще через неделю был получен ответ. Отец писал, что сам соскучился по сыну и давно уже решил перебраться в Москву, к тому же и мальчик вырос, стал неслухом, спорит со стариком. А вообще-то — парень хороший.

Письмо обрадовало Быкова. Он снял квартиру на Якиманке, по соседству с Делье, и каждый день ходил на вокзал встречать отца и Ваню.

Рано утром на Брянском вокзале носильщик, немилосердно ругаясь, вытаскивал из вагона третьего класса сундуки и корзины, перевязанные толстыми веревками. Составив сундуки и корзины, носильщик ушел нанимать извозчика, а приезжие остались караулить вещи. Старшему из приезжих было уже под шестьдесят, он был суховат телом, и крохотный клинышек под нижней губой делал его лицо замысловатым и веселым. Рядом с ним стоял мальчик лет двенадцати, в поддевке, в огромном, не по голове, картузе, и низких лакированных сапогах.

— Я тебе говорю, — твердил старик, — хороший город Москва, я тут в молодости бывал, по Тверской катался...

— Может быть, он и не придет? — спросил мальчик, всматриваясь в лица встречающих. — Да если и придет, я, пожалуй, его не узнаю...

Быков еще издали увидел отца и чуть не бегом бросился к нему.

— Ну, здравствуй, — сказал старик, — доехали отлично, в дороге сундук у меня жулики чуть не унесли, да надорвались — тошнехонько-де, тяжелый...

— А ты-то какой вырос! — воскликнул Быков, обнимая Ваню. — До чего я рад тебя видеть!.. Когда я с тобой расстался, ты совсем клопом был...

— Здорово я его вырастил. Он у меня молодец — мы с ним и в бабки играем и в городки... Вот только горе — неслух...

Квартира на Якиманке понравилась и Ване и старику. У Вани была теперь своя крохотная каморка рядом с комнатой старика: укладываясь спать, они долго разговаривали и спорили.

— А я говорю — прыгает! — кричал старик, хлопая в ладоши.

— А я говорю — летает!

— О чем вы спорите? — спросил Быков.

— О коростеле спорим, — ответил Ваня. — Он говорит — коростель прыгает, а я говорю — летает.

— Ты большой уже парень, — сказал Быков мальчику через несколько дней, — тебе надо учиться. Осенью я тебя отдам в реальное училище... Будешь инженером...

— Я хочу стать летчиком...

— Ну, пока еще рано.

Быков отправил его с дедом в Зоологический сад, и Ваня не успокоился, пока они не осмотрели всех зверей.

— Хитрый зверь, — говорил Иван Павлович, рассматривая лису, — в хвосте у ней вся сила. Ты ей хвост отруби — она ни за что не найдет дороги.

Дед и Ваня быстро обжились в Москве. Быков особенно радовался Ване: в доме стало веселей.

Он начал хлопотать об усыновлении мальчика.

Одно беспокоило Быкова: отец вскоре нашел в Москве каких-то знакомых, вместе с ними таскался по трактирам — играл на бильярде. Случалось, что он и не ночевал дома.

В такие дни старик приходил домой попозже, когда сын уже уходил на завод, долго мылся, чистился, потом подзывал Ваню и просил прощения.

— В другой раз за мной придут, а ты не пускай. Так, мол, и так — нельзя, да и только. Я американскую же не люблю играть, пирамидка интересней, есть где раскинуть умом, вот и застряну... К тому же выпили по мерзавчику...

Возвращения сына он ожидал с волнением и для храбрости выпивал рюмку водки.

— Ты что же? Будешь ночевать дома или тебе тут надоело?

— Буду, ей-богу буду.

— Где ты пропадал сегодня ночью?

— Мы с маркером знакомым в бильярдной сражались.

— Ты это брось.

— Обязательно, Петенька, брошу.

Работа на заводе была скучна и однообразна. Узнав об участии Быкова в забастовке на Щетининском заводе, новый хозяин начал здороваться сухо, словно нехотя. Быков собирался уйти с завода, но еще не знал, куда следует наняться. Все больше он чувствовал, что трудно теперь совершенствоваться в любимом деле. Только дома, в добродушных спорах с отцом и в разговорах с Ваней, время летело незаметно, быстро.

Вскоре в жизнь Быкова вошли новые заботы и волнения: это были думы о Нестерове.

В эти самые месяцы русская пресса заговорила о Нестерове и мертвой петле.

Нестеров был военный летчик. Учился он в Гатчине.

В Гатчинской школе издавался рукописный журнал, и в нем появилась карикатура на Нестерова: он раздражал недалёковидных людей своей независимостью и неизменной готовностью растолковывать каждому офицеру сущность мертвой петли.

Однажды в том же журнале был напечатан куплет, высмеивающий Нестерова:

Ненависящий банальность,  
Полупризнанный герой,  
Бьет он на оригинальность  
Своей мертвою петлей.

Недоброжелателей удивило, что Нестеров не обиделся и на товарищеских вечеринках с удовольствием слушал этот куплет. Мало того, когда кто-то из сослуживцев предложил Нестерову ответить на шутку, создатель мертвой петли сразу же написал следующий стихотворный экспромт:

Коль написано: петля,  
То, конечно, это я.  
Но ручаюсь вам, друзья,  
На петлю осмелюсь я.  
Одного хочу лишь я,  
Свою петлю осуществляя,  
Чтоб эта мертвая петля  
Была бы в воздухе живая.  
Не мир хочу я удивить,  
Не для забавы иль задора,  
А вас хочу лишь убедить,  
Что в воздухе везде опора.

Стихотворное его послание тоже ходило по рукам, и порой после полетов Нестерова спрашивали, почему он не попробует теперь же доказать, что в воздухе везде опора, и не решается повиснуть вниз головой над гатчинским аэродромом. Делая вид, что не понимает насмешки, Нестеров неизменно отвечал:

— Подождите немного. Когда я закончу разработку теории высшего пилотажа, я легко докажу вам, что мне не страшно никакое положение аэроплана в воздухе.

— Даже и с той самой, как ее... с чортовой петлей?— ехидно спрашивал собеседник.

— Не с чортовой, а с мертвой, — поправлял Нестеров и прекращал разговор.

В Главном штабе Нестерова не любили.

— Странно, — говорили о нем, — неужели он не переменил взглядов, научившись летать? И еще изобретает какой-то новый аэроплан, денег просит на постройку модели... Нет, нет, из его затей ничего не выйдет...

Мысль Нестерова была гениально проста, и он обстоятельно излагал ее, чертя карандашом схемы на почтовой бумаге.

Нестеров был одинок в своих исканиях, и не нашлось человека, который решился бы помочь ему. В одиночестве закалялся характер великого летчика. Царское правительство губило много гениальных изобретений, и порой Нестерова пугало, что ему суждено увеличить и без того длинный список русских неудачников.

После окончания школы он служил в киевском авиационном отряде, летал на «ньюпоре», участвовал в маневрах, разрабатывал новые модели самолетов, но давнишний замысел напоминал о себе и томил длинными бессонными ночами.

Опыты задерживались. Первое испытание пришлось отложить — не из-за заботы о себе, просто он боялся, что его мысль будет отвергнута. Люди забыли, что в воздухе везде опора. Он должен напомнить об этом.

Мертвую петлю предсказал знаменитый русский ученый профессор Жуковский за два десятилетия до опытов Нестерова, и все-таки ретрограды не верили в нее.

Однажды утром, собираясь в полет, Нестеров особенно долго прощался с женой, особенно долго целовал детей, особенно долго шел на аэродром.

...Поднимаясь в небо, он думал только об одном: о предстоящей практической проверке идеи, которой были отданы годы неутомимого труда. Много бессонных ночей он провел за письменным столом, вычерчивая схему предстоящего испытания. Если он осуществит давно задуманную фигуру — можно будет уверенно сказать, что человек, наконец, победил воздушную стихию...

В кармане у него — анероид. Дешевый аппарат — недорогое казенное имущество — стоит только 13 рублей 50 копеек... Если повороты будут выполнены неправильно, то во время полета вверх ногами анероид выпадет из кармана. Вот, пожалуй, единственное, чем придется рисковать сегодня...

Привязанное к сиденью ремнем, каким-то легким, совсем невесомым казалось ему в эти мгновения тело... Удивительно, как легко была выполнена сегодня мечта многих лет... Но ведь так и всегда бывает в науке: упорный, кропотливый занимающий все время труд — и недолгая радость свершения, счастье осуществления мечты приходит всегда как предвестье новых исканий...

И подумать только, — он сам малокровен: если долго работает согнувшись в кабине «ньюпора», сразу же испытывает сильное головокружение; а сегодня во время полета чувствовал себя так хорошо, словно выполнял самое несложное гимнастическое упражнение...

Спускаясь, Нестеров пожалел, что не предупредил никого о предстоящем полете, но его уже встречали восторженными криками собравшиеся на аэродроме люди. Он шел к ним, зажимая в руке анероид, — да, все произошло так, как он предполагал несколько лет назад, и даже анероид уцелел, не выпал из кармана...

Мертвая петля стала очередной сенсацией прессы.



На страницах бульварных газет появились заметки, осуждающие великое открытие Нестерова. «Можем ли мы позволять себе красивые жесты?» — вопрошала одна правая газета. «Не душите героизм наших летчиков в мертвой петле», — вопил кадетский листок. Им вторил тупой черносотенный генерал, нагло заявивший, что в поступке Нестерова больше акробатизма, чем здравого смысла, и полагавший справедливым, поблагодарив летчика за храбрость, посадить его под арест на тридцать суток.

К окрикам реакционных русских кругов вскоре присоединились голоса из-за границы. Французские конструкторы и немецкие теоретики авиации высказывали свое неверие в успех Нестерова, отрицали его опыты, указывали, что авиация не пойдет по избранному русским смельчаком пути.

Все честные люди почувствовали в торопливом осуждении нестеровской мертвой петли иностранными авиационными деятелями какой-то подвох. Очевидно, за границей готовились присвоить открытие русского гения. Профессор Жуковский твердо решил начать борьбу за Нестерова, за утверждение его первенства в области, которая начинает новую эпоху в истории авиации.

Луи Блерио, ставший к тому времени одним из крупнейших заводчиков Франции, лихорадочно работал над приспособлением самолета своей конструкции к высшему пилотажу. Работа была завершена в короткий срок, и через двенадцать дней после того, как Нестеров — впервые в истории человечества — замкнул мертвую петлю, французский летчик Пегу повторил опыт Нестерова.

Известие о полете Пегу сразу облетело всю мировую печать. На ста языках мира газетчики писали о мертвой петле и о достижениях Пегу. Имя Нестерова замалчивалось. Реклама Пегу сделана, приоритет русского в области высшего пилотажа перехвачен, — казалось, отныне и это русское открытие будет носить иностранное клеймо. . . Но Нестеров быстро нашел последователей; в скором времени прославились первые русские петлисты — Раевский, Васильев, Янковский, Габер-Влынский. . .

А тем временем полеты Пегу, демонстрировавшего мертвую петлю, были организованы во многих городах Европы. Антрепренеры — богатые австрийцы — устроили полеты и в России.

Узнав о приезде Пегу, Нестеров, с разрешения начальства, прибыл в Петербург, а потом направился и в Москву.

Через несколько дней в Москве, в Большой аудитории Политехнического музея, состоялась лекция Пегу. Могучий лоб профессора Жуковского покрыла мелкая испарина пота. Великий ученый волновался, и волнение его невольно передалось аудитории. Исполнялись мечты его жизни. Точные математические выкладки в работе о парении птиц были осуществлены русским летчиком, но раблепные люди уступили славу великого подвига иностранцам...

На кафедре поднялся Пегу. Его встретили овацией. Француз был превосходным оратором. Нестеров сидел в первом ряду и внимательно слушал. Вдруг он вздрогнул: француз назвал его фамилию. Он плохо разбирал слова, но понял их смысл. Пегу признал, что первым авиатором в мире, замкнувшим мертвую петлю, был русский летчик Нестеров.

Выждав мгновение, Пегу протянул руку Нестерову. Грянули аплодисменты. Жуковский радостно улыбнулся: честь побеждала наживу, правда торжествовала.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ



В дни, когда происходили полеты Пегу в Петербурге, хозяин завода «Дукс» Меллер вызвал Быкова, предложил ему папиросу и начал неприятный, обидный разговор.

— Ну-с, как самочувствие? — спросил он, закуривая. — Как дела?

— Самочувствие хорошее, — угрюмо ответил Быков, уже понимая, о чем будет говорить хозяин.

— Как спите последние дни?

— Хорошо сплю.

Хозяин выдвинул ящик письменного стола и протянул Быкову кипу газетных вырезок.

— Это зачем же? — отстраняя руку хозяина, спросил Быков.

— Чтобы вы прочитали о полетах Пегу.

— Я и без вас прочел. . . До того, как прочел статейки о Пегу, я уже знал, что сделал Нестеров. Вам, как иностранцу, его имя не дорого, а для нас Нестеров — знамя. . .

— Все-таки напрасно отказываетесь.

— Вы хотите, чтобы я летал на «дюнёрдюссене»?

— Наконец-то вы меня начинаете понимать.

— Но я же говорил вам, что не верю в нынешний вариант «дюнёрдюссена». . .

— Странное неверие. . . Летает же на нем Жакнуар. . .

— И я смогу летать, когда изучу машину. Но для этого нужно время. «Дюнёрдюссен» очень трудно выровнять.

— Такой разговор я уже слышал. Скажите лучше прямо, что вы боитесь летать на нем.

— Боюсь? — вздрогнул Быков. — Как вы сказали?

— Боитесь.

— Хорошо. Завтра же я полечу. . .

— Зачем такая спешка? Испытание назначено на послезавтра.

Они расстались не попрощавшись.

Быков ушел с завода взбешенный. Выйдя на улицу, он задумался на минуту: может быть, все-таки не стоит лететь? Может быть, плюнуть на иронические улыбки, уйти с завода, уехать куда глаза глядят, чтобы только не видеть опостылевших лиц, наскучившего аэродрома? Он было решил уже поступить именно так, но вспомнил слова хозяина о страхе.

«Боюсь?» Обвинение в трусости — самое обидное для летчика. Он полетит, чего бы это ни стоило. . .

Да, он полетит. . . Но сегодня впервые в жизни тайный голос подсказывал Быкову: лететь не следует. Он не знал «дюнёрдюссена». На этом аэроплане разбилось уже несколько человек. Завод попросту не хотел тратить на договор с другим летчиком.

. . . Поздно вечером Быков сидел в своей комнате, не зажигая лампы. В соседней комнате громко спорили отец и Ваня. Быков прислушивался к их голосам и подумал о смерти. Впервые за пять лет он боялся лететь. Это не было предчувствием или страхом. Нет, причина волнения была самая простая и разумная. И все-таки после

разговора с директором Быков никому не решился бы сказать, что считает рискованным предстоящий полет.

Он вспомнил Лену и снова увидел ее такою, какой она была в день первого знакомства: с доброй улыбкой на пухлых губах, за самоваром в тихой, далекой комнате. Он никогда не мог забыть давнюю встречу, но сегодня вспоминал о ней с особым волнением. Случай в Царицыне казался сном, встречи в Петербурге сначала представлялись будничными и обыденными. Может быть, они и были памятны именно своей обыденностью. Он помнил все, до мельчайших подробностей, бережно хранил в памяти свои нечастые беседы с нею. Пока был жив Загорский, Быков не признавался даже себе в своем чувстве... А теперь...

Он решил на тот случай, если разобьется, написать небольшое письмо Лене и вынул из ящика письменного стола пачку почтовой бумаги.

«О чем писать?» — думал он. Рассказать ей о былом, о детстве, о кабале у хозяев, о вере в будущее? Ему хотелось сказать о многом, но мысли путались, и слова ложились на синие полоски только для того, чтобы умереть.

— Не завещание ли пишете? — расхохотался Делье, входя в комнату. — Очень уж у вас загадочный вид сейчас. Будь у меня «кодак», я сделал бы неплохой снимок. Может, пойдем погуляем?

— С удовольствием.

Ваня вбежал в комнату и повис на руке Быкова.

— Петя, я без тебя соскучился.

Быков с любовью посмотрел на мальчика, приподнял его и подбросил вверх. Ухватившись руками за плечи Быкова, Ваня засмеялся.

— Дедушка спит, — сказал он, — сегодня опять на меня рассердился, хотел в бильярдную пойти, я его не пустил...

— Молодец. Теперь ложись спать, а завтра с тобой погуляем...

Ваня обрадовался и побежал в свою комнату.

— Помните, как вы его привезли из Тулузы?.. — спросил Делье.

— Вы научились говорить по-русски, а все путаете города. Из Тулы. Я вам уже двадцать раз говорил, что из Тулы, — одно время вы говорили правильно, а теперь

опять начали путать. Не собираетесь ли вы сами в Тулузу?

— В Тулузу? Нет, в Тулузу я не собираюсь, но третьего дня получил письмо из Парижа.

— Из Парижа?

— Да, от приятеля. Меня зовут обратно. Контракт мой с «Дуксом» подошел к концу, и скоро я распрощаюсь с вами...

— Если расстанемся, значит навсегда, — сказал Быков, поглядывая на француза. — Жаль! Ведь мы были хорошими друзьями.

— Кто знает, разве можно гадать о будущем? Мне почему-то кажется, что мне еще суждено вернуться в Россию. За эти годы, работая на заводе, я хорошо узнал и полюбил русских рабочих. У меня есть среди них настоящие друзья. Я много вечеров провел в душевных беседах с ними.

Они вышли на улицу. Было уже поздно. На набережной Москвы-реки горели скупые огни. Город засыпал. Могучие спины ночных извозчиков возвышались над Балчугом. Их стоянки были у самого края узкого тротуара. Издали пролетка казалась выступом дома, странным крылатым крыльцом. Облака уходили на запад. С того берега тянуло запахом гари и свежей соломы.

Они стояли на Каменном мосту и, перегнувшись через перила, смотрели вниз. Барка плыла по течению, на ней горел огонек, играла тальянка.

— Куда плывет она? — спросил Делье и, не дожидаясь ответа, сказал: — Пойдем по домам, я уже начинаю собираться в дорогу...

В день полета Быков пришел на поле задолго до условленного времени. Хозяин разгуливал по аэродрому, заложив руки в карманы брюк.

— Ну как? — спросил он. — Полетите?

Еще была последняя возможность отказаться, но Быков, подумав, промолчал. Из ангара выводили новенький «дюнердюссен».

— А вы зачем здесь? — спросил Быков Делье.

— Хозяин приказал лететь с вами.

— Но ведь срок вашего контракта с ним закончен.

— Завтра кончается, — с огорчением сказал Делье. — Но он поступил со мной так же, как с вами. Сказал, будто я боюсь лететь...

Маленький задиристый Делье от волнения даже приподнялся на цыпочках, словно хотел дотянуться до своего взрослого собеседника, и громко сказал:

— Мне кажется, что вы, Петр Иванович, хорошо должны были изучить меня. Я никогда ни в чем не люблю уступать — и нашему хозяину Меллеру пришлось выслушать от меня несколько колких замечаний. — Делье засмеялся и, уже успокаиваясь, сказал:

— Ведь настанет же когда-нибудь время свободной жизни без хозяев, помышляющих только о барыше? Не правда ли, ведь оно настанет? С вами я обязательно полечу, — если вы рискуете жизнью, то почему же мне уходить от своего русского друга?

Быков с благодарностью посмотрел на француза и взялся за рули.

«Уйду, — решил Быков, — сегодня же рассчитаюсь». Он не мог без отвращения вспомнить наглое, самодовольное лицо хозяина и громко выругался.

«Дюнердюссен» отлично набирал высоту, и Быков успокоился. Полет был удачен. Все выше уходил аэроплан, — московские дома сверху казались неровными ступеньками гигантской лестницы. Сверкал золотой крест над куполом храма Христа спасителя.

...Яркий свет ослепил на мгновение, и Быков проснулся. Он долго не мог понять, почему ничего не видно, и хотел прикрыть ладонью глаза, но — странно — рука не повиновалась ему. Он дернул другой рукой — тоже никакого результата. Руки его существовали сами по себе — он не мог шевельнуть ими. Быков попробовал открыть глаза — и все-таки ничего не увидел. Какие-то столбики и круги плыли навстречу ему, какие-то стрелчатые пролеты... Но нельзя было даже разобрать, существуют они или только сняты.

— Спите, — сказал ему незнакомый женский голос, — закройте глаза.

Он закрыл глаза и начал припоминать, слышал ли раньше этот голос, но не мог ничего сообразить и заснул.

Минут через пять он снова проснулся. Он ошибся. Прошло не пять минут, а четыре дня. Тот же женский голос сказал:

— Спите!

Он открыл глаза. Теперь он увидел незнакомую просторную комнату, высокое окно, женщину в белом халате, сидящую на табуретке.

— Где я?

— Спите!

— Я не хочу спать, — закричал он сердито. — Я не могу спать. Позовите Делье.

— Делье вчера уехал во Францию. Он ждал вашего выздоровления...

— Позовите его...

— Я не могу позвать. Он уехал...

Быков застонал, со страшным усилием приподнялся и откинул голову на спинку кровати.

— Вы молоды, вы не смеее лгать. Скажите мне правду... Что случилось с механиком?

— Я вам сказала...

— Побожитесь...

— Божусь...

— Он жив?

— Он уехал вчера из Москвы...

— Вы говорите правду?

— Вам вредно волноваться... Засните...

— Я не могу спать!.. — закричал он. — Позовите Делье.

Женщина зажала его голову в своих сильных теплых руках. Он открыл глаза и ничего не увидел: окно было открыто, он знал это, но вместо окна перед его глазами была прежняя черная стена, сверкавшая, как лакированная крышка рояля. Он снова забылся.

С тех пор он просыпался только для того, чтобы спросить о Делье. Прошла еще неделя — и он окончательно проснулся...

— Делье, где Делье?

— Успокойтесь, — отвечала женщина. — Он обещал написать с дороги. Мы со дня на день ждем письма...

— Делье...

— К вам пришли.

Он ничего не ответил.

В палату вбежал Ваня.

— Петя, — закричал он, глотая слезы. — Дедушка еле ходит... Нам так жалко тебя...

Быков молчал. Ему хотелось утешить мальчика, но мысль о Делье не давала покоя.

— Ванечка, — сказал он, — подойди поближе... Я хочу тебя спросить...

Ваня подошел близко, обнял голову Быкова.

— Ванечка... Ради бога!.. Скажи правду... Ты знаешь, как я тебя люблю... Что случилось с Делье, с тем, что ходил к нам... помнишь?..

— Он уехал...

— Врешь! — закричал Быков.

Ваня заплакал еще сильнее, забился в угол и со страхом смотрел оттуда на своего названного отца. Дверь отворилась, и в комнату вошел Иван Павлович.

— Ну вот, Петенька, и я пришел, — боязливо оглядываясь и глотая слезы, сказал он. — Ты не печалься, дело пустое, все зарастет молодой травой.

— Уходи, — простонал Быков, — трудно мне говорить, папаша.

Как-то вечером пришел в палату старший врач.

— Доктор, у меня на вас последняя надежда, скажите мне правду, я хочу знать, что случилось с моим пассажиром...

— С вашим пассажиром? — сказал врач, похлопывая себя по лысине. — Да ничего же с ним не случилось. Уехал в Париж...

— Я так люблю Делье... он такой замечательный товарищ... мы подружились с ним в пору моих первых успехов. Значит, он уехал?

За все время он ни разу не спросил: что же случилось с ним самим? Опасны ли раны, полученные при падении? Не поинтересовался даже, отчего произошла катастрофа, и это особенно располагало к нему врача.

— Через неделю сюда приезжает Пегу... Он будет показывать мертвые петли. Хотите посмотреть?

— Посмотреть? Но разве я выйду через неделю из больницы?

— Выходить из палаты незачем. Вы сейчас лежите в Солдатенковской больнице. Из нашего окна отличный



вид на Ходынское поле... Завтра мы руку вам разбинтуем, а через неделю и гулять по палате будете...

Назавтра Быкову разбинтовали руку, а еще через три дня он начал прохаживаться по комнате.

Утром из окна больницы Быков следил за полетом Пегу. Маленький «блерио» рванулся вверх. Виражи, виражи без конца... Как грустно следить за чужим полетом, чувствуя собственную физическую немошь. Прошло несколько минут, — мертвую — нестеровскую — петлю замкнул француз над Ходынским полем.

Быков сел на стул у окна. Он ничего не видел, кроме синего неба и стрелчатых линий полета. Огромный простор раскрывался перед ним, смутный гул доносился издалека; казалось, в желтый разгон площадей трубило яростное майское солнце, и косматые вихри вились вокруг него, то падая с размаху на землю, то врезываясь в облака.

Маленький аэроплан набирал высоту. Внизу — Быков хорошо знал это — шел торг; жизнь летчика была товаром, который перепродавали, как сахар и соль... Лучший летчик Франции, невысокий человек с пышными гасконскими усами, рвался вверх из мира торговли и обмана. Но невидимыми тросами он был прикреплен к земле: ему позволяли, как игрушечному канатному плясуну, плясать над домами только до тех пор, пока это было нужно хозяевам — антрепренерам, устраивавшим полеты Пегу...

Словно впервые увидев светлую даль Ходынского поля, круглые завитки дыма, подымающегося над трубами фабрик, статуи на фронтонах доходных домов — унылые, словно их сняли с могильных памятников и перенесли сюда, на людные перекрестки древней столицы, — Быков невольно подумал о будущем.

Раздались шаги, и неожиданный посетитель появился в палате. Маленький человечек осторожно закрыл за собой дверь, вытряхнул пепел из витой матросской трубки и подошел к Быкову.

— Кого вам надо? — спросил Быков, удивленно рассматривая незнакомца.

— Как, вы уже не узнаете своих учителей? — отвечал маленький человечек по-французски. — Вы забыли профессора Ригу, который учил вас летать?..

Быков встретил Ригу недружелюбно.

— Садитесь,— сказал он,— и смотрите в окно, я слежу отсюда за полетом Пегу.

— Отличные полеты! — сказал мсье Риго, становясь рядом с Быковым.

— Как вы попали сюда, мсье Риго?

— Как приехал? Меня вызвал авиационный завод. А вчера узнал о вашем несчастье и решил навестить своего друга в больнице.

— Не стоило затрудняться...

— Нет, я очень рад встретить вас снова. Я всегда вспоминал о вас с удовольствием, а этого нельзя сказать о многих, особенно о мсье Ай-да-да, свирепом человеке, постоянно мне угрожавшем...

— А зачем вас вызвали?

— Я теперь уже больше не летаю, в школе другие профессора, да и вообще мы расстались с Фарманом. Я служу в другой компании. Мой хозяин заключил контракт с «Дуксом», и я на пять лет приехал в Россию, чтобы наладить сборку аэропланов новых конструкций, которые покупает у нашей фирмы военное министерство... Но, впрочем, подробнее поговорим, когда вы поправитесь. Теперь же у меня к вам есть небольшое дело...

— Ко мне?

— К вам.

— Поглядеть на меня хотели?

— Нет, я зашел не только навестить вас, но и по поручению...

— Меллера? Но я не имею никаких дел с ним...

— Вы неправы, он — милейший человек.

— Зачем вы пришли?

— Узнав, что я хочу навестить вас, он просил меня как старого вашего знакомого поговорить...

— О чем?

Мсье Риго подумал минуту, посмотрел на Быкова, словно хотел убедиться, попрежнему ли силен летчик... Перед ним был высокий худой человек с небритым лицом, белыми повязками на лбу и шее, с рукой, беспомощно висевшей на черной перевязи... И мсье Риго важно сказал:

— Видите ли, он сам не решается зайти к вам, но очень хотел бы повидать вас...

— И хорошо делает, что не решается. Я бы просто выгнал его отсюда.

— Нехорошо. Вы становитесь нервным, как мсье Ай-да-да. Меллер искренно сожалеет о случившемся. Он слишком верил в ваши способности.

— Дело было не в способностях. Я никогда не летал на самолете этой конструкции. Он просто сэкономил деньги и не хотел брать испытателя со стороны. Я согласился лететь только из глупого молодечества.

— Что вы говорите! — соболезнующе развел руками мсье Риго.

— Я стыжусь своего поступка, он показал, что и у меня есть ложное представление о смелости...

— Речь идет не о том. Завод не хочет судебного процесса о пенсии за увечье, он предлагает вам сговориться о сумме, которую вы хотите получить с него...

Теперь Быкову стала ясна истинная причина неожиданного внимания мсье Риго. Он с ненавистью смотрел на маленького человечка с волосатыми мочками ушей, и волнение летчика невольно передавалось собеседнику. Хотя нечего было опасаться израненного, перевязанного бинтами человека, все же, вспомнив вечера в Мурмелоне, когда Быков был чемпионом аэродрома по французской борьбе, мсье Риго начал медленно отступать к двери. Подойдя к самому порогу, он остановился, отставил назад ногу, чтобы в нужную минуту ударить каблуком по двери, и облизнул сухие губы.

— Это серьезное предложение, и я не понимаю, почему вы так рассердились на меня. Мсье Меллер хочет кончить дело честно...

— Вам ли говорить о честности? В летной школе мы вас считали самым обыкновенным лжецом.

Эти слова рассердили мсье Риго.

— Впрочем, как хотите, — надевая кепку, сказал он. — Меня просили поговорить с вами, вы отказываетесь — ваше дело, я советовать не могу.

Он толкнул дверь. В палату донесся мерный рокот мотора — Пегу продолжал полет.

— Меня удивляет одно: здесь так берегут ваше здоровье и ничего не говорят о судьбе механика, с которым вы летали...

Быков побледнел, и мсье Риго с каким-то странным наслаждением посмотрел на своего собеседника.

— Неужели вы не понимаете, что вы его разбили насмерть?

Быков закрыл глаза. Схватился здоровой рукой за стол, боясь, что упадет. Риго покачал головой и медленно вышел из комнаты.

Никогда не мог Быков простить Риго его жестоких слов. Ненависть к этому человеку, как и ненависть к своим первым хозяевам — Левкасу, Меллеру, Хоботову, к жадным и пронырливым эксплуататорам летного умения и таланта, Быков пронес через всю жизнь. И в те дни 1914 года, мучительно переживая смерть механика, он еще яснее понял: нужно жить так, как учит Николай. С какой радостью вспоминал Быков о своем участии в забастовке на Щетининском заводе. . . И, главное, радовало, что и друзья его переменялись за четыре быстрых года. Тентенников, так жадно мечтавший когда-то о славе и о больших деньгах, которые сделали бы его самостоятельным в жизни, наконец-то понял, как мала и жалка эта цель. Он совсем другим человеком стал, яростный и могучий непоседа! Сколько душевного тепла в нем, сколько сердечной заботы о товарищах! И Глеб Победоносцев, Глебушка, которого порой, раздражаясь, Быков сгоряча называл хлюпиком, тоже изменился, стал тверже и сильнее, в глазах его появился сухой блеск, губы плотно сжаты, как у человека, думающего свою трудную, но верную думу.



*ч а с т ь*

**II**

# **ВОЙНА**





## ГЛАВА ПЕРВАЯ

**С**

самого начала войны Быков потерял из виду Глеба. Писал несколько раз в Петроград, но ничего толком узнать не мог и решил, что Победоносцев погиб. В отряд, где находился Быков, приехал недавно моторист из девятой армии, рассказывал о полетах под Свенцями, о неравном бое русского летчика с тремя немцами, о том, как упал за чужими окопами объятый пламенем самолет, и уверял, что погибшего летчика звали Победоносцевым. В девятой армии поговаривали, что был он старым летчиком, участником первых авиационных состязаний в России.

Писать Лене Быков не решался — знал, как встревожили бы ее расспросы о судьбе брата. Так прошло несколько месяцев. Во время полетов, пробиваясь сквозь наплыв облаков, думал он о погибшем друге, и карточку Глеба, любительский снимок давней поры, обвел черной каймой: ведь нельзя было надеяться даже на то, что доведется когда-нибудь увидеть место, где похоронен Глеб. . .

И вдруг неожиданно, в оттепель, в погожий мартовский день 1916 года, в избу вошел делопроизводитель отряда, печально вздохнул по своей неизменной привычке и положил на стол пачку разноцветных конвертов. Быков узнал прямой, угловатый почерк Глеба. Неужели письма, отправленные несколько месяцев назад, странствовали по канцеляриям действующей армии только для того, чтобы еще тяжелее стала боль утраты?

Он долго сидел у окна, а в сумерки, когда маленькие огоньки зажглись в тусклых, словно бычьими пузырями обтянутых окнах местечка, надорвал самый большой конверт, и на пол упала фотография — дешевая, плохо отпечатанная. Высокий усатый человек в военной форме, в фуражке с большим козырьком удивленно щурил глаза, и крупная рука его была прижата к груди. Годы не старили Глеба Победоносцева: на фотографии он был таким же, каким помнил его Быков еще в дни первого знакомства.

Трудно было поверить, что верного друга нет в живых; и Быкову не сиделось дома, потянуло на свежий воздух из душной невеселой избы. На задворках не было прохожих. Долго шел он по узкой тропе. У мельницы остановился и распечатал остальные конверты. Письма были короткие, печальные, и в каждом больше говорилось о Тентенникове, служившем в одном отряде с Победоносцевым, чем о самом Глебе.

Вдруг Быков вздрогнул: последнее письмо было написано неделю назад. Моторист, рассказывавший о смерти Глеба, оказывается, ошибся.

Так вернулся в жизнь Быкова старый приятель, с которым многое было пережито вместе, — свидетель минувших утрат молодой поры, ее радостей и надежд. Многие ожило сразу: и давнее дружеское застолье, когда захмелевший Глеб клялся, что станет со временем великим летчиком, и полеты над русскими городами, и зимние вечера в Петербурге... И тотчас же пришли на память короткие, случайные беседы с Леной, так заботившейся о своем старшем брате. Вечером, отправив телеграмму в маленький городок на Юго-западном фронте, где стоял отряд Победоносцева, Быков поехал в штаб корпуса: он решил хлопотать о переводе.



Прошло несколько дней, и пришло назначение в Н-ский корпус, в отряд, где находился Победоносцев. Быков написал Глебу и получил вскоре ответ. Встретиться приятели условились в селе на румынской границе, в госпитале Союза городов: старшим врачом госпиталя был, оказывается, отец Глеба.

Проселок забирал в гору, и Быков неторопливо шел по крутому склону. Туманная громада леса синела вдали. Над черными лощинами белело облако. Тихо и спокойно начиналось утро. Приятно было почувствовать себя хоть ненадолго свободным от волнений походной жизни. Ручей гремел на взгорье, и холодные брызги били в лицо. По-мальчишески, по-озорному захотелось вдруг разуться и прыгать босиком по скользким обомшелым камням. Отсюда особенно красивым казался белый помещичий дом, и почудилось, что промелькнуло неожиданно за деревьями знакомое женское лицо с просто убранными волосами и высоким загорелым лбом. Было это ощущение необычно и радостно.

Кто-то крикнул неподалеку. Быков протянул руки бежавшему навстречу человеку.

— Наконец-то приехал, братец! — сказал Глеб, тоже протягивая обе руки приятелю.

— Расцеловаться надобно по старинному обычаю, — ответил Быков и чмокнул его в светлые усы.

Они долго смотрели друг на друга, словно каждый хотел удостовериться, что перед ним точно стоит старый приятель, и заговорили не сразу.

— Чуть не похоронил я тебя. Портрет твой черной каемкой обвел, и вдруг получаю однажды письма за целый год... И до того, понимаешь ли, обрадовался, что карточку твою на стенку повесил и каждый вечер ее разглядывал. Соскучился я без тебя, постарел, что ли, — трудней стало завязывать дружбу с новыми людьми. А по характеру своему одиночества не люблю. Думал я, думал — и твердо решил: на Юго-западный фронт пристыть, в один отряд с тобой...

— И Тентенников с нами теперь, — вытянул губы Глеб. — Все будем вместе. Характер у него такой же размашистый, как и прежде, да только жизнь крылышки

пообломала. Помнишь, как его в Мурмелоне господином Ай-да-да называли?

— Век не забыть. — Быков усмехнулся и, подражая Тентенникову, забасил, налегая на ó: — Спервоначалу-то, когда полетел он, испугались французы: шутка ли в самом-то деле! Впервые в жизни человек за ручку взялся, и вот поди ж ты — летит. . .

— Мне теперь часто вспоминается время авиационных недель, конкурсов самолетов, полетов над ипподромами, когда сердобольные зрители порою упрашивали нас летать пониже: они думали, что чем выше летаешь, тем большей опасности подвергаешься. . . Ведь мы тогда восприимчивыми новой техники были, первыми русскими людьми, севшими на самолет. В детстве заберешься, бывало, с ногами на диван, книжку листаешь, какой-нибудь приключенческий роман со старинными политипажками, и наяву грезишь: настанет же день, когда и я совершу что-нибудь великое. То ли с пушечным ядром на луну полечу, то ли такую подводную лодку изобрету, которая и подо льдами сможет ходить. А теперь мы увидели сами, что жизнь значительнее любого мечтания. И о самолетах того времени вспоминаешь, как о детстве, когда еще только ходить учился. До Балканской войны об авиации писали только авторы фантастических романов. А нынче. . .

Он вынул из кармана маленькую книжку в светлой обложке.

— Да вот, посмотри, Лена книгу на днях привезла из Петрограда, и я стихи нашел об авиаторе. Страшные куплеты там есть. Описывается смерть летчика и то, что грезилось ему в последние минуты.

То, о чем Быков стеснялся спросить (ему почему-то казалось, что Глеб знает о его любви к Лене), было приятелем сообщено неожиданно. Перед глазами снова — в который раз уже — промелькнуло доброе, до последней веснушки дорогое лицо. Такая ли она теперь, какою была в последний раз, в ту мгновенную и случайную встречу на Невском — с глазами, полными слез, в простом сером платье, в высоких шнурованных ботинках, с желтым загаром исхудалых щек? Почему показалось тогда, будто у нее заплаканные глаза?

Глеб открыл книжку и медленно провел пальцами по жирному курсиву.

Иль устранил твой взгляд несчастный  
Грядущих войн ужасный вид,  
Ночной летун, во мгле ненастной  
Земле несущий динамит, —

прочел он с чувством и потом, не давая ни слова вымолвить Быкову, рассеянно слушавшему стихи, взволнованно продолжал:

— Я это часто о самом себе повторяю...

— Пойдем, пожалуй, — сказал Быков, стараясь скрыть свое волнение.

Они молча шли к белому дому. Глеб медленно повторял слова полюбившегося ему стихотворения.

«Эге, брат, да у тебя какие-то особенные заботы, — решил Быков, поглядывая искоса на приятеля и примечая глубокую морщину на переносье — след раздумий и бессонных ночей. — Не для того ли ты меня сперва на поляну повел, наедине побеседовать? Да ежели вспомнить, то и в письме твоём последнем были места заунывные... В самом деле, с чего бы ты стал расспрашивать о постоянстве в любви? Можно было подумать, что ты меня за философа принимаешь. С Наташей не ладится, видно? Ну да ладно, после поговорим...»

Тропа бежала по кручам. Над черным пожарищем стлался дымок, и солнце, по-южному теплое, заставляло щуриться и прикрывать глаза козырьком фуражки.

У дома, над самым обрывом, на высокой скамейке сидела женщина в белом платке, и Быков узнал Лену по неуловимым каким-то приметам — то ли по особенному наклону головы, то ли по тому, как небрежно был накинута на узкие плечи платок.

— Елена Ивановна! — крикнул он и побежал к ней, стесняясь своей радости.

Лена поднялась со скамьи, сделала несколько шагов навстречу.

— Рада вас видеть, Быков.

Издавна уже повелось, что называла его Лена всегда по фамилии.

— А я до чего рад! Не сердитесь, но для меня это — исполнение какой-то несбыточной мечты... Поверите ли, дня не было, когда бы не думал о вас... Может, потому

и жив остался, что надеялся на встречу после войны. И вдруг такое негаданное счастье...

— Что вы, Быков, я таких красивых фраз не люблю... — Летчик смущенно улыбнулся — на самом деле нехорошо: получилось что-то вроде объяснения в любви; но, на его счастье, из дома выбежала Наташа, вышел, прихрамывая и опираясь на палку, старик Победоносцев, и можно было не отвечать на укоризненные слова Лены.

Старик был, как всегда, нахмурен, строг, не улыбнулся даже, только задержал руку гостя в своей широкой руке и громко сказал:

— Добро пожаловать, Петр Иванович! Глеб без вас до того соскучился, что я сам хотел отправиться за вами...

Наташа стояла в сторонке; по тревожному блеску ее прищуренных глаз, по тому, как прислушивалась она к скрипу проезжавших перелеском обозов, понял Быков, что ждет она кого-то. Он покачал головой и отвернулся. Стало жалко Глеба: было в Наташе что-то новое, неприятное Быкову.

Большой помещичий дом чудом каким-то остался невредимым после продолжительных боев последних месяцев; уцелели даже высокие клумбы с цветами. Трудно было поверить, что еще недавно здесь шли бои и что тут же, возле дома, рыли тогда братские могилы. Теперь это было тихое, спокойное захолустье, — только походная кухня, чадившая на поляне, да раненые, которых подвозили на подводах, напоминали о близости фронта.

— Место неплохое, — продолжал старик, по-хозяйски оглядывая дома, и взволнованно добавил: — Вот и хорошо, что сегодня здесь мы собрались. Скажи такое — не всякий поверит, что война собрала вдруг вместе давних друзей и знакомых. Надо же было так случиться, что Союз городов поместил наш госпиталь в сорока верстах от того места, где стоит отряд Глеба. И Наташе теперь спокойней, чем прежде.

— И Елена Ивановна с вами живет тут? — спросил Быков, обрадованный неожиданной словоохотливостью старого Победоносцева.

— Она живет в Петрограде, сюда только погостить приехала ненадолго, и жалко ее отпустить, и боязно здесь оставить, — видите, худенькая она какая стала — одни глаза светятся.

Сразу точно оборвалось что-то в груди у летчика, и только украдкой он решился еще раз посмотреть на Лену.

Стол накрыли в большой комнате с камином. Наташа поминутно подходила к открытому окну и вдруг, перехватив внимательный взгляд Быкова, тихо сказала:

— Жара-то какая... На севере еще, должно быть, снег в лощинах лежит, а здесь уже лето...

Глеб подошел к окну и тоже прислушался к медленному, тягучему скрипу телег, но Наташа и не поглядела на мужа.

«Кого она ждет? — подумал Быков, наблюдая за женой приятеля. — Не Кузьму же, конечно. Вряд ли Тентенников вскружил ей голову». В том, что Наташа не любит Глеба, Быков уже не сомневался и угрюмо рассматривал модель самолета, сделанную из старых газет, — биплан с сильно срезанными и закругленными спереди крыльями.

Послышались быстрые шаги. Кто-то спорил в коридоре. Быков узнал тотчас хрипловатый басок Тентенникова: попрежнему слышалось в нем волжское веселое оканье.

— Покажись, каков стал, — сказал Тентенников, входя в комнату и издали рассматривая Быкова. — Стареем, братец, с тобой, — промолвил он, обнимая приятеля. — У тебя, погляди-ка, голова сесть стала: снегом да солью волосы посыпало...

Они расцеловались, и Тентенников смахнул слезу с редких ресниц, все еще не выпуская Быкова из своих могучих объятий.

— Посидим сегодня, — сказал он. — Да, совсем позабыл тебя познакомить с Марком Сергеевичем.

Только теперь заметил Быков офицера, приехавшего вместе с Тентенниковым.

Невысокий поручик с узким смуглым лицом, с георгиевским крестом на потертой кожаной куртке, подошел к Быкову и, подергивая припухшим красноватым веком, приветливо сказал:

— Штаб корпуса известил меня, что вы отныне в моем отряде будете. Надеюсь, что теперь станем с вами ладить, жить в мире. А про старую нашу размолвку во время забастовки у Щетинина и вспоминать не стоит:

молоды были, горячи, из-за всего могли затеять ссору... С годами-то поумнел я, терпимее стал относиться к людям...

Старые друзья — Быков, Тентенников и Победоносцев — были широки в плечах и высоки ростом; рядом с ними Васильев казался совсем небольшим.

Он был красив, приветлив, располагал к себе новых знакомых, и только улыбка, так красящая обыкновенно людей, старила его, обнажая светлые десны и мелкие, словно подпиленные зубы. Как бы весел он ни был, красивые и наглые глаза его никогда не смеялись — вечная настороженность застыла в них.

Быков вспомнил, как поссорился с Васильевым во время забастовки в Петрограде (поручик сидел тогда в пролетке с Хоботовым), и, решив почему-то: «С этим человеком и теперь не буду жить в мире», тихо ответил:

— Нынче не время пререкаться из-за старой ссоры. Но прав-то, конечно, был я...

Васильев пожал плечами, словно выражая свое недоумение, и подошел к Наташе. Походка у него была быстрая, легкая. Остановившись возле окна, он широким и свободным жестом вскинул правую руку и ухватился за крюк, вбитый в оконную раму; к этому крюку была подвешена Глебом бумажная модель самолета.

Разглядывая неуклюжую модель, Васильев что-то сказал, улыбнувшись, Наташе. Быков заметил, как ласково блеснули ее прищуренные глаза.

— Что же, все в сборе как будто, — сказал старик Победоносцев. — Приступим, пожалуй.

Загребели стульями, рассаживаясь за круглым столом. Быков нарочно задержался ненадолго, чтобы сесть поближе к Лене, и обрадовался, заметив, что место рядом с нею не занято.

— Снова мы рядом с вами, Елена Ивановна, — промолвил он, касаясь локтем ее острого худенького локтя и придвигая поближе стул.

Он долго смотрел на нее, точно узнавая в женщине с двумя тоненькими, как паутинки, морщинками возле уголков губ ту светловолосую девушку, что встретила ему когда-то в Царицыне. Только лицо той девушки не было озарено внутренним светом, как нынче, — чувство-

валось, что немало она пережила и передумала за минувшие годы. . .

Все здесь было по-домашнему просто, и не верилось даже, что неподалеку отсюда фронт, что лежат там люди в мокрых окопах, и круглые сутки гремят раскаты артиллерийской стрельбы, и сигнальные ракеты взвиваются над полями. За столом сидели семь человек. Только один из них — Васильев — был случайным знакомым, остальные были для Быкова свидетелями уходящей молодости — друзьями давней поры.

С Тентенниковым и Победоносцевым связано было навсегда начало летного пути: время ученья, пора молодых дерзаний. Старик Победоносцев дорог уже по одному тому, что он — отец Глеба и Лены. Только к Наташе не совсем дружелюбно относился Быков, редко встречался с ней до войны и ни разу, пожалуй, не поговорил серьезно, хоть давно уже решил, что она — особа с фантазиями, совсем не пара доброму и прямодушному Глебу.

— Я тост предложить хочу в память Нестерова, — сказал Глеб. — Сегодня три года, как была впервые исполнена мертвая петля. Вот и надумали мы с Тентенниковым поминки по Нестерову справить. — Он посмотрел на Васильева, сидевшего рядом с Наташей, словно только теперь заметил за столом своего недруга.

— За воздушную славу России, за Нестерова, — громко повторил он, — за человека, который был первым летчиком в истории, победившим в воздушном бою. Смертью заплатил он за победу. Он погиб так же самоотверженно и благородно, как жил. В час вражеской атаки на русские войска он вылетел на стареньком самолете навстречу врагу и протаранил самолет австрийского барона Розенталя. Имя первого человека, победившего в воздухе, навсегда сохранится. Звали его Нестеровым. . .

— Великий подвиг! — вздохнул Тентенников.

— А разве понимали значение авиации для России? — продолжал Глеб. — До войны на летчиков иные дельцы как на шутов гороховых смотрели. Помню, во время полетов объявили однажды, как в цирке, «спуск смерти», чтобы сборы увеличить. Самолет исполнял в тот день, под завыванье оркестра, воздушное танго. В газетах вечно сенсации печатали. Даже статейка была: «Модерн в авиации». А о тех, кто героически жил и умирал, мало

говорят народу. Вот Лена мне журнал привезла французский. Сколько в нем о военных летчиках говорится. . .

Он протянул приятелю номер журнала, и тотчас узнал Быков лица знаменитых летчиков Франции. Это были ассы, тузы. Ассом считался летчик, одержавший больше пяти воздушных побед. Лучшие ассы были в прославленной эскадрилье «аистов», и прежде всего начал Быков искать портрет Гинимера. Гинимер считался в ту пору знаменитым летчиком. На портрете был изображен молодой человек, худощавый, может быть даже болезненный, с глазами, в которых была и отвага солдата и застенчивость провинциального юноши. Внимательны были ясные глаза, смотревшие на Быкова из-под надвинутого на самые брови козырька форменной фуражки, тонкая мальчишеская шея была повязана шарфом, и светлый значок белел на кармане тужурки — серебряное изображение аиста в полете.

— У нас много летчиков лучше французских, — строго говорил Глеб, — но не повезло авиации в России. С самого начала торгоши да спекулянты захватили ее. А в аэроклубе знатные бездельники сидели. . . Да и в армии нашлись ретрограды — до сих пор на летчиков с удивлением смотрят: как, дескать, вести себя будет, неужели и взаправду полетит?

Все засмеялись, и даже старик Победоносцев улыбнулся.

— Вы правы, нас не понимают, Глеб Иванович, — быстро заговорил уже немного опьяневший Васильев. — Такую силу недооценивают. . .

Устремив глаза в сторону, словно разговаривая с кем-то невидимым, Васильев продолжал, потирая руки:

— Авиация может стать самой большой славой страны. Мы — рыцари воздуха. Воздушный бой — всегда поединок, дуэль. Думая об авиации, я вспоминаю рыцарские турниры. Есть особенное благородство в воздушном бою. Один на один в небе я встречаю врага. Он падает, протараненный моим самолетом. Это — гимн новому, крылатому человечеству. Я ясно представляю будущее — может быть, через полвека. Дуэлянты не будут становиться у барьера, отмеривать шаги, проделывать скучный обряд старинной дуэли. Спор в любви будет решаться высоко в поднебесье, двумя самолетами, на которых бу-



дут враги... Нужно только, чтобы лётчик никогда не становился профессионалом. После войны авиация должна снова стать спортом, иначе она умрет...

Быков недовольно поморщился и наклонился к Лене:

— Слишком он говорлив, Елена Ивановна. Болтовня лётчику не пристала: в небе, кроме шума мотора, ничего не слышишь, вот и приучаешься много думать, мало говорить. А Васильев и слова другим не дает промолвить — видите, как его понесло, словно на крыльях. По-пугай тоже болтать любит, да летает зато невысоко...

Лена не могла сдерживать улыбки и осторожно дотронулась рукой до локтя Быкова, словно предостерегала: долго ли поссориться с пьяным человеком...

— Война уничтожит слабых, — взволнованно продолжал Васильев. — Дух человека изменится после войны, и мы увидим много такого, о чем и мечтать не смели самые горячие головы.

Быков перехватил устремленный на поручика тяжелый, ненавидящий взгляд Тентенникова и сразу понял, что трудной будет жизнь в отряде.

Васильев продолжал говорить, но его уже не слушали. Старик Победоносцев сидел не шевелясь, уткнувшись в тарелку, и только Глеб был весел, словно спирт помог ему забыть обо всем.

— Глупости говорите, — громко сказал Тентенников, приглаживая редкие волосы. — Что хорошего в турнирах да дуэлях — никак не пойму. Неужто со временем люди не поумнеют и подобная блажь будет жить в их голове? Я самолет за другое люблю — он уничтожает на земле расстояние; разовьется авиация в стране — и не станет у нас захолустья. А с дуэлянтами я и сам встречался: вызвал меня граф Кампо-Сципио на дуэль из-за моей над ним насмешки. Но я ему, конечно, попросту предложил: драться согласен, но только на кулачках...

Старик Победоносцев хихикнул, и Васильев, не понимая, всерьез говорит Тентенников или просто балагурит, неопределенно сказал:

— Мы с вами о разных вещах говорим...

— Нет, не о разных, — упрямо ответил Тентенников и отвернулся от своего собеседника.

Глеб встал из-за стола и дернул Быкова за рукав.

— Не хочешь пройтись?

— Отчего же, пойдем... Васильев теперь, пожалуй, обдумывает кодекс воздушных дуэлей и не станет скучать без нас...

— И я с вами, — сказал старик, догоняя их и волоча свою тяжелую палку. — Мне в госпиталь надо. Скоро обход палат.

Госпиталь находился неподалеку, в буковой роще. Глеб повел оттуда Быкова по тихому перелеску. Было уже темно, прохладно. Вспыхнуло вдалеке крохотное, как уголек, пламя костра и снова пропало в темноте. Пар клубился в лесу, словно тлели деревья, издалика тянуло гарью и дымом. Тусклые огоньки — то ли отсветы карманных фонариков, то ли звезды, пробившиеся сквозь мгlistую дымку, — мигали над переправой.

— Любимое место мое, — восторженно сказал Глеб. — Вечерами гуляю тут. Ходишь один по лесу, невольно обдумываешь жизнь. Не верится даже, что с той поры, как встретились мы впервые, только шесть лет миновало. Кажется порой, что я уже состарился и веку моего осталось очень немного. Подумать только, как много мы успели сделать за минувшие годы — пережитого нами на три поколения хватило бы...

— А сам-то ты как живешь? — спросил Быков, пытаясь навести Глеба на разговор о Наташе.

— Смутно живу. Казалось бы, чего мне еще надо: госпиталь, в котором Наташа, неподалеку от нашего отряда, при желании можно всегда на день сюда выбраться; а вышло хуже, чем думалось... И жалею, что отпуск провел здесь, надо было в Петроград поехать...

— Не ладишь с нею?

— Давно на разрыв идет...

Он поморщил лоб, будто не смог сразу всего вспомнить. У прямых, откровенных людей бывают мгновения, когда им обязательно хочется излиться, рассказать о самом сокровенном, личном, — в такую пору они способны делиться заветными своими думами даже со случайными знакомыми. Глеба радовало, что он сможет сегодня исповедаться не чужому человеку, как бывало порой в минуту совершенного уныния, а старому и верному приятелю...

— Ты разве не знаешь, как отвыкают люди друг от друга? Ведь размолвка начинается незаметно, с мелких

каких-то, незначащих вещей. Ссоры из-за пустяков, ругань из-за разбитого стакана. Сначала обоим невдомек, и вдруг наступает день, когда оба начинают чувствовать, что относятся друг к другу по-новому. Тотчас прекращаются ссоры. Отношения становятся спокойней, появляется предупредительность, боязнь обидеть другого, — так наступает второе предвестие разрыва. С тех пор как Васильев появился, почувствовал я: отходит от меня Наташа... Жалко ее, — сказал Глеб, раздвигая рукой кусты. — Мы сегодня на рассвете по этому самому перелеску гуляли. О нем, о Васильеве, двух слов не сказали, но чувство тяжелое было у обоих: словно рушилось все. Будто червь какой-то ее душу точит. Когда встретились мы с ней впервые, любила она вести странные разговоры: обречено, дескать, наше поколение — живем мы в трудное время, испытания нам суждены большие... Мне это казалось тогда модной блажью. И объяснение легко было найти: красивая она, умная, а жизнь по началу неудачно сложилась — первый муж оказался беспутным человеком, потом стал преследовать ее своею любовью курчавый недотепа — помнишь, который появился с револьвером в ее номере, в Перми? Я тебе о нем рассказывал... Вот и стала она собственные неудачи всему поколению приписывать. Теперь то же у нее в голове: близится будто бы время распада, всеобщей гибели, и нет уже никакого закона человеческой душе. От жизни надо брать все, к чему сердце влечет, не раздумывая, не жалея... Она говорит, что отныне время таких людей, как Васильев, наступило — беззаконников и себялюбцев. Он красив? — спросил Глеб.

— Красив...

— Может быть, и красив и умен, — нехотя согласился Глеб, — но растленный он человек, душа у него гнилая. Есть в нем, правда, какая-то сила: от него и не такие, как Наташа, с ума сходили. Подмигнет припухшим веком своим, оскалит мелкие зубы — и хоть на край света готовы бежать за ним.

— Почему же решил ты, что Наташа влюбилась в Васильева?

— Тентенников со мной разговор жестокий имел. «Ты, говорит, можешь меня возненавидеть, но у меня на жизнь

собственный взгляд: ничего нельзя от друзей таить. Вот потому-то я тебе правду скажу...»

— И сказал?

— У него слова грубые, рубит плеча...

— Ты, конечно, объясняться поехал с Наташей?

— Сначала на Тентенникова дулся, дня два не говорил с ним, да понял, что все это он рассказал по дружбе. Помирился потом, а с Наташей так и не объяснился... Тут новые дела подоспели, Лена из Петрограда приехала нас повидать. Вот дело и заморозилось.

— А когда же Елена Ивановна уедет?

— Завтра. Она теперь снова живет на старой нашей квартире: после смерти Загорского в отцовский дом вернулась...

— Как проводим ее, Глебушка, сразу поедem в отряд. Хочется поскорей посмотреть вашу армию. Ее хвалят, в других-то царевы генералы плохую славу завоевали...

Глеб молчал, и разговор перебил, точно разучились приятели за годы разлуки понимать друг друга с полуслова.

— Славная она! — тихо промолвил Быков. — Ты знаешь, Глебушка, если бы я не был сед, я бы в Елену Ивановну обязательно влюбился.

— А ты и влюбись, — насмешливо ответил Глеб. — Я и то удивляюсь: за столько лет ни разу не подумал, что и тебе время пришло полюбить кого-нибудь.

— Это мне нелегко. Если полюблю, то так же, как ты, сразу на всю жизнь.

День догорал над крутыми склонами гор. Тускнела заря, и Быков долго вглядывался в багряно-желтую даль. Через час они вернулись в белый дом над обрывом. Васильев дремал у окна, а Наташа сидела рядом с Тентенниковым и слушала длинный рассказ летчика о давнишних его похождениях. Бледным показалось Быкову ее осунувшееся напудренное лицо.

— Куда вы запропалились? — проворчал Тентенников, обрадовавшийся новым слушателям.

Он пустился в воспоминания, помянул добрым словом давнее время, когда пили шампанское за будущие успехи авиации и шумно приветствовали первых петлистов.

— Да уж, времечко было, — просипел он, вздохнув. — Вспоминается часто. И хотя немало с той поры прошло, а о старых голодовках со злостью думаю. Вот и сейчас мне невольно один случай на память пришел... Было это году в тринадцатом. Я с завода ушел — подбил меня случайный знакомец разъезжать по городам и читать лекции об авиации. Я послушался, поехал вместе с ним. Осенью оказались мы в маленьком степном городке на Урале. Дни непогожие, хмурые, в городском саду пусто. Снял я помещение, стал читать лекции, а слушателей всего десять человек. Особенно мне одна старушка запомнилась. С биноклем пришла, в первом ряду села и после каждого моего слова вздыхает. Грустно стало, кое-как закончил лекцию. Денег даже за помещение заплатить нехватило. Вернулся в номер. А там еще трое человек собрались таких же, как я, голодных неудачников. Длинноволосый поэт, сочинивший стихотворение о босоножке и прочитавший его, как гордо уверял он, в сорока городах России, совсем захирел — он уже четвертые сутки не ел ничего. Лектор в пенсне повсюду читал лекции о семейном вопросе, но и ему в степном городке не повезло: приехал он в самый мертвый сезон, после того как закрылась осенняя ярмарка. Третьим был гипнотизер — задумчивый мужчина, горький пьяница. Он как только в городок приехал, так сразу и запил; все деньги свои за несколько дней прогулял. Сидим мы на диване и думаем об одном: как бы пообедать? Вот и придумали, что спасти нас сможет гипнотизер. Ведь он может загипнотизировать хозяина трактира. Тот за опыт и заплатит ему натурой — каким ни на есть обедом... Сказано — сделано. Собрались мы, пошли вчетвером в трактир. С хозяином сразу сговорились. Только сам он гипнотизироваться не желает — дескать, сначала полового загипнотизируйте, а там уж и я посмотрю... Зовем полового. Он подбегает как угорелый. Мы ему тотчас обед заказываем, а гипнотизер твердит: «Посмотри мне в глаза, приятель! Очень мне нравится твое лицо». Половой вдруг испугался почему-то. И беда с ним приключилась: как станет он на стол накрывать, так у него все из рук валится. И самое смешное, что ножи и вилки не падают, а то, что бьется, обязательно на полу оказывается. Тарелок он штук пять перебил.

Поэт — мужчина нервный, самолюбивый — решил, что во всем виноват гипнотизер, и тотчас ввязался с ним в драку, а мы с лектором ушли. Идем по городу, а сосет под ложечкой... Снова в номер вернулись, сидим, скучаем. К вечеру гипнотизер вернулся, принес два калача. «Я, говорит, когда мы в трактире сидели, еще не протрезвел окончательно и полового учил тарелки бить. Теперь же я в норму вошел и хозяина загипнотизировал. Одна беда: ни за что толстяк не просыпается. Так и ушел, не добудившись». Были мы сыты в тот вечер...

Тентенников сокрушенно вздохнул и, скривив лицо, спросил Быкова:

— Ты Пылаева помнишь?

— Твоего бывшего антрепренера? Он еще с нами в Болгарию ездил?

— Его самого... Он тоже теперь неподалеку оказался.

— Что же он делает тут?

Тентенников не успел ответить. Васильев подсел к летчикам и тихо спросил:

— В отряд сегодня поедете?

— Завтра собираемся, — отозвался Быков.

— Не неволю. Можете и завтра. Но помните, что скоро наступят горячие дни.

Он отвел в сторону Быкова и усадил его на диван рядом с собой.

— Мне с вами поговорить хочется обстоятельней. Вы — богатырь. Без преувеличения скажу: вы даже не представляете, как любит вас армия. Мотористы и механики, узнав, что вы переходите в наш отряд, обрадовались. Еще бы, — с завистью сказал он, поглядывая на новенькие крестики, — вы настоящий герой — Кузьма Крючков авиации.

— Полноте, я ли один... Таких, как я, много, и если прямо говорить, то и мои приятели тоже чего-нибудь стоят...

— Понимаю. Дружеские чувства, — многозначительно ответил Васильев. — Преданность в дружбе — благородная черта. Тем более хочется и мне, забыв старое, сдружиться с вами. Прошу только об одном: если другие будут вам плохо говорить обо мне, не верьте, прежде чем не убедитесь сами.

— Собственно говоря...

— Ничего больше, — успокоил Васильев. — Не каждый человек может понять чужую душу. Только о том я и хотел сказать вам...

Он поднялся с дивана, улыбнулся, обнажив бледные десны, и вышел из комнаты.

— О чем он с тобой разговаривал? — спросил Тентенников, когда затихли в отдалении шаги Васильева.

— Не пойму, комплиментами занимался да уговаривал не верить злым рассказам о нем.

— Напрасно он старался, — рассердился Тентенников. — В отряде у нас тяжелая жизнь, скоро ты сам увидишь. Конечно, если мы трое будем друг за друга держаться, никак ему не справиться с нами: лиса он, право, лиса. И нам с Глебом он сначала сладкие песни пел, но мы теперь поняли, какой он мерзавец... Он на войну все свои надежды возлагает, отличиться думает, чина добиться высокого хочет. А сам-то — человек темный, двоедушный...

Быков слушал невнимательно — хотелось побеседовать с Леной, но никак не удавалось остаться с ней наедине.

— Потом поговорим, — сказал он Тентенникову. — А я тебя вот о чем попрошу: вызови-ка Лену сюда.

Лицо Тентенникова расплылось в широкой, добродушной улыбке. Он подмигнул Быкову, похлопал его по плечу и громким шопотом, который, как казалось Быкову, можно было услышать в самом дальнем углу комнаты, доверительно сказал:

— Мне и самому Лена до смерти нравится. Но, понятно, для тебя удружу...

Лена вышла заспанная, в коротком платье, в платке, накинутом на плечи, в туфлях на босу ногу. Лицо ее было румяно после сна, и губы немного припухли.

Несколько минут не мог Быков промолвить ни слова. С той поры как узнал он Лену, не было дня, когда бы не думал о ней. А как он мечтал о встрече с ней в военную пору! В старом авиационном отряде у него было много приятелей, но не было настоящего друга. И всегда ему казалось, что именно Лена сможет стать таким другом, что с ней он сможет делиться своими думами и переживаниями, радостями и несчастьями...

Он глядел на Лену — и ничего, кроме этого светлого лица, не существовало теперь для него.

— Елена Ивановна... — сказал он, протягивая к ней руки. Он вдруг почувствовал, что не может сделать ни шагу больше, и остановился возле окна.

Лена внимательно посмотрела на него и подала руку.

— Пойдемте, погуляем, — тихо промолвил Быков.

— Пойдемте. Я люблю ходить по лесу в пору, когда в доме еще спят. У меня здесь есть излюбленные места. Мы пойдем сегодня к кургану.

Она шла быстро, легко, широким, почти мужским шагом, и это, как и все в ней, тоже очень нравилось Быкову.

«С такою можно по жизни рядом шагать, — думал он, — в них, в Победоносцевых, от старика своенравие какое-то есть, и на других они непохожи».

Они подошли к кургану молча; разговор как-то не клеился, да и не хотелось Быкову говорить, — только бы чувствовать ее дыхание совсем близко, рядом с собою, да вслушиваться в хруст песка под ее высокими каблуками...

— Как вы Глеба нашли? — спросила Лена.

— Ничего не понимаю... Показалось мне, будто с Наташей не ладится у него. Да и Глеб сам признался.

— Не ладится? — переспросила Лена. — Знаете, Быков, мы, Победоносцевы, очень несчастливы в жизни. Мать разошлась с отцом, сама была несчастна в новом браке, и мы выросли в надрыве каком-то. Сережа молодым застрелился. Я недолго жила с мужем — так страшно погиб он... На старика поглядите: он ведь тоже страдает.

— Знаете, Елена Ивановна, — дрожащим голосом проговорил Быков, — мне кажется, что лучше сейчас быть несчастным, чем счастливым. Тот, кто счастлив сегодня, по-моему, очень подл. Пока вся жизнь не изменится, не будет у людей настоящего счастья. Нельзя счастливым быть в одиночку, надо, чтобы вокруг тебя все радостно пело...

— Все мы несчастны, — вздохнула Лена. — Но у Глеба по-особенному тяжелая жизнь. Он благородно отходит в сторону, не хочет мешать Наташе: дескать, человеческое чувство свободно, а Васильеву это на руку.



Я по-другому на вещи смотрю: и в любви жестче нужно быть, непримиримей. — Она оглянулась и тихо спросила: — Любите вы кого-нибудь?

— Старика отца люблю. Он у меня потешный, выдумщик страшный, но доброй души человек. Только верить ему нельзя, Елена Ивановна, обязательно что-нибудь приврет. Вот и недавно я письмо от него получил из Москвы. Пишет, будто бы объявилась на Остоженке говорящая лошадь...

Лена нахмурила брови.

— Зачем же он врет?

— Со скуки врет, Елена Ивановна.

— А кроме старика никого у вас нет?

— Приемный сын, Ваня. Занятный мальчишка.

— Не то, Быков. Любите вы кого-нибудь? Есть ли у вас жена, близкий человек?

Быков смущенно молчал, и Лена сама смутилась, почувствовав его волнение: он мог неправильно понять ее, невесть что подумать...

— Если бы от вас уходила любимая женщина, вы бы поняли, что чувствует Глеб: ему кажется, будто земля уходит из-под ног.

— Вы говорили с Наташей?

— Ни слова. Она и с Васильевым-то за последний месяц ни словом не перемолвилась: пожалуй, и сама страдает страшно...

— Жалко мне Глеба...

— Очень он обрадовался, когда узнал о вашем приезде. И прошу вас, Быков, не давайте ему особенно рисковать. Он добрый, простой... Так легко погубить его.

— Будьте спокойны, Елена Ивановна. После сегодняшней нашей беседы он стал мне особенно дорог. Ругать его за нерешительность надо, но ведь сердце-то у него золотое. И потом характер у меня такой, что я обязательно о ком-нибудь заботиться должен.

— Неужели же войне никогда не суждено кончиться? Глеб говорил однажды, будто кончится она только тогда, когда нас, грешных, сверху песком засыплют и глиною закидают...

— Жизнью должно это кончиться, а не смертью, — ответил Быков и взял Лену под руку. Хоть о самом главном, о том, что томило и мучило его столько лет, не было

сказано ни слова, ему казалось, что тоненькая нить, связывающая его с Леной, стала прочной после сегодняшнего разговора, и легко шел он по тропе, проторенной вдоль кургана.

Чай пили молча, только Тентенников затеял какой-то нелепый спор со стариком Победоносцевым.

Теперь, когда не было за столом Васильева, человека постороннего и не связанного с их прошлой жизнью, сразу стало легче думать, и Быков с любовью всматривался в лица окружавших его людей — ведь судьба каждого из них была частицей его собственной жизни.

Старик Победоносцев оборвал на полуслове спор с Тентенниковым и схватился за голову.

— О самом-то главном забыл! Вчера, когда обход делал, свежие газеты принесли. Там есть сообщение о новой бомбардировке наших прифронтовых городов.

— Много убитых? — спросил Быков.

— Конечно, немало...

— Кайзеровские генералы немецких летчиков на свой лад воспитывали, — сердито сказал Тентенников. — У них юнкера и кавалеристы в авиацию поперли и вот такую же, как наш Васильев, создали теорию: дескать, без кровопролития на войне человечество одряхлеет. Вот, значит, и омолаживай его бомбами с неба... Из рабочих и крестьян у них летчиков нет. Некоторых таких молодчиков я еще за границей встречал. Они так прямо и говорили, что со временем Европе несдобровать. Мне тогда их речи бахвальством казались, а вот поди же...

— У нас тоже один такой изверг появился, на нашем участке, — сказал Победоносцев. — Солдаты и мотористы прозвали его «Черным дьяволом». Он свой самолет выкрасил в черный цвет, а крест на плоскостях у него белый, так что именно его легко распознать в небе. Несколько раз он сбрасывал вымпела с записками, угрожал нашим летчикам и заявлял, будто бы нечего и думать о победе над ним. Я однажды с ним встретился, но он боя не принял — бежал. У нас в отряде есть хороший летчик, поручик Скворцов, — он поклялся, что в этом месяце обязательно собьет хвастуна. Но «Черный дьявол» все еще в небе.

— На каком самолете летает «Черный дьявол»? — спросил Быков.

— На «альбатросе», — хмуро отозвался Тентенников. — Специальность его — налеты на аэродромы и лавозареты в тыловых городах. Поезда, эшелоны с войсками бомбит, транспорты. С таким подлецом только один расчет — когда он будет бомбить госпиталь или сбрасывать стрелы в толпы беженцев, надо подняться в воздух и уничтожить его самого.

Однажды на Северном фронте моторист, подобравший стрелу, сброшенную с аэроплана, нашел на ней клеймо: «Изобретено во Франции, сделано в Германии». Убивая людей, летчики сообщали родственникам убитых историю смертоносных стрел.

— Неужели к концу войны от европейских городов одни пожарища останутся? — спросил старик Победоносцев. — Мы, когда молодыми были, ни за что не поверили бы, что такое время наступит.

— И все-таки оно наступило, — сказал Глеб. — И если по правде сказать, я даже рад, что в такое время живу. После войны жизнь измениться должна. Одного только страшусь: умереть до конца войны, не зная, как люди будут жить дальше.

— Ты снова пил? — сердито спросила Наташа.

— Время собираться в дорогу, — примиряюще сказал Тентенников, — пойду лошадей запрягу.

Прощанье было долгое, и Быков поминутно оглядывался, пока не скрылся за поворотом дом на пригорке. И долго казалось ему, будто мелькает в тумане белый платок Лены.

## ГЛАВА ВТОРАЯ



В маленькой бричке было неудобно сидеть троим рослым людям, — Тентенников злился, поминал недобрым словом делопроизводителя отряда, снарядившего в дорогу такой неудобный экипаж и самых тощих лошадей, какие только были в здешних местах.

— Слабосильны южные кони, — сердито твердил Тентенников. — Наш битюг — тот вывезет, а здешние кони

неблагонадежные, как говорят у нас в отряде: два шага рысью, третий галопом, а четвертого не в силах сделать...

Кони, точно, были очень жалки, но все-таки тащили бричку по рытвинам и колдобинам проселка. Дорожная колея вилась по холмам лениво, словно нехотя. Летчики разглядывали широкий простор, медленно раскрывавшийся перед ними.

— Скоро ли? — спросил Быков, наскучив дорогой, когда лошади вышли на новую колею и колеса зашаркали по непролазной грязи.

На новом проселке было много суесящихся людей. Кто-то кричал, кто-то лениво переругивался, кто-то упрямо погонял лошадей, и среди этой дорожной бестолочи, как памятник, высился грузовой автомобиль, груженный мешками с мукой и картошкой. Застрял он в грязи и никак не мог сдвинуться с места — напрасно подкладывали доски под колеса, подталкивали автомобиль плечами и выгружали прямо в грязь тяжелые мешки.

— Уже приехали, — сказал Тентенников, указывая на одинокий дуб, стоявший на пригорке. Какой-то сердобольный прохожий заколотил досками широкое дупло. Дуб шумел на ветру, словно рассказывал отдыхающим солдатам о тех, кто раньше искал приюта под его широкими ветвями.

В палевой бледной дымке полноводная река блеснула на солнце, как лезвие казацкой шашки, а дальше тянулись лощины, в которых плавали последние клочья утреннего тумана.

— Вот и аэродром наш, — угрюмо сказал Тентенников, вскидывая руку. — Место хорошее, а до чего же мне тут надоело! У нас на Волге просторней и лучше... В такую пору уже половодье, плывут на север баржи, расшивы из Астрахани с гулом несутся, небо с речным простором сливается, сердце поет...

Под гору бричка помчалась быстрее. Кони весело заржали: чувствовали они, что кончается утомительная дорога по грязи.

— Рады небось... Домой приехали, — завздыхал Тентенников. — А мне хоть бы и совсем сюда не возвращаться...

— А «Черный дьявол»? — спросил Быков, напомнив приятелю о самолете, так ненавистном Тентенникову.

— Это ты правильно напомнил. Дорого бы я дал, если бы мне довелось его уничтожить.

Первый же моторист, которого они встретили, сказал им, что Скворцов поднялся сегодня в небо и обещал обязательно сбить «Черного дьявола».

На низком лугу, у самого берега, раскинулся аэродром, и тут же неподалеку высились деревянные, наспех сколоченные постройки, белели ангары.

— Я тебе сейчас же своего «Пегаса» покажу, — сказал Тентенников.

— Не к спеху, успею еще с ним ознакомиться, — сказал Быков. Но Тентенников не успокоился до тех пор, пока не привел приятеля в ангар. В самом углу стоял старенький самолет с заплатками на крыльях — следами многих боевых ран.

— Ветеран войны нынешней, — ласково сказал Тентенников. — Его мотористы «Пегасом» называли после первого моего полета. С тех пор и осталось за ним поэтическое прозвище. А я и привык к нему. Вот уже пять месяцев на нем летаю.

— Долго летаешь, — удивился Быков. — В нашем отряде, знаешь, какая убыль была? Каждую третью машину в месяц гребали...

— А ему все нипочем! Живуч мой «Пегас».

— Когда ты в отряд попал?

— Я первый год войны в Петрограде проработал, — ответил Тентенников. — Морские лодки сдавал. Лодки были очень хорошие, получше заграничных, их тогда сам знаменитый Григорович строил. Что ни машина — прелесть. Да ведь испытателю все нелегко дается. Два случая было, что я горел на воде и тонул. Один раз загорелась лодка. Я в носовой части сижу и не пойму, что делать. В воду прыгать? Потонешь — до берега далеко. В самолете остаться? Сгоришь. Спасибо, катерок проходил — сняли меня. Во второй раз просто тонул; двухмоторную лодку испытывал, сил в триста пятьдесят, работы того же Григоровича. В полете очень была хороша, а для летчика — нет особого удобства: садишься словно в колодец, выбраться трудно. Носовая часть в ней открыта, вот и случилось однажды... Ладно, ладно, после доскажу, — сказал он, заметив, что Быков слушает

невнимательно. — Пойдем устраиваться. Ты, может, и соснуть хочешь с дороги?

Они пошли к халупе, в которой жили летчики, и дорогой Тентенников успел все-таки рассказать о пяти своих воздушных победах.

В тесной халупе стояли походные кровати; на маленьком столе лежали карты и чистые листы бумаги; на печке был неизменный, черный от копоти, эмалированный чайник.

Одна из постелей была не смята.

— Соколик один тут жил, — тихо сказал Тентенников. — Подстрелили его на прошлой неделе. Теперь ты будешь тут спать. Помыться хочешь?

Быков снял гимнастерку, но вымыться так и не успел: внезапно услышал гудение мотора и выбежал из халупы.

— Сковорцов вернулся, — добродушно ухмыльнулся Тентенников. — Хороший парень. Ты подружись с ним. Когда из-под Ивангорода наша армия отступала, он принял бой с четырьмя вражескими самолетами и один из них сбил. . . Вот интересно узнать, чем кончилось у него сегодня с «Черным дьяволом».

— погоди минуту, — сказал Быков, — кажется мне, что не один самолет подлетает к аэродрому. Будто еще один мотор голосит.

Они прислушались, и тотчас Тентенников вскрикнул:

— В самом деле, два аэроплана в полете!

Теперь уже не было сомнения: следом за самолетом Сковорцова летел вражеский аэроплан. Самолет Сковорцова приближался к аэродрому, но было что-то тревожное и неуверенное в скольжении машины.

Взволнованные летчики не могли сдвинуться с места, да и не спасла бы теперь Сковорцова никакая помощь.

А самолет продолжал скользить, круче становились виражи, и вот показалось вдруг на мгновение, что неподвижно висит под облаком «альбатрос».

— «Черный дьявол»! — крикнул взволнованно Тентенников и стиснул до хруста в суставах руку Быкова, но тот сам волновался и не почувствовал боли.

Быков уловил перебои мотора, увидел длинную тень удаляющегося аэроплана и закрыл на мгновение глаза: он привык улыбкой встречать опасность, грозившую ему самому, но тяжело переносил чужое несчастье.

Когда он снова взглянул вверх, самолет Скворцова уже сорвался на правое крыло и начал падать. Все, что было потом, плыло перед глазами Быкова в какой-то сумрачной дымке.

Летчики сразу бросились к месту, где упал самолет Скворцова.

Быков увидел Тентенникова, бежавшего рядом, Глеба Победоносцева и много незнакомых солдат.

Тело Скворцова с беспомощно раскинутыми руками лежало под обломками самолета, и все сняли фуражки, отдавая последнюю честь разбившемуся летчику.

Вскоре его перенесли в ангар и положили на шинель.

Летчики молча сидели на досках у входа в сарай.

На коленях у Победоносцева лежал пакет, найденный в кармане Скворцова. В пакете было несколько писем, написанных выцветшими, рыжими чернилами, коротенькая записочка товарищам с просьбой переслать пакет в Петроград и фотография женщины, которую любил Скворцов. Лицо ее было бы совсем заурядно и буднично, если бы не было в ее глазах страдальческого выражения, запоминающегося надолго. Быков заметил, как дрогнули губы Глеба, когда он увидел это лицо, и снова ему стало жаль приятеля. «Может быть, — подумал Быков, — и карточка Наташи лежит теперь в бумажнике Васильева с такой же нежной надписью, какую та женщина сделала Скворцову!»

Нет, не напрасно так часто говорили о любви на привалах у дорожных костров, в свободные часы между двумя полетами, в грязных палатах лазаретов, где лежали калеки: тяжело умирать без привязанности, без любви, без мысли, что где-нибудь в далеком, занесенном снегами городе вчитываются в неровные строки предсмертного письма милые заплаканные глаза...

Быков научился за годы войны хорошо понимать, что смерть страшнее не тем, у кого много привязанностей в жизни, а одиноким, желчным людям: таким кажется, что с их смертью гибнет все мироздание...

Незаметно завязался разговор о жизни и смерти, об испытаниях войны, о воздушных боях...

Об одном только не говорили они: о судьбе Скворцова.

С волнением подумал Быков о предстоящей своей встрече в воздухе с «Черным дьяволом». Кто знает,

может быть именно ему, Быкову, суждено сбить вражеский аэроплан?

— Наша судьба простая, — вздохнул Тентенников, — у летчика жизнь короткая. А может, кажется только? Летчиков мало. Вот о каждой аварии тотчас и идет разговор... Ведь и на железных дорогах крушения бывают и океанские корабли тонут, а меньше о том болтовни. А насчет аварий самолетов — вечные толки. Есть еще на свете и любители приврать, преувеличить...

Потом он снова огорчился:

— А помните летчика, погибшего над Альпами? Как его звали?

— Шавез, — ответил Победоносцев, слывший ходячим энциклопедическим словарем авиации.

— Тогда кричали, что такой смерти подражать надо...

— Ненавижу лживую романтику, — сказал Глеб. — Наше дело — такая же профессия, как и всякая другая. Только больше ума иметь надобно, чем другим, да смелость нужна: без нее ни на шаг.

— И уменье, — сказал Быков.

— И привычка, — отозвался Тентенников. — Я к «фарману» привык, а «блерио» мне не нравится.

— Пожалуй, ты неправ, — возразил Быков. — «Блерио» лучше, чем «фарман»... А из тяжелых самолетов лучше нашего русского «Ильи Муромца» на свете нет — его машиной будущего зовут...

Они поговорили об утратах, добрым словом помянули разбившихся и погибших летчиков, порадовались успехам старых товарищей.

Рано утром приехал из штаба армии Васильев. Был он сосредоточенно угрюм и, узнав о смерти Скворцова, перекрестился, — жест поручика показался Тентенникову фальшивым и неискренним: конечно же, неспособен был такой субъект, как Васильев, жалеть погибшего в честном бою офицера. Ведь он ни о ком из подчиненных никогда не заботился, никому не оказал помощи, думал только о себе, о своей выгоде и удобстве...

Вернувшись с кладбища после похорон Скворцова, Васильев попросил летчиков зайти в штаб.

— Неприятная история, — сказал он, морщась и дергая припухшим веком. — Бензин у нас кончился... Теперь



несколько дней нельзя будет летать. Придется вам, Тентенников...

Тентенников встал из-за стола. Он казался огромным рядом с маленьким подтянутым Васильевым.

— Возьмите транспорт и немедленно отправляйтесь в город за горючим. Понятно?

Подумав, он сказал сердито:

— Вам поможет прапорщик Победоносцев.

Он избегал говорить с Победоносцевым и приказание передавал обычно через Тентенникова. Это злило гораздо больше Тентенникова, чем Глеба.

Васильев ушел в свою халупу, Тентенников и Победоносцев уехали в город, верст за сорок, а Быков долго ходил по аэродрому, рассматривая машины, знакомясь с мотористами.

Авиационные отряды были новыми, впервые в нынешней войне созданными соединениями.

В каждой области военной техники была уже вековая традиция, участие же авиации в войне было внове.

Перед войной армии европейских государств начали соревноваться в строительстве самолетов.

Быков помнил недавнюю Балканскую войну и первые, почти игрушечные бомбы, которые сбрасывали тогда с самолетов. Теперь авиация стала необходимой частью военной машины. Каждый месяц формировали и отправляли на фронт авиационные отряды.

В огромном хозяйстве войны появились воздушные части. Иные генералы, жившие по старинке, никак не могли понять, что авиация вносит решительные изменения во все военное дело; Быков помнил ходивший по фронту рассказ об одном таком «старовере», собутыльнике предателя генерала от кавалерии Ренненкампа: «Не велика беда, что новоиспеченные летчики не умеют посадить самолет. Пусть сбросят бомбы на противника, а там, если захотят жить, садут...»

Что такое авиационный отряд тысяча девятьсот шестнадцатого года?

Это широкое поле аэродрома, на лугу или на заброшенном ипподроме.

Это походные мастерские, палатки, ангары.

Это семь или восемь самолетов, из которых добрая половина нуждается в ремонте.

Это семь или восемь летчиков по списочному составу. Отечественные заводы не наладили серийное производство моторов, но и на плохих самолетах русские летчики побеждали врагов.

До войны было много споров между воздухоплавателями и авиаторами. Кайзеровская пропаганда чрезмерно расхваливала цеппелины, угрожала, что налеты дирижаблей принесут огромные разрушения вражеским городам. В январе 1915 года немецкий цеппелин появился над Либавой. Он сбросил девять бомб, но, подбитый огнем русской артиллерии, упал в море и был расстрелян подоспевшими катерами. В соревновании с дирижаблями аэропланы доказали свое преимущество. Русские конструкторы создали еще до войны мощные тяжелые самолеты, в честь былинного богатыря названные «Муромцами». «Муромцы» отлично выдержали боевые испытания. Быков наблюдал однажды бой «Ильи Муромца» с немецкими аэропланами. С вышедшим из строя мотором, с множеством пробоин «Муромец» плавно снизился на аэродром, — всякий другой самолет, получивший такие повреждения, несомненно не мог бы спастись. В другой раз три немецких аэроплана ввязались в бой с «Муромцем» и построились треугольником, чтобы обстреливать его с трех сторон. И в этой схватке «Муромец» победил, сбив два самолета.

«Илья Муромец» быстро стал образцом для иностранных самолетостроительных фирм: ему подражали, его детали копировали, его летные данные присваивали английский «сопвич», американский «кертис», немецкие аэропланы «сименс-шуккерт».

В начале войны, в 1914 году, только у России были многомоторные воздушные крейсера, но из-за экономической отсталости страны промышленность не смогла наладить массовый выпуск «Муромцев». Русская конструкторская мысль во всей истории авиации шла впереди, родиной тяжелого самолетостроения стала Россия, но серьезной авиационной промышленности в стране не было.

С тех пор как впервые Быков взлетел на планере банкира Левкаса, жизнь его была связана с самолетом. Всюду, куда доставляли самолеты, — от ярмарочных полетов на провинциальных ипподромах до полей сражений великой войны, — неизменно появлялся он как человек,

чья жизнь была посвящена новой могучей машине. Он любил свою трудную, но благородную профессию.

Он привык к самолету так же, как привыкают к другу. Самолет для него никогда не был бездушной машиной.

И для других летчиков самолет был живым существом: или просто другом, или милым другом, или даже вечным другом, как писали они на фюзеляже.

Молоденький моторист показал Быкову машины, на которых летали летчики отряда: знаменитый самолет Тентенникова «Пегас», «ньюпоры» Васильева и Глеба Победоносцева. Каждая машина имела свою кличку, свое особенное прозвище: самолет Тентенникова оставался «Пегасом», «ньюпор» Васильева звался ухарем-купцом, а третий — скатертью-самобранкой; пикирующий полет Победоносцева славился в отряде. Зашел Быков в ангар, да так и просидел там до вечера, регулируя свой самолет. А когда возвращался в халупу, чтобы подремать до обеда, встретил его Васильев.

— Я за вами. Идемте ко мне обедать.

Тихий и расторопный денщик накрыл уже на стол. Он осторожно разливал суп в тарелки и все время покачивал головой, словно чем-то был очень удивлен сегодня.

— Питаемся неважно, — расстегивая китель, сказал Васильев. — Хорошо еще, что из города вчера продукты прислали.

Быков ел молча. Васильев говорил отрывисто, резко, словно шашкой рубил сплеча:

— Наш отряд особенный — не похож на другие. В самом деле, подумайте только: год назад в нашем отряде было пять летчиков-офицеров. После гибели Скворцова я остался один. Победоносцев произведен в прапорщики из вольноперов, вы — как полный георгиевский кавалер, Тентенников же попросту загадочная картинка. Знаете, как он числится в списках? Ни солдат, ни офицер — ни курица, ни птица, а просто как находящийся при отряде летчик-сдатчик Щетининского завода.

Быков молчал — он не мог преодолеть давнюю неприязнь к Васильеву, но поручик, не смущаясь, продолжал беседу, время от времени вскидывая правую руку, будто это помогало ему найти нужные слова:

— Я люблю людей, которые много видели. Жизнь без впечатлений скучна. С детства увлекался описаниями

подвигов конквистадоров. Понимаете, в чем было отличие их от простых путешественников? — спросил он, дернув припухшим веком. — Ведь конквистадоры открывали новые земли мечом. Понятно? Это нравилось мне. Я вырос в Севастополе. Мальчиком уходил с рыбаками в море. Потом — после кадетского корпуса — начались скитания. Я странствовал, стрелялся, любил, ненавидел и пережил столько, что не изложить и в десяти книгах. Брешко-Брешковский выпрашивал у меня сюжеты, я ему расскажу какую-нибудь историю, смотришь — он и тиснул ее в газетке. На пляже возле Мельбурна — это лучший пляж, какой только существует на нашей планете, — я встретил девушку, англичанку. Три года ездил с ней по пустыням и тропическим лесам. Потом она мне вдруг надоела, и я вернулся на родину. Россия, снег, белые ночи на севере, дожди на юге — в Одессе и Батуме. Надоело скитаться, и я — в армии... Впрочем, стоит ли вспоминать прошлое? Вы счастливы? — вдруг спросил он тоном человека, который, правдиво рассказав о себе, требует и от собеседника такой же откровенности.

Быков удивленно посмотрел на него, отставил в сторону тарелку.

— Я потому спросил, что вы, как кажется мне, влюблены в сестру Победоносцева. Не пробуйте скрываться, я человек наблюдательный.

— Я не привык говорить о таких вещах с малознакомыми людьми, — раздраженно ответил Быков. — У нас с вами отношения чисто служебные, да и вообще-то я не люблю болтать о себе.

— Ваше дело. Не требую откровенности, если не чувствуете необходимости поделиться личным, но запомните: разговор об интимном особенно сближает людей.

Он снова заговорил, торопливо проглатывая окончания слов, — Быкову казалось, будто Васильев боялся, что не успеет сказать.

— А я много думаю о применении авиации на войне, — сказал Васильев. — Мы — детище новой тактики, если хотите, новой стратегии. Сколько авиационных отрядов в действующей армии? Никто толком не знает, боюсь, что в нашем генеральном штабе никому не известно об этом, но примерно-то можно предположить: несколько десятков. Теперь заметьте, — он постукал ку-

лаком по столу и сердито наморщил лоб, — каковы наши отношения с армейским командованием?

Он задумался, отставил стакан, огорченно сказал:

— Отношения странные. Мы все-таки не входим в общевойсковую систему до конца. Скорее между нами и войсковыми соединениями такие же отношения, какие существуют между интендантами и подрядчиками. Заказчик говорит мне: поставьте в этом месяце столько-то воздушных разведок, сделайте столько-то фотосъемок, столько-то бомбардировок таких-то пунктов. Все. Если при исполнении этого задания встретите врага — поступайте как знаете: хотите — деритесь с ним, хотите — удирайте, лишь бы мой заказ был выполнен...

— Многое ведь оттого происходит, что еще не привыкли к нашему оружию.

— Дело не в этом: взаимодействие войск со временем по-новому будет решаться. Оперативное искусство после появления воздушного флота пересмотреть надо. Я мечтаю о том, что настанет время, когда воздушная армия будет самостоятельна, ни от кого не зависима и сумеет сама, без помощи сухопутных частей, совершать огромные стратегические операции... Представьте на миг армию в тысячу самолетов, которая решает судьбу войны, и вам многое станет понятно...

«Хитер, бездельник», — подумал Быков, чувствуя, что серьезная беседа ведется только потому, что поручик хочет поближе узнать его.

— Да-с, — продолжал Васильев, — а что касается разных поручений, которые делают нам сухопутные заказчики, то случаются среди них и поручения деликатного свойства, как говорит мой друг Пылаев. Он теперь здесь с легучим отрядом Союза городов.

— Вы не сердитесь, — ответил Быков, — но мы Пылаева помним еще в Болгарии, — жулик. А Тентенникова он в десятом году попросту обворовал...

— Вы к нему несправедливы, — задумчиво сказал Васильев. — Честолюбив, до денег жаден, но отнюдь не жулик... У него наружность пошлая, но широкой души человек. Я с ним немало скитался по свету... Да, кстати, друзья ваши еще не приехали, здесь делать нечего, почему бы нам не поездить по округе? Помните, как Чичиков ездил, скупая мертвые души, по русскому

захолустью? Давайте после обеда возьмем чичиковскую бричку и поедem по таким же задворкам: по захолюстью войны. Кстати в город заедem, «кодак» с собой возьму, сниму вас в каком-нибудь живописном месте.

Быкову не хотелось разъезжать с Васильевым, но, подумав, он согласился: ведь надо же приглядеться к командиру, понять его до конца...

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ



се та же бричка стояла у халупы, и те же унылые, тихие кони печально трясли длинными мордами. Васильев звякнул шпорами и тихо сказал:

— Прошу.

Плетеный кузов брички был грязен, кожаный верх ободран. Быков сел, откинувшись на торчащую клочьями обивку.

— Как Чичиков, мы сегодня выехали с вами, — сказал Васильев, когда белые палатки аэродрома пропали в синей дымке. — Только думаю, что здесь бы Павел Иванович больше мертвых душ отыскал, чем в губернском своем захолюстье.

Ему полюбилась, должно быть, эта мысль, и долго поминал он недобрым словом самого Чичикова, лошадей чичиковских, чичиковских слуг, а о себе самом выпендренно сказал, что он всегда искал только душу живую.

Кони бежали веселей, чем вчера. Часа через два уже показалась за поворотом деревушка, где раскинулся отряд Пылаева.

Деревушка была тихая, светлая. Белые мазанки раскинулись по косогорам. В огороде, между грядками, горбилося пугало. Длинные рукава его стлались по ветру. Злые собаки лаяли на задворках, не решаясь выбежать навстречу бричке, — должно быть, отучили их от этой привычки проезжие солдаты. Подсолнечники в огородах тянулись к солнцу.

— Нравится деревенька? — спросил Васильев. — Еще бы! Пылаев плохую не выберет.

На самом краю деревни Быков заприметил халупу, флаг с красным крестом, высокий автомобиль, стоявший поодаль. Это и был «летучий» отряд Пылаева.

В те дни, когда линия фронта проходила неподалеку, летучка была в пяти верстах от передовых позиций. Теперь армия ушла далеко вперед, а летучка не успела еще сняться с места и осталась в тылу.

Васильев бросил вожжи. Коня понуро застыли возле автомобиля.

Пылаев дремал, когда вошли летчики; но стоило им остановиться у порога, как тотчас же встрепенулся, пошарил рукой под кроватью, достал оттуда пенсне и весело промолвил, протягивая мягкую руку Васильеву:

— Наконец-то! А я уже думал, что изволили меня позабыть.

— Я не один, — торопливо промолвил поручик. — Со мною еще один гость.

Увидев Быкова, Пылаев смутился. Смутился и Быков. Он пристально смотрел на Пылаева, словно хотел убедиться, что на месте выбитых разрывом гранаты зубов до сих пор еще зияет кровавая дыра.

Пылаев улыбнулся, блеснул длинный ряд золотых зубов, и Быков заметил, что проходимец понемногу успокаивается и смотрит прямо в глаза, не отводя взгляда.

— Милости прошу, — сказал Пылаев, здороваясь с Быковым и ногой подвигая табуретку для неожиданного гостя. — Петька! — крикнул он, протирая ваткой пенсне. — Петька!

В халупу вбежал вихрастый санитар.

— Душа моя, — сказал Пылаев, — сбегай к Марье Петровне, скажи, что мы к ней придем скоро. Да пусть она позовет Марию Афанасьевну.

— Марию Афанасьевну? — прищурился Васильев. — Кто такая?

— Новенькая, к нам недавно приехала. Чудесная девушка! — ухмыльнулся Пылаев.

Он искоса посматривал на Быкова, словно хотел окончательно убедиться, что перед ним тот самый суровый и требовательный летчик, которого он так побаивался в Болгарии.

— Новостей много, — говорил Пылаев, сложив ноги калачиком и откашливаясь. — Не кажется ли вам, Марк

Сергеевич, что большие предстоят изменения? Я, по правде говоря, уверился в них давно. Так продолжаться не может. Скоро наступать станем. Где-нибудь обязательно прорыв фронта будет.

— Будет, обязательно со временем будет... — мечтательно ответил Васильев.

В соседней халупе жили женщины, и чувствовалось, что они стараются держать свое полутемное помещение в чистоте и порядке: на полу выложены пестрые коврики; олеографии, вырезанные из журналов, висят на стенах; на узких железных кроватях — пышно взбитые подушки и белые покрывала.

Мария Афанасьевна оказалась молоденькой девушкой, гимназисткой, ушедшей на курсы сестер милосердия из последнего класса, — ее даже непривычно было называть по имени и отчеству, как взрослую. Она была небольшая, стройная, с уложенными коронкой светлорусыми косами, с лучащимися добродушием глазами, и к фронтовой обстановке, в которую попала месяц тому назад, относилась восторженно. Взглянув на георгиевские кресты Быкова, она сразу же потребовала, чтобы летчик рассказал, за какие подвиги его наградили.

В комнате не было стульев, и сидеть пришлось на кроватях. Пылаев не садился и мелкими шажками расхаживал по хибарке, поминутно дергая левой ногой, словно сапог жал ногу. Оглянувшись, Быков заметил испытующий взгляд Пылаева. «Не хочет ли он со мной поговорить наедине, без поручика? — подумал Быков. — Может быть, боится, что я расскажу о его прошлых проделках?»

Рядом с Быковым села красивая смуглая женщина с повязанной щекой. Она назвалась Борексо и тотчас объяснила, что не может снять повязку, так как у нее флюс.

Беседа не клеилась. Борексо равнодушно расспрашивала о полетах, о боях и вдруг стала жаловаться, что в этих местах дрянное вино...

— Зато пейзажи здесь хорошие, — мечтательно сказала Мария Афанасьевна.

— Не хотите пройтись? — спросила Борексо, вставая из-за стола и протягивая руку Быкову.



Они вышли из халупы. Ленивыми большими глазами глядя на Быкова, женщина сказала:

— Так хорошо, что вы приехали с Васильевым... Мы здесь изнываем от тоски. Ну, поверите ли, кроме Пылаева, уже две недели ни одного интеллигентного человека не видели...

Когда вышли к мельнице, Борексо, замедлив шаг, сказала:

— Вы очень печальны. Бьюсь об заклад — осталась в Петрограде невеста.

— Невеста?

Борексо засмеялась.

— Я пошутила... Так уже повелось на фронте: у всех обязательно невесты и женихи в тылу... У меня тоже жених есть.

— Но вы не скучаете без него, — громко сказал Быков, — и едва ли очень часто вспоминаете о нем...

— Не очень часто... Разве ему приятней будет, если я все время стану ходить с заплаканными глазами?..

Она зло улыбнулась, словно ее собеседник требовал, чтобы она все время плакала, грустила и думала о своем женихе.

— А я одного вашего летчика хорошо знаю... Только давно уже не виделась с ним...

Быков испытующе посмотрел на нее:

— У нас в отряде, кроме меня, еще два летчика. Едва ли с кем-нибудь из них вы подружились, — они бы не утаивали своего знакомства от меня.

— Может быть, — вздохнула Борексо, сворачивая на узкую тропинку. — А может быть, у вас такие скрытные друзья, что всё умудряются скрывать от вас. На свете бывают и забывчивые люди. Вы меня узнаете на улице? — остановившись, спросила она.

— У меня память плохая на лица, — ответил Быков, — иногда бывает, что встретишься с человеком, которого знал когда-то, а никак не можешь вспомнить, где его раньше видел.

Борексо улыбнулась, повязка на щеке дернулась. Темные большие глаза ее были совсем близко — доступные, зовущие, веселые. Она приподнялась на цыпочках, потянула Быкова за рукав, поцеловала в губы.

Порывистый, злой, как укус, поцелуй был неожидан. Быков высвободил руку и с удивлением посмотрел на свою спутницу.

— Пойдемте назад, — вдруг сказала она, снова взяв Быкова под руку, и с грубоватой откровенностью смело взглянула на него. — Неужели вы не понимаете, что я пошутила?

Молча они вернулись в халупу. На пороге Борексо остановилась, расхохоталась и весело крикнула:

— Вот мы и пришли. . . Я, кажется, смутила прапорщика своими разговорами.

Прощаясь, Борексо нехотя протянула летчику маленькую руку в кольцах.

— Вы, кажется, недурно провели время, — лениво пристегивая вожжи, сказал Васильев. — А мне понравилась новая сестра: откуда только умудряется Пылаев доставать такие экземпляры?

— Этот жулик и не то достанет. . .

— Вы слишком пристрастно о нем судите. Он совсем не плохой человек, — отозвался Васильев. — К тому же не в монастыре мы с вами живем: было бы с человеком весело — и за то спасибо. . .

Вскоре замелькали зеленые заборы, шире стала колея дороги, послышался печальный и тягучий колокольный перезвон, — бричка въехала в город.

Улицы были многолюдны, навстречу попадалось много прохожих, военных и штатских, суетливые горожане с маленькими чемоданчиками и пузатыми портфелями зазывали прохожих в подворотни, предлагая заграничные товары.

— Я в гостинице два номера сниму, — сказал Васильев. — А вы пока погуляйте по городу и к ужину приходите.

Быков долго бродил по грязным улицам городка. В окраинном садике он посидел на узкой скамейке, прислушиваясь к разговорам солдат, отдыхающих на траве. Разговоры были невеселые, и невольно взгрустнулось. Когда Быков пришел в гостиницу, рябой швейцар провел его наверх, в угловой номер с пыльным зеркалом на столе и мятой постелью.

— А ваши уже дома, только что пришли, — сказал швейцар и вышел из комнаты.

В соседнем номере разговаривали. Женский грудной голос срывался в споре, но Быков не прислушивался к чужой беседе. Потом услышал он шум отодвигаемой мебели, звон запираемого замка, скрип половиц в коридоре: Васильев уходил из номера со своей собеседницей.

Быков подошел к распахнутому настежь окну, сел на плетеный стул и, наклонившись, посмотрел вниз на обшарпанный настил тротуара у самого входа в гостиницу.

Васильев вышел первым, остановился, позевывая, у крыльца. Следом за ним вышла женщина в плаще, остановилась рядом, нагнув красивую голову с гладко зачесанными темными волосами.

Васильев, смеясь, сказал ей что-то, но она отстранила протянутую к ней руку.

Разговор их не был слышен, но дальнзоркий Быков ясно видел усталое лицо Васильева с мешками под глазами, точно стоял рядом с поручиком.

Женщина вскинула голову. Быков узнал Наташу.

Беспокойный, словно испуганный взгляд ее показался ему попросту жалким. Он не любил Наташу, но она была женой его давнего друга, Глеба Победоносцева, человека, от которого у Быкова никогда не было тайн. И сейчас, чувствуя в ее поведении не только обман, но и предательство — ведь Васильев был непримиримым врагом Глеба, — Быков испытывал такую ненависть к Наташе, что захотелось сбегать вниз по скрипучим деревянным ступеням, схватить ее за руку и прямо сказать ей несколько откровенных слов.

Она смотрела на Васильева с виноватой и жалкой улыбкой. Потом подошла к нему совсем близко, положила руку на его плечо и снова промолвила что-то.

Васильев ответил не сразу.

Прошло несколько минут. Она вдруг отвернулась от Васильева, сторбилась, медленно пошла к гостинице.

Васильев побежал к Наташе, схватил ее за плечо, и Быков увидел, как женщина замахнулась и изо всей силы ударила поручика по щеке.

Васильев пригнулся, закрыв лицо руками.

Наташа перешла на другую сторону улицы и тотчас исчезла за углом. Васильев вбежал в подъезд, нагнув голову и не отнимая рук от лица. Трудно было понять

Быкову, что сейчас произошло. Все было непонятно и странно: жалкая улыбка Наташи, испуг ее, когда смотрела она на Васильева, пощечина, бегство поручика...

Быков хотел было броситься вниз, догнать Наташу, но подумав, решил, что его неожиданное появление смутит женщину. Да и захочет ли она сейчас говорить с ним?

«Должен ли я рассказать о случившемся Глебу? Пожалуй, должен: ведь Наташа — жена Глеба, но говорить о случившемся сейчас — значит так огорчить его, что он решится на любую глупость».

В дверь постучали, и Васильев вошел в номер.

— Вы готовы? — спросил он Быкова спокойным, ровным голосом, не выдавая своего волнения, но стараясь не поворачиваться к летчику той щекой, на которой еще багровел след пощечины.

— Готов, — глухо ответил Быков, сдерживая свое раздражение.

— Скоро поедem. Уже запрягают.

— У меня сборы короткие.

Быков долго не вступал в разговор со своим спутником, но поручик был сейчас особенно словоохотлив, словно хотелось ему отвлечься от воспоминания о ссоре с Наташей. Снова заговорили о Пылаеве.

— Я одного не понимаю, — сказал Быков, — как формируются такие летучие отряды Союза городов? Там же не мобилизованные люди служат.

— Нет ничего легче, — ответил Васильев. — Собирается несколько человек, иногда даже и совсем незнакомых, раздобывают деньги у жертвователей или сами вносят и обращаются в Союз городов. Союз городов тотчас формирует отряд. Вот и катят на фронт голубчики раненым помогать.

— Да ведь таким путем шпионы могут на фронт пробраться!

— Пробираются, — спокойно ответил Васильев.

Он помолчал и тихо сказал:

— Бисмарк говорил, что он войну в семидесятом году благодаря шпионам выиграл. И в нынешнюю войну немецкая разведка не дремлет. Был даже случай в городке, когда неожиданно одного местного обывателя в шпионаже уличили. Была у него отличная голубиная охота. Сапожник, живший по соседству, своих мальчишек вы-

учил из рогаток голубей убивать: поджаривали да ели вместо куропаток, хоть и не полагается — святая птица. Случалось, что иной раз мальчишки под крылом запяточек какие-то находили. Они их показали знакомому офицеру. Тот посмотрел, удивился, отнес в штаб. И что же? Оказывается, голуби из германского тыла к нам возвращались...

— Давно дело было?

— В прошлом году. А вообще говоря, способов войны немало. И один есть особенный: приходится и наших агентов высаживать в тылу неприятеля, — сказал Васильев. — Вот вы плохо говорите о Пылаеве, а я доказать могу, что он — человек иного склада, чем вам кажется.

В отряд приехали поздно вечером. Тентенников и Победоносцев еще не вернулись из города: до сих пор не отгрузили бензин. Узнав об этом от делопроизводителя отряда, Васильев опечалился:

— Только что с нарочным приказ доставлен из штаба корпуса: требуют завтра произвести воздушную разведку и фотосъемку; придется вам на последних остатках бензина лететь с наблюдателем.

Быкова обрадовало, что кончается вынужденное безделье и начнутся полеты. Он сразу лег спать, а на рассвете был уже в ангаре.

Механики вывели из ангара нарядный «ньюпор». Снова почувствовал Быков знакомое волнение, — каждый раз, когда брался он за ручку, казалось ему, что совершает первый полет... Аккуратный и методичный, сыздавна он вел запись своих полетов. С тех пор как записал он первый полет, прошло шесть лет. Сколько городов, названий самолетов, марок моторов значится в маленькой записной книжке! О каждом из своих полетов Быков мог вспоминать подолгу. Чего только не случалось с ним за шесть лет, в каких переделках он не был!

Сегодняшний полет был его пятисотым полетом. «Сколько раз еще суждено мне взвизгивать ввысь?» — думал Быков, взявшись за ручку, когда моторист «спросил контакт».

Снова прошли перед ним полеты давних лет, друзья-механики, хозяева, пассажиры.

Первые победы на международных состязаниях, портеты в газетах, выпущенные каким-то пронырливым дельцом папиросы «Быков», — отошедшие навсегда шумно-бестолковые годы...

Он одним из первых в России придумал тогда простое приветствие, которое так полюбили летчики: «Доброй посадки».

Он всегда предъявлял высокие требования к летчику и много требовал от самого себя, сурово осуждал других за неправильные поступки, но ничего не прощал и себе. Летчик в небе одинок. С врагом он обычно дерется один на один, и мало здесь храбрости, нужна, обязательно нужна высокая убежденность и честность... Кто проверит его слова, если бой происходил не над своими позициями? Значит, всегда нужно говорить правду, как бы горька она ни была...

Когда-то старинный воздухоплаватель, поднявшись на воздушном шаре, сказал: «Я — единственный человек на всем пространстве, освещенном солнцем».

Да, пройдет несколько мгновений, и он сможет повторить эти слова о себе... И он представил небо, которое увидит пилот в будущем, пролетая в стратосфере. Какое там небо? Он слышал от Ружицкого, что оно должно быть темным, как матросский бушлат...

Короткая пробежка по полю, и вот уже синева со всех сторон, и ветер бьет в лицо...

На самолете пулемет с пятью сотнями патронов для воздушного врага.

Земные заботы, недавние радости и печали забыты, словно ушли навсегда. Теперь тело свое уже не ощущал Быков отдельно от машины, точно и рули, и плоскости крыльев, и винт, и мотор были продолжением его собственного тела.

Самолет летел на высоте семисот метров. Сто верст надо было пройти, чтобы добыть сведения, затребованные командованием корпуса, стоявшего на самом южном участке фронта.

Вскоре раскрылась перед Быковым величественная панорама Буковины — страны, помнившей еще столетия назад первых русских. Вздымались к небу зеленые горы, и в светлых просветах между ними желтели пески, дыми-

лись болота, узкими лентами свивались дальние горные реки, а в стороне синело озеро.

Самолет шел на запад. К австрийской стороне горы становились выше, и самолет летел теперь уже на высоте в тысячу метров.

Белыми отмелями среди черного разлива холмов казались деревеньки. Сегодня впервые летчик увидел Буковину.

О Буковине часто рассказывали в отряде. Полюбились она солдатам. Глеб достал где-то изображение древнего герба Буковины — на светлозолотом поле большая голова буйвола, с отвислыми ушами, приплюснутыми рогами. Теперь ветер бил в лицо, и Буковина проплывала за белыми отмелями. Как светлые прожилки в камне, вились горные реки по склонам широких хребтов, и на десятки верст тянулись буковые леса.

Быков обернулся: наблюдатель смотрел в глазок фотографического аппарата. Снизившись, Быков тотчас увидел темные тени, движущиеся по шоссе, и понял: здесь накапливаются резервы противника. Наблюдатель привстал, ткнул пальцами в спину.

Запряганные в лесу батареи били шрапнелью по самолету. До аэродрома теперь было не менее ста верст.

Снова открывалась внизу зеленая родина бука. По дорогам, от края до края, двигались части и обозы противника. За горами блестели реки, маячили крыши домов, дымились костры на берегах маленьких деревенских прудов, сверху похожих на осколки разбитого зеркала.

Отрулив, Быков спрыгнул на землю. Его встретили летчики, мотористы, мастеровые. Тентенников стоял в стороне и раскуривал трубку.

— Наконец-то! — радостно улыбнулся Глеб, подбегая к приятелю. — А то мы уже побаивались: не случилось ли чего...

— С прапорщиком Быковым? — усмехнулся наблюдатель — молодой унтер-офицер с загорелым безбровым лицом. — С ним легко летать: как на качелях качаешься.

Быков хотел рассказать Глебу о полете, но вспомнил вчерашнюю сцену у подъезда гостиницы, испуганное лицо Наташи и не смог вымолвить ни слова, только пожал

крепко руку, притянул приятеля к себе, ласково потрепал по плечу.

Назавтра наблюдатель повез в штаб корпуса донесение и вернулся к вечеру; начальник штаба объявил благодарность за хорошую фотосъемку.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ



Русская девятая армия стояла в ту весну между румынской границей и маленьким городком на Днестре; на пространстве в девяносто верст держали фронт сто семьдесят тысяч человек.

Девятая армия, в 1915 году отступавшая под натиском германо-австрийских сил, оправилась на новых рубежах и несколько месяцев почти не меняла позиций.

Быков часто размышлял о дальнейшем ходе войны. Царское командование не умеет вести войну, проигрывает кампании, не умеет или не хочет бороться с немецкими шпионами, наводнившими все части армии, не снабжает войска снарядами, патронами, обмундированием, хлебом, и война неизбежно будет проиграна. Быков вспоминал слова Николая Григорьева: когда солдаты устанут от поражений, никакая сила не сможет повести их в наступление. Тогда-то и начнется революция.

О близости революции Быков говорил и своим друзьям. Они еще не понимали по-настоящему его слов в ту пору. Было у них смутное предчувствие предстоящего изменения жизни, и очертания будущего казались еще неясными, словно вершина далекой горы за туманной дымкой. Но раз Быков уверенно говорит об этом будущем — значит, он видит дальше, чем они сами. Допоздна засиживались приятели в своей халупе, беседуя о близком и в то же время таком далеко завтрашнем дне. Быков сказал однажды, что народ теперь уже не выпустит оружия из рук и найдет ему нужное применение.

— От солдат ни на шаг, — сказал он, и все согласились с его словами. Вместе со ста семьюдесятью тысячами людей, одетых в солдатские шинели, находились они на подступах к югу России.







Десятки тысяч человеческих судеб, соединенных войною на этом пространстве, были подчинены особому укладу, и армия жила своим собственным бытом — у нее была уже своя история, свои легенды, свои излюбленные герои, и всё чаще говорили солдаты о предстоящей борьбе за мир.

Выработался в армии и свой особый язык; различия говоров быстро сглаживались: вятские не подсмеивались над калужскими, а украинские песни знали ярославцы и владимирцы. Фронтовое братство становилось более нерушимым и верным, чем кровное братство, отношения между людьми складывались по-особому, по-новому, а быт начинался даже и на передовых позициях, всюду, где обживал человек землю, — хоть на день или на два.

Авиационные отряды жили своей обособленной жизнью, и летчики мало знали о планах командования. В то время на Юго-западном фронте происходили большие события.

Командование девятой армии разрабатывало тогда план вступления в Буковину, откуда открывался путь в самое сердце лоскутной Австрийской империи.

С некоторого времени начало казаться летчикам, что армия готовится к решительным и крупным наступательным операциям, хотя истинный размах их еще не был никому известен.

Все чаще давали летчикам задания. Теперь летчик, вернувшийся первым, после посадки не уходил с аэродрома: его волновала судьба приятелей. Особенно заботлив был Быков — казалось ему, что дерзкая отвага Глеба и отчаянная храбрость Тентенникова сулят им неприятности в воздухе; хитрить оба не очень умеют, а без хитрости в бою трудненько приходится.

— Не был бы таким смелым, лучше бы летал, — говорил Быков Тентенникову, но волжский богатырь только ухмылялся в ответ. Перед посадкой обязательно выкидывал Тентенников какие-нибудь веселые номера. Особенно любил он воздушную клоунаду — показ того, как летает несмелый и неопытный летчик.

— Вот погоди, — говаривал он Быкову, — кончится война, обязательно поеду по городам, буду показывать воздушный цирк... Весело будет.

— А еще веселее будет тому, кто соберет твои кости, когда ты разобьешься, — сердито отзывался Быков.

Тентенников обижался, отходил в сторону, и Глебу приходилось мирить их.

— Чудак, Петька, — говорил Тентенников, примирившись со своим несговорчивым другом, — у меня своя планета, как старики говорят. За меня опасаться нечего: ведь и в школе, когда мы учились, сам, без учителя, впервые в небо поднялся...

Они мирились, вместе пили чай с сухариками, и снова начиналась обычная дружная жизнь.

Предчувствие близких перемен жило в отряде: по проезжим дорогам и проселкам тянулись бесконечные обозы, переходили на новые места артиллерийские дивизионы, и поговаривали даже, что отряд переведут ближе к передовым позициям.

Однажды приехал в отряд на легковом автомобиле Пылаев. Его спутницей была Мария Афанасьевна, сестра милосердия, которую видел Быков в пылаевской летучке.

Гости допоздна засиделись в халупе Васильева, потом, когда зажглись огоньки в мастерских и ангарах, пошли гулять по полю. Васильев оживленно беседовал с Марией Афанасьевной, вел ее под руку, а Пылаев шел позади мелкой вихляющей походкой, будто нарочно отставая от них, чтобы не подслушать чужого разговора.

Обратно в тот вечер уехал только шофер, гости же остались ночевать у Васильева.

Рано утром Быков пришел в ангар и увидел медленно прохаживающегося по полю поручика.

— Лечу сегодня с Пылаевым, — сказал Васильев. — Соскучился без неба.

Быков удивился:

— В такую-то рань?

— Раз надо — ничего не попишешь.

Оглянувшись, Быков увидел Пылаева, дремавшего на бревнах, — лицо его было изжелта-серое, словно у него всю ночь проболели зубы; сидел он как-то неудобно согнувшись.

После отлета Васильева Тентенников принялся рассказывать Быкову о своих неладах с командиром отряда. Хотя объяснение было путаное, длинное, но Быков понял: злило поручика, что простой человек, не очень грамотный, смолоду вечно боровшийся с нуждой, но самонадеянный и дерзкий, стал знаменитым летчиком. На Тентенникова нельзя было воздействовать грубым словом или начальственным окриком. Он умел постоять за себя, а Васильев требовал от подчиненных безответности и лести.

«Глеба он из-за Наташи не любит, — подумал Быков, — Тентенникова за то, что он бывший солдат, меня же терпит только потому, что у меня слава и много друзей среди летчиков...»

Он чувствовал, как и у него самого растет неприязнь к Васильеву: поручик принадлежал к тем людям, которые умеют портить настроение окружающим. Вокруг него витал какой-то дух недоброжелательства — самое хорошее настроение подчиненных он мог испортить едким замечанием или злобной придижкой. Пока он был в отряде, летчики и мотористы чувствовали себя плохо, ссорились из-за пустяков. Уезжал Васильев — и все веселели, и работа спорилась, и отношения между людьми становились лучше.

...Из полета Васильев вернулся один, без Пылаева. Тотчас послал он за Быковым делопроизводителя отряда.

— Завтра в разведку. Вылетаете парой. Сами решайте, кто будет вторым. А мой полет... Да что говорить — один такой за сто нужно засчитывать, — многозначительно сказал Васильев.

Лететь на втором самолете вызвался Глеб.

Тентенников обиделся.

— Может, глупой назовешь мою обиду — я тоже хочу полететь с тобою, — сказал он укоризненно Быкову. — Глеб обязательно первым суется...

Назавтра утром Быков и Глеб собирались в полет. Тентенников тоже пошел вместе с ними на аэродром и смущенно кряхтел: очень сердило его, что с Быковым летит не он, а Победоносцев.

Быков поднялся первым. Вслед за ним взлетел Глеб.

Самолеты шли рядом. Скосив глаза, видел Глеб не вдалеке быковский моноплан.

Первое время Глеб слишком был занят полетом и не наблюдал за тем, что делается внизу, на земле.

Ветер относил самолет влево.

Глеб взглянул вниз — горы дымились, словно курились вулканы. Стало весело и легко на сердце — внизу начиналась Буковина.

Они летели над местами, где недавно шумели бои; теперь проселки и долины были безлюдны.

Впрочем, нет, это только казалось Глебу: взглядевшись внимательней, он увидел тени, скользившие по узким дорогам, и пожалел, что не может смотреть в бинокль, как наблюдатель, сидевший сзади.

Тени двигались медленно — части противника направлялись на восток. . .

Над зелеными холмами враг обстрелял самолеты. Летчики шли теперь на высоте в полторы тысячи метров.

Снизившись, они уже не увидели следов шрапнельных разрывов. Глеб снова скосил глаза на самолет Быкова. Человек, летевший сегодня рядом, был лучшим его другом. Какие бы испытания ни ожидали обоих, их жизни связаны вместе, разрубить их товарищество сможет только смерть. . .

Они пролетали над зеленой горной страной, над бурыми скалами, над холмами самой причудливой формы. . . Все время ловил себя Глеб на том, что подбирает сравнения: та гора похожа на верблюжий горб, и в самом деле горбится она над обрывом долины, словно вот-вот скатится вниз. Озеро, притаившееся неподалеку, кажется круглым, как колесо, — еще немного, и покатится оно вдогонку самолету. . .

Наблюдатель протянул Глебу записку: «внизу артиллерия противника».

Самолет Быкова шел теперь впереди.

Вскоре из-за озера, как из-за набежавшей волны, скользнула длинная тень. Сразу увидел Глеб нарядный маленький город, раскинувшийся на отлогих холмах.

Черновицы. . .

Снова небо поплыло в разноцветных разрывах шрапнели.

Самолеты сделали круг над городом и полетели обратно по старому маршруту.

Летели быстро, и Глеб вспомнил слова русского конструктора, сказанные еще до войны: «Дайте аэроплану скорость, и мы пустим в воздух вагоны».

«Мы люди того поколения, о котором через триста лет будут говорить с завистью, — думал Глеб, — ведь мы были чуть ли не повивальными бабками новой техники... Давно ли люди еще мечтали об аэропланах, на полет сбегались смотреть как на чудо, а теперь без воздушной разведки не обходится уже ни одна большая военная операция... При Петре Великом новый флот начинался... Может быть, и наши самолеты сохраняют со временем, как мы сохраняем теперь петровский старенький ботик?..»

Он думал о предстоящем бое, о друзьях и врагах, только о Наташе старался не вспоминать, словно боялся, вспомнив о ней, выпустить ручку. И острая боль утраты снова мучила его, как горький запах полыни, доносившийся, казалось, с далеких русских полей...

Вдруг он увидел метрах в четырехстах вражеский самолет. Он посмотрел в другую сторону. Еще два самолета.

Что ж, сегодняшний полет кончится боем... Наблюдатель бросил записочку: «Противник».

В самые первые дни войны летчики еще ничего не знали о воздушном бое. Два самолета воюющих армий, встречаясь в небе, расходились в разные стороны: люди, вооруженные карабинами, не могли драться в воздухе. Потом появилось новое оружие — пулеметы, и частыми стали воздушные бои.

Глеб крепко сжимал ручку. Сердито ревел мотор. Земля пролетала внизу, пестрая, как одеяло, сшитое из разноцветных кусочков.

Самолет Быкова набирал высоту; «нюпор» Глеба тоже пополз вверх. Вражеские аэропланы скользили еще на развороте, а русские уже были высоко над ними.

«Я не сбиваю — меня собьют...» — вспомнил Глеб слова приятеля и выровнял самолет.

Почти одновременно с Быковым он взглянул на самый большой из трех аэропланов, летевший под ним, и тотчас начал пикировать на уже обстрелянного им противника.

«Если он возьмет кверху, — подумал Глеб, — мы протараним друг друга и погибнем оба».

Прошло несколько мгновений, они показались годами. Глеб выровнялся над самым «альбатросом».

«Альбатрос» накренился. Мгновение, короткое и в то же время невыразимо длинное, «альбатрос» неподвижно висел в воздухе, словно поддерживал его невидимый воздушный поток, и вдруг начал падать.

Выраж влево — и самолет Глеба попытался пойти на второй немецкий аэроплан. . . Но небо было чисто, и только самолет товарища летел рядом.

.. Когда Глеб выходил из кабины, Быков, снизившийся первым, подбежал к нему, крепко обнял, улыбнулся:

— Карусель в глазах. До сих пор не опомнюсь. . . Бесконечным пике давил немца к земле. . .

— Два аэроплана сбиты, — сказал наблюдатель, — а третий сбежал.

Тентенников растерянно приветствовал приятелей, и сразу понял Быков, что волжский богатырь чем-то озабочен. (Наташа сидела в халупе летчиков и ждала мужа. Это и было причиной волнения Тентенникова.) Тентенников решил подготовить друзей к встрече с Наташей. Начал он подготовку с Быкова.

Обняв приятеля так крепко, что тот собирался уже рассердиться, Тентенников прошептал:

— Подзадержись-ка немного тут. Поговорить мне с Глебом надобно.

Быков удивился, но Тентенников отошел от него и, взяв под руку Глеба, повел его в халупу.

Сегодня в полдень Тентенников увидел женщину, которая медленно шла по тропе, ведущей к аэродрому. Она показалась Тентенникову знакомой, и все-таки не сразу узнал он Наташу.

Лицо ее было сурово и строго, черный платок, низко надвинутый на брови, сильно старил ее.

Тентенников пошел навстречу.

— Вы к Глебу? — спросил Тентенников, пожимая теплую руку Наташи. — Неудачно приехали: часа два назад они улетели,



— Кто? — спросила она испуганно. Остановившиеся глаза ее показались Тентенникову страшными в ту минуту. Он повел ее в халупу.

Наташа не высвободила своей руки из руки Тентенникова, только спросила снова:

— С кем улетел?

— С Быковым...

Наташа обрадованно вздохнула:

— Если с Быковым, я спокойна.

«Еще бы спокойнее ты была, если бы не путалась с Васильевым», — хотел сказать Тентенников, но, глядя на ее сухие вздрагивающие губы, на поникшие плечи, на бледное, осунувшееся лицо, промолчал.

— Вам нездоровится? — спросил Тентенников.

— Нет, почему же... Только прошу вас: ненадолго оставьте меня одну.

Покачав головой, он вышел из комнаты и вернулся только через полчаса.

Наташа сидела на табуретке, горбилась, платком вытирала слезы. Она принялась расспрашивать Тентенникова, как живет Глеб, курит ли, хорошо ли питается, заштопаны ли у него носки, и своими, как показалось Тентенникову, лицемерными вопросами так рассердила его, что он не удержался и сказал:

— Вам впору было бы о других делах подумать, а не о старых носках Глеба.

— Я виновата, знаю, — просто сказала она.

Молча просидели они часа полтора. Потом Тентенников, которому тягостно было молчание, ушел из халупы — по делам, как он объяснил Наташе, а на самом деле потому, что не хотелось оставаться в одной комнате с нею. Казалось, будто даже молчанием укоряет она его за грубые и неприятные слова...

Долго ходил он по аэродрому, сердясь на вздорную, по его мнению, Наташу, на бесхарактерного Глеба, на Васильева, которому он ничего не мог простить. Надо же было случиться, что в это самое время Васильев, возвращавшийся с Марией Афанасьевной из лесу, встретил летчика!

— Что вы так помрачнели, коллега? — насмешливо сказал поручик, красивыми наглыми глазами в упор глядя на Тентенникова.

— Мне-то мрачнеть нечего. А вот к Победоносцеву жена приехала, — со злостью ответил Тентенников. — Понятно?

Торопясь, словно боясь погони, заспешил Васильев со спутницей к своей халупе. Так и не выходил оттуда весь день...

Быков старался связать неожиданный приезд Наташи с тем случаем, свидетелем которого стал он в городе, и никак не мог понять, почему понадобилось Наташе встретиться с мужем.

В то время как приятели молча прохаживались по полю, Наташа и Глеб сидели у окна в душной халупе. Глеб тихо спрашивал, положив большую руку на плечо жены:

— А помнишь, как я пришел к тебе, когда брат мой застрелился?

— Трудные были дни тогда, — ответила Наташа, — разве можно забыть их!

— Потом приехала Лена...

— Горе, кругом горе, — вздохнула Наташа. — Она мне писала недавно, спрашивала, как ты живешь. Что я могла ей ответить?

— Я знал, что ты придешь...

Он поднялся со стула, медленно заходил. Большое тело его казалось огромным в тесной и низкой халупе. Наташа смотрела на Глеба с той же страдальческой улыбкой, с какой встретила сегодня Тентенникова.

— Как ты добралась?

— Солдаты подвезли.

Наташа подошла к мужу и, взяв его руку, приложила к своему горячему лбу.

— Знаешь, как это бывает в жизни... ведь человек не властен над своими чувствами, и мне кажется почему-то, что о минувшем даже и говорить не стоит: рассказать невозможно, а понять и того труднее...

— Нет, я понимаю, но сегодня просто не хочется думать о плохом... А помнишь, как мы в тринадцатом году условились встретиться с тобой на маскараде?

— В Москве?

— Нет, в Петербурге. Кажется, в здании Калашниковской биржи. Я только что приехал тогда из поездки по

провинции, а тебя не было дома: ты задержалась в мастерской...

— Помню, помню! — радостно вскрикнула Наташа. — По телефону ты мне позвонил, сказал, что домой попасть не можешь — прислуга ушла и унесла ключи.

— Потом мы условились, что ты из мастерской пойдешь в прокатную, возьмешь любой костюм и приедешь на бал, я тоже буду в маске. Мы должны были искать друг друга, а если не найдем, то сговорились встретиться в полночь у оркестра с левой стороны, за проходом.

— И сразу узнали друг друга, — снова обрадовалась Наташа. — Я узнала тебя по длинным ногам и по тому, как горбился ты... Да, да, — улыбнулась она, — и по тому, как сутулился...

Она снова рассмеялась...

— Если твои товарищи не прогонят, я у вас тут и ночевать останусь, — сказала Наташа.

— Устроим, обязательно устроим. Я сейчас с ребятами договорюсь...

Он выбежал из комнаты, чтобы позвать приятелей, и удивился, заметив, что они молча прохаживаются неподалеку от халупы.

— Что же вы не входите? — спросил он Быкова и Тентенникова.

Летчиков удивила веселость Глеба и спокойная, ясная улыбка Наташи.

— А мы сидим, вспоминаем, — сказал Глеб, — до того допоминались, что обо всем позабыли, даже о войне.

— Глеб сегодня был молодцом в бою, — сказал Быков, пристально поглядев на Наташу.

— Серьезно? — спросила Наташа. — А он не говорил ни слова о бое...

— И победу какую мы с ним одержали! Два аэроплана сбили.

— А он-то, скромница, промолчал...

— Не до того небось было, — ехидно заметил Тентенников.

Пришел денщик с кипящим самоваром, поставил стаканы, достал сухари и ушел так же бесшумно, как пришел, не промолвив ни слова.

— Наталья Васильевна ночевать останется у нас. Поздно уж ей возвращаться сегодня в госпиталь.

— Мы с Петром устроимся на ночь в канцелярии, — сказал Тентенников.

— И я с вами, — промолвил Глеб к удивлению приятелей. Теперь им ясно стало, что примирение не состоялось. Но оба они никак не могли понять, почему же так весело и радостно смотрит Наташа на мужа и ловит каждое его слово.

— А я вам новость сказать хотел, — пробормотал Глеб и, наморщив высокий лоб, тихо сказал: — мы с Наташей будем порознь жить после войны.

Быков промолчал, но Тентенникова точно прорвало:

— Ничего не понимаю, если уж дозволено мне будет слово сказать... То в ссоре жили, мужем и женою оставались, а теперь только помирились — и пожалуйста...

— Не твоего ума дело, — перебил его обеспокоенный Быков. — Их дело — как хотят, так и поступают. Третьему незачем мешаться. Последнее дело — мирить или ссорить мужа с женой. Сами в своих делах разберутся...

— Не понимаю, — упорно повторил Тентенников. — К тому же и не я первый разговор затеял...

— Это понятно, — возразил Глеб. — Если у людей была не только любовь, остается дружба, воспоминания общие и все, что вместе было передумано и пережито.

— Слишком уж тонко, извини, не про меня писано... Надо просто на жизнь смотреть. Ты сегодня сбил врага? Сбил. А он тебя мог сбить? Тоже мог! Значит, жизнью ты ежечасно рискуешь. А ежели так...

— Страшно подумать, что сегодня, когда я ехала сюда, он рисковал жизнью! — сказала Наташа. — Он мог погибнуть, и я бы не увидела больше его...

— А вы будто бы не знали? — грубо спросил Тентенников. — В ваши-то годы можно было бы больше знать и поступать умнее...

— Перестань, Кузьма, — просил Глеб. Но волжский богатырь точно ошалел вовсе.

— Правды не понимаете, вот что... Грубого слова боитесь. И где? На фронте!

— Мог погибнуть! — повторила Наташа, взяла руку Глеба и поцеловала ее.

До тех пор пока Наташа не уехала из отряда, Васильев сказывался больным и не выходил из халупы. Мария Афанасьевна ходила на прогулку одна и с опаской смотрела

на дом, в котором жили летчики: Васильев такое рассказал ей о Тентенникове, что она особенно боялась встречи с этим, по словам Васильева, озорным и сварливым человеком, который ни бога, ни чорта не боится, а под пьяную руку бывает и скор на расправу...

Проводив Наташу, Глеб и Быков возвращались на аэродром пешком. Сняв фуражку, приглаживая подстриженные ежиком светлые волосы, Глеб снова заговорил с приятелем о вчерашней встрече с женой:

— Я с самого начала знал, что она еще вернется ко мне. Знаешь, чем больше я думал о ней, тем сильнее становилась моя уверенность. Когда люди привыкают друг к другу, они чувствуют все с полуслова. И вчера стоило мне увидеть Наташу, как мы сразу продолжили разговор, оборванный полгода назад, в день ее первой встречи с Васильевым... Тентенников говорил, что на ней лица не было, когда она пришла. Нелегко ей было...

— Когда ты к ней поедешь?

— Ты ничего ровнешенько не понял, — смутился Глеб. — Мне незачем теперь так часто к ней ездить.

— Но остаетесь же вы мужем и женой...

— Это кончено. Мы стали зато еще большими друзьями.

— Только друзьями?

— Да, да, только друзьями. Она сегодня рассказала мне историю своих отношений с Васильевым...

— Он чем-то обидел ее, — сказал Быков, вспоминая сцену, свидетелем которой был на днях.

— Она и о том сказала... И знаешь, теперь, когда с личным моим покончено навсегда, я как-то легче стал чувствовать себя, веселей, свободней...

— Иначе еще повернется жизнь — не зарекайся...

— Нет, ни за что, ни за что, — взволнованно сказал Глеб. — Ты знаешь, между нами не просто чужой человек встал. Тут гораздо сложнее. Разве не чувствовал ты, что нынешняя война не только физически уничтожает людей — она иных и внутренне калечит... Вот и с Наташей так случилось: внутренне надорвалась она. Силы в ней не хватило. Она видела каждый день раненых, слышала стоны умирающих и чувствовала человеческое страдание, окружающее ее. Что должна была она сделать? Или

осудить нынешнюю жизнь со всей ее ложью, или закрыть глаза на все. У нее не хватило силы осудить, а закрыть глаза — вот именно, понимаешь ли, закрыть глаза — помогла встреча с Васильевым. А теперь она стала иначе мыслить, и Васильев стал ей враждебен. Она поняла его живую, мелкую душу, почувствовала, что за его вечной усмешкой таится пошлость и циничское отношение ко всему...

— Сложная механика! — вздохнул Быков. — А я не понимаю. Я могу полюбить только раз в жизни. Ведь нет ничего лучше чистой любви — до старости, до смерти... Взяться однажды за руку — и так идти до конца...

— Вернуться друг к другу мы не сможем теперь. А дружба останется. Ведь дружба-то была же у нас! — вскрикнул Глеб и снова заговорил о Наташе. — Она с дороги сбилась. Наваждение негаданно приходит, — стоит только оступиться — и жизнь сломана. Я знал, что Наташа с ним порвет, грязный он, звериного в нем много, пошлого. Правда ведь, после того как с ним поздоровался, всегда хочется руки вымыть?

— Ну, а как ты после вчерашнего? — переводя разговор, спросил Быков.

Он поднял руку, показывая на небо. Глеб, прищурясь, разглядывал синюю чистую высь, взметнувшуюся над перелесками и взгорьями.

— Оба мы были вчера на волоске от смерти.

— И будем еще не раз, — ответил Быков. — Вот мы трое сдружились когда-то, с тех пор неразлучными стали — ты, Тентенников, я. А надо ведь прямо смотреть правде в глаза: кому-то из нас суждено когда-нибудь разбиться первым.

— Я о разлуке стараюсь не думать.

— Я тебе просто скажу: как бы я ни был опытен, как бы далеко позади ни остались дни ученья, каждый раз, подымаясь в небо на машине новой системы, я неизменно испытываю чувство человека, впервые совершающего полет.

— Хорошее чувство. Чем сильнее ощущение вечной новизны, тем лучше летчик. Какое молодое волнение всегда испытываешь, подымаясь в воздух, — ведь порой начинает казаться, что ты и машина — одно живое существо!

— Ты прав, и если через много лет, думая о нас, кто-нибудь скажет, что вот-де какие были несчастенькие, умные люди ему не поверят. Ведь счастье-то мы знали и в самую трудную пору. Как радостно чувствовать свою силу в полете! И потом, ты знаешь, мне кажется, недолго ждать поры, когда изменится вся жизнь...

Делопроизводитель отряда — рыхлый человек с отвисшими усами и маленькими усталыми глазками — подошел к летчикам и сказал, что на имя Быкова позавчера получено письмо, которое, из-за нерасторопности писаря, не было вручено во-время.

— Вы уж извините, пожалуйста, — сказал делопроизводитель.

Он вручил письмо и, поклонившись, ушел.

— Наверно, от отца весточка, — сказал Быков, распечатав плотный конверт, — только странно: адрес другим почерком написан...

Прочитав письмо, он сразу же пошел к Васильеву и отпросился на два дня в город.

— Отдохнуть хотите? — насмешливо спросил поручик. — Что ж, дело позволительное. Только смотрите не запейте там...

— Я не пью, — сухо ответил Быков, — во всяком случае не напиваюсь...

— Да вы не обижайтесь, — снисходительно сказал Васильев, по-наполеоновски скрестив на груди руки. — Главное, чтобы скандалов не было, а остальное меня не интересует.

## ГЛАВА ПЯТАЯ



о времени забастовки на Щетининском заводе встречи Быкова и Николая Григорьева уже не были случайными, как прежде. Приехав в Питер незадолго до войны, Быков отправился на поиски приятеля. На Щетининском заводе Николай в это время уже не работал, и немало пришлось помучиться, проверяя один адрес за другим, пока не удалось в деревянном домишке за Невской заставой разыскать Николая,

Быков пришел на Палевский рано утром и долго не решался постучать в дверь квартиры, указанной механиком, работавшим на заводе вместе с Николаем. Второпях Быков забыл спросить, по старому ли паспорту прописан здесь Николай, и теперь никак не мог придумать, что следует предпринять. Может быть, спросив того самого поляка, за которого выдавал себя Николай, он подведет приятеля? Ведь хозяева квартиры, если Быков назовет не попад старую кличку Николая, заподозрят неладное. . .

Придется, не входя в квартиру, наблюдать за домом до тех пор, пока не выйдет на улицу Николай. К счастью, против дома гостеприимно призывала прохожих вывеска на трактире «Альпийская роза». Быков решил дожидаться приятеля за столиком — ведь и прогулка по проспекту может неожиданно привести догадливого филера на след Николая Григорьева. . .

В ранний час в трактире еще никого не было, да и половой, откупорив бутылку портера, удалился в маленькую комнату за буфетом. Быков сидел за столиком у окна и глаз не сводил с желтой двери домика на противоположной стороне. Ждать пришлось долго. Вышла из дома женщина с кошелкой, следом за ней, приплясывая, выбежал мальчуган в гимназической форме, потом девушка с голубым бантом выкатила детскую коляску, а Николай не показывался. Быков уже решился было отказаться от розысков, как вдруг увидел идущего по проспекту Николая. Нервы Быкова были так напряжены, что он прозевал минуту, когда Николай вышел из дома. . .

Наскоро расплатившись с половым, Быков быстро зашагал за приятелем, но тот тоже шел быстро, и только на остановке паровичка, шедшего на Знаменскую площадь, удалось ему догнать Николая.

С тех пор до отъезда Быкова они не разлучались, вместе провели и первые военные дни. Летчик побывал на заводском митинге, где выступал против войны Николай, вместе с рабочими завода участвовал в противовоенной демонстрации и сам носил выпущенные питерскими большевиками листовки на Щетининский завод.

Накануне возвращения в Москву Быков сговорился с Николаем встретиться в Лесном.

В Лесном, гуляя по тенистой аллее парка, Быков рассказал приятелю о только что полученной телеграмме:



из летчиков завода формировался отряд на фронт, и Быкову надлежало немедленно явиться к месту работы.

— Как же быть теперь? — взволнованно спрашивал Быков. — Мне без тебя не найти правильного решения. Я с тобой согласен — только шовинист может радоваться этой войне, только помещикам и капиталистам она выгодна. Мы с тобой знаем настроение рабочего Питера: заводы против войны, только черносотенцы да эсеры с меньшевиками вопят за нее. Но как же мне самому поступить? Ведь одно дело рассуждать о войне, а другое, когда сам попадаешь в ее мясорубку. Мне ждать нельзя, надо принимать решение. Не дезертиром же стать, чорт возьми. . .

Пощипывая недавно отпущенную бородку, Николай и слова не промолвил, пока Быков не выложил ему все свои сомнения и раздумья. А потом, оглядев внимательно летчика и в такт словам размахивая рукой, с тою же усмешкой спросил:

— Значит, тебе неясно, как следует поступить, и ты у меня, так сказать, консультации просишь?

— Консультации? Ты уж очень громкое слово употребил, а я мужик простой. Ты мне по-настоящему скажи, совет дай, — ты человек правильный. Я только твоей правде и верю.

— А наша правда простая, — тихо сказал Николай. — Стачка против войны — глупость. Идти в армию надо. . .

— Но ведь я в ладоши бил, когда ты на митинге выступал против войны, а теперь ты сам меня на фронт посылаешь. . .

— Не я тебя на фронт посылаю: весь народ скоро в солдатские шинели оденут. Вот тут-то и начнется главное. . .

— Главное? Мира добиваться?

— Да, дружище, мира мы будем добиваться. Но теперь такое время наступает, что нам с тобой долго меч в ножны вложить не удастся.

— Долгою будет война?

— Конечно! Раз империалисты всерьез взялись за передел мира — значит, одним боем судьба войны не решится. . .

— Но кто же победит в войне?

— Тот, кто будет сильнее.

— Антанта победит?

Николай покачал головой и ничего не ответил.

— Значит, немцы?

— Несколько сражений немцы выиграют, а войну проиграют.

— Я тебя не понимаю. Ведь только два счета есть: либо чет, либо нечет, — третьего нет.

— А теперь третий появится.

— Какой же?

— Рабочий класс победит в нынешней войне. И чем яростней она будет, чем напряженной развернется борьба, тем ближе будет наша победа.

— Революция?

— Социалистическая революция...

— Но ведь у царя сейчас армия, миллионы солдат, оружие, а у нас нет такой силы...

— Оружие дадут народу: не хозяева же наши сами на фронт пойдут. Со временем царевы слуги убедятся, что опасно рабочему классу оружие в руки давать. Оружие ему понравиться может. Назад у него попросят, а он и не отдаст... И крестьянство за собой поведет...

— А до той поры, пока то время настанет, что делать?

— Что делать? Нужно создавать подпольные революционные организации в армии. Мы должны превратить войну империалистическую в войну гражданскую. Наша партия сильна связью с народом, она сама плоть от его плоти, кровь от его крови. Мы должны теперь еще лучше, чем прежде, сочетать нелегальные и легальные методы работы, мы должны готовить народ к восстанию против своего империалистического правительства.

Много лет знал Быков Николая Григорьева, много было с ним переговорено, многое вместе пережито, и все-таки каждый раз, когда приходилось встречаться в трудную пору, удивляла летчика спокойная уверенность старого большевика. Он совсем иначе подходил к жизни, чем другие знакомые Быкова, и даже в самых тяжелых обстоятельствах вел себя так, словно чувствовал свою хозяйскую ответственность за все, что происходит в стране. Быкову передавалась эта спокойная уверенность Николая; вот и теперь, в первые же дни войны, летчик сразу понял, как следует поступать в дальнейшем.

И на московских заводах большинство рабочих было против войны. С особенной силой почувствовал это Быков

перед отъездом на фронт. На большой московской улице встретил он организованную черносотенцами рабочую манифестацию. По булыжнику мостовой, без шапок, пугливо озираясь по сторонам, словно боясь встретить настоящих рабочих, шли два здоровенных верзилы с распухшими красными носами. Они волокли большой портрет царя, обвитый трехцветными лентами. Подростки в черных куртках несли хоругви, и несколько десятков личностей неопределенного вида, похожих на постоянных посетителей московских трактиров, с диким ревом приближались к перекрестку. Неожиданно из-за угла выехал ломовик и перерезал дорогу. Тотчас извозчика с его огромным, тяжело ступающим битюгом взяли в полон. Наиболее решительные горлопаны уселись на телегу и, размахивая кнутом, стали угрожать стоящим на панели людям. Все до удивления напоминало неистовую клику илиодоровцев, когда-то страшавших летчика на пыльных улицах Царицына, только не было здесь огромной царицынской толпы: и сотни человек не насчитал Быков в рядах манифестантов.

Манифестация свернула в переулок, и Быков долго стоял на перекрестке, провожая ее взглядом. Что ж, можно спокойно уходить на фронт, если рабочая Москва непреклонна в своей ненависти к империалистической войне, — ведь нельзя же принимать всерьез оголтелые выкрики этой кучки хулиганов, шедших по улицам с царским портретом.

... Немало времени прошло с той поры, но не было дня, когда бы Быков не вспоминал о вечере в Лесном. В старом отряде несколько раз приезжали к Быкову доверенные люди от Николая, и немало партийных поручений пришлось ему выполнить: он распространял нелегальные листовки, участвовал несколько раз в собраниях подпольной организации, укрывал в своей избе видного большевика, которому угрожал арест, но ни разу не довелось ему в ту пору встретиться с самим Николаем. И вот теперь так неожиданно пришло письмо, подписанное, как было заранее условлено, женским именем. Быков удивился было, что такое письмо Николай отправил через левую почту, не боясь цензурного осмотра, но еще раз прочитав адрес на конверте, успокоился: никаких штампов и отметок на письме не было, оно было доставлено

с оказией, поэтому, должно быть, и не торопился с его доставкой нерасторопный писарь.

— Нет, воистину, в военной форме ты — словно вылитый! — радостно говорил Быков Николаю. — Как будто в жизни ничего, кроме военного мундира, не носил. Были бы на плечах погоны — и сразу принял бы тебя за офицера, служившего в захолустном гарнизоне, где-нибудь в Царстве Польском или в Бессарабии, за эдакого строгого службиста, от которого никому в роте житья не было — даже фельдфебелю...

— Ладно, ладно, не задуши на радостях, — в который раз уже повторял Николай, тщетно пытаясь высвободиться из могучих объятий летчика. — Ты что-то чувствителен стал, братец, гляди-ка, даже слезы на глазах...

— Это не от чувствительности, — оправдываясь, сказал Быков, — просто ветер сильный на улице...

— На первый раз поверим! Давай-ка сначала друг на друга как следует поглядим...

Быков сел на низкий диванчик, накрытый пестрым ковриком; скрипнули и заходили пружины под его тяжелым телом, и Николай покачал головой:

— Пополнел ты очень.

— Сам не пойму, с чего бы...

— Забот мало?

— Ну, заботы-то есть...

— Ничего, теперь еще больше будет...

Быков глядел на Николая и тоже недоуменно покачивал головой: борода, которую Григорьев отпустил в самый канун войны, стала окладистой, пушистой, но, странно, она его не старила, и уже было трудно представить его лицо таким же безусым и безбородым, как лицо Быкова.

— Что ты здесь теперь делаешь? Неужто в строю?

— И в строй пошел бы, — поглаживая бороду, сказал Николай, — но пока что числюсь при артиллерийских мастерских механиком.

— И часто приходится на фронт ездить?

— Там, где матушка-артиллерия стоит, без нас не обходятся. Но начальник у меня тихий, характера, прямо скажу, невоенного, и поэтому предпочитает сидеть ближе к культурным центрам, как он говорит, то есть, если любить точные определения, — к прифронтовым кабакам. Всюду без него ездю. — и рад такому стечению обстоя-

тельств. Он меня не контролирует, так что я сам распоряжаюсь своим временем...

— Значит, и сегодня вечером свободен?

— К сожалению, нет. Только что выяснилось, что нужно в часть выехать. Да нам и необязательно сразу к серьезным разговорам приступать.

Хотя Николай говорил, что разговор у них будет короткий, но как-то незаметно беседа затянулась, и, сам того не заметив, Быков рассказал о пережитом, о боях на Северо-западном фронте и об обстановке, сложившейся в новом отряде под начальством Васильева.

— О Васильеве я еще до войны слышал, — сказал Николай, — наши товарищи много занятного рассказывали о его компании. Он большой приятель некоего гвардейского офицера-авантюриста Ельца, который в поисках приключений весь свет обрыскал — от гор Кастилии до Дальнего Востока. Сам Васильев — человек растленный, его нужно остерегаться.

— О том же и я товарищам говорил.

Пришел помощник Николая, тоже питерский механик, и сказал, что кони уже ждут возле дома.

— Ну что ж, расстанемся ненадолго, — сказал Николай, прощаясь. — Как только освобожусь, обязательно к вам в отряд приеду...

Перед прощанием Николай дал летчику несколько нелегальных брошюр и листовок, только что доставленных из Петрограда. Быкову не хотелось задерживаться в городе, и в тот же вечер он уехал обратно в отряд.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ



Недолго ездили, — насмешливо сказал Васильев, — отпрашивались на два дня, а только сутки гуляли. Наверно, все деньги сразу истратили? Неудивительно! Городок паршивый, а в гостиницах и магазинах дерут с офицеров, как в лучших заведениях Петрограда.

Он звякнул шпорами и спросил Быкова:

— Может быть, потому в городе не сиделось, что спешили направиться в полет?

— Специально не торопился. Но, понятно, если необходимо — полечу...

— Я приказ получил из штаба армии: завтра приказывают произвести бомбометание — австрийские поезда миллион снарядов везут...

— Слушаюсь, — ответил Быков и хотел отойти в сторону, но Васильев удержал его.

— Ну, как, привыкли к отрядной жизни?

— Совсем нетрудно привыкнуть: живу со старыми друзьями.

— Неплохой отрядик у нас, — усмехнулся Васильев. Быков молчал; помолчал немного и Васильев.

— Да, завтра придется лететь, — сказал он мечтательно. — Завидую вам, можете летать чаще, чем я. У меня дел невпроворот, но очень скучные обязанности, земные. Сами посудите: делопроизводство огромное, с обозом надо возиться, фельдшеру бинты доставать, с мастеровыми вечные хлопоты, надо заботиться и о том, чтобы всегда был бензин и чтобы масла доставало...

Он вздохнул, словно в самом деле мучили его хозяйственные трудности, положил руку на кортик и звякнул шпорами.

— Знал бы, ни за что не мечтал бы о полетах... Лучше было бы попросту в кавалерии оставаться. Только вот шпоры савеловского серебра и сохраняю, как память о счастливой гусарской жизни.

Этот нудный разговор начинал злить — ведь Быков не раз давал понять своему командиру, что мало интересуется его переживаниями, а Васильев, как нарочно, опять говорит по-дружески, доверительно.

— Не устали после прошлого полета?

— Не мудрено было устать, — ведь читали же вы донесение.

— Донесение? Конечно, читал. Интересно написано. А знаете, авиация требует замечательных качеств. У нас тут был до вас один летчик — его потом перевели в другой отряд, — он такие истории умел сочинять, что не сразу и выдумаешь. Мы его бароном Мюнхгаузеном прозвали.

— Что вы хотите сказать?

— Мне просто вспомнилось, что всегда, когда он летал один, он возвращался радостный, веселый и долго рассказывал о сбитых им самолетах... Когда же вместе

с ним летал я, нам ни разу не посчастливилось сбивать их так, как в те дни, когда он один отправлялся в полет. . .

— Я не понимаю. . .

— Тут и понимать нечего, — осклабился Васильев. — Так и проходили его веселые дни.

Он приложил руку к фуражке и сел на скамейку.

— Каков жулик! — сказал Глеб, когда Быков рассказал приятелям о ехидных намеках поручика. — Делает вид, что не знает ничего о нашей победе.

— Ему неприятно, — сердито ответил Быков. — Сам посуди, два сбитых самолета. А ему не везет в небе. Вот и завидует нам. . .

Поздно вечером Тентенников отыскал приятелей, сидевших в ангаре, и шопотом спросил:

— Новости знаете?

— Ничего не слышали, — ответил Быков, удивленный беспокойным и немного ошалелым видом Тентенникова.

— Я поручика знакомого встретил, он говорит, что отпуска в их полку уже седьмой день не дают.

— Ты-то почему расстроился? — перебил Глеб. — Ты ведь не из их полка, да и в отпуск не уезжал еще ни разу.

— Вы дальше слушайте. Мне поручик под секретом сказал, что чувствуется напряженность во всем, скрытность какая-то, в штабах тревога, — как обычно перед началом серьезных операций.

— Может быть, австро-немецких атак ждем?

— Едва ли. . . Сами будем наступать.

Денщик Васильева подбежал к Быкову, козырнул, сказал, что летчиков вызывают в штаб отряда. Приятели переглянулись: в такой поздний час вызывали их в штаб впервые.

Васильев, наклонившись над столом, рассматривал карту и, когда летчики вошли, хрипло проговорил:

— Прошу садиться.

В разговоре его не было недавней насмешливости; чувствовалось, что он тоже волнуется.

— Завтра с утра приготовиться к полетам, — сказал поручик. — Вылетайте в разных направлениях. Только что пришел приказ из штаба. Произведете бомбометание в пунктах, которые будут указаны завтра. . .

Он помолчал, потер ладонью о ладонь, словно стало ему холодно, и лениво протянул:

— Горячие наступили деньки.

Он вздохнул, накинул на плечи шинель и заходил по комнате. Летчики не вставали со скамьи — непонятно было, кончен ли разговор или нужно еще оставаться в низкой прокуренной комнате. Быков и Глеб не могли простить Васильеву сегодняшней ехидной насмешки. С неприязнью подумали они о том, что и завтра, даже в случае успеха, им придется выслушивать едкие замечания поручика.

— Я вас больше не задерживаю, — сказал Васильев после долгого молчания, и летчики вышли.

Спали они не раздеваясь и на рассвете, когда пришли их будить, были уже на ногах. Завтрак еще не был готов. Наскоро съев по ломтику черного хлеба, круто посыпанного солью, надели новенькие, привезенные недавно из города кожаные куртки и медленно пошли к штабу.

— Выспались? — неожиданно заботливо спросил Васильев. — Задание, которое вы получите сегодня...

Он рассказал каждому, что следует делать, объяснил, где нужно сбрасывать бомбы, посоветовал торопиться: чем скорее вернутся, тем лучше для них же самих, говорил он, хмурясь и окидывая летчиков сумрачным взглядом, — показалось им, будто прощается он с ними навсегда.

«И что нашла в нем Наташа? — думал Глеб, пристально глядя на Васильева. — Фанфарониска, фат, людей не любит. А губы-то, губы — красные, бесформенные и шевелятся, будто два червяка ползут по лицу...»

... Быков вылетел последним, когда самолеты Глеба и Тентенникова уже пропали в тумане.

Ему было приказано лететь вдоль железной дороги и бомбить вражеские поезда со снарядами.

Над зеленым холмом тянулся дымок: горели буковые леса. Железная дорога вилась по ущельям, как длинный стальной канат.

Над узловой станцией — дым. Быков поглядел внимательно на скрещение путей. Сверху оно напоминало огромную букву М. По крутому изгибу полз поезд. Быков снизился. Дымки шрапнельных разрывов поплыли вокруг.

Немецкий поезд скользил длинной и узкой тенью по рельсам. Быков уже ясно различал и паровоз, и вагоны, и дымок, тянувшийся следом. «Артиллерия бьет», — подумал Быков и начал кружить над поездом.



Нацелившись, он нажал рычаг, отпуская бомбу, и взглянул вниз. Белый дым разрыва скользнул над вагонами. Еще один... Еще... И вдруг он увидел, как заволокло поезд огромной взметнувшейся волной черного дыма. Вспыхнуло пламя, будто шаровая молния скользнула по темному кругу.

Боевое задание выполнено. Через полчаса он был уже далеко от того места, где длинной неровной буквой М расходились железнодорожные пути. Снова зеленые косяки долин и синие лесные теснины тянулись вниз. Вдруг чуткое ухо Быкова уловило какой-то глухой хрип в реве мотора.

Он прислушался. Мотор захрипел: гул прервался на мгновение, вновь начинался с прежней силой и снова стихал.

Нужно было думать о посадке.

Перед тем как остановиться, мотор выпустил черный хвост дыма. Он словно умер, задыхаясь от газа. Надо планировать к лесу, к тем деревьям у ближнего пригорка. Дальше — река, за другим взгорьем — поля, но туда дотянуться невозможно. Он планировал к деревьям... Самая сумасшедшая посадка, какую только можно придумать...

Над деревьями он выровнял самолет. Мгновение — как вечность. Треск и шум...

Шасси самолета сломано. Пришла пора расставанья: отныне самолет стал чужим, неподвижным сборищем мертвых частей. Сердце самолета остановилось, и кончилась жизнь машины. Поломанная, жалкая, она никому не нужна теперь, но Быков помнил закон военного летчика: даже обломки машины нужно уничтожить.

Он нащупал спички в кармане. Где-то над ним гудел самолет. Он поднял голову. Кто знает, быть может, это самолет друга? Может быть, Глеб или Тентенников возвращаются на аэродром? Как они удивятся, услышав, что Быков еще не вернулся! Он знал: старые друзья допоздна не уйдут с аэродрома. Будут нервничать, курить, молча глядеть друг на друга, и ни один не решится первым сказать о своих подозрениях и предчувствиях. Выйдет на порог халупы Васильев, осклабится, вытянет губы и снова вернется к столу, к картам, к донесениям прошлого

полета и скажет презрительно делопроизводителю отряда, что Быков не оправдал его надежд.

А друзья долго будут ходить по аэродрому, и запечалившийся Тентенников возьмет за руку Глеба...

Быков вздрогнул. Всего обидней причинять огорчения близким людям, но так складывается жизнь, что чаще огорчаешь тех, кто тебе особенно дорог и близок...

Он медлил, хоть и нащупал уже в кармане спички. Жаль машину... Он прощался с ней, словно с умирающим другом, с близким и дорогим человеком.

Что следовало спасти теперь? Он положил в карман карты, взял какую-то совсем не нужную отвертку. То, что он делал потом, забылось тотчас. Больно было видеть пылающий самолет и длинное косматое пламя, поднимающееся над поляной. Он отошел в сторону.

Прошло несколько минут.

Горьковатый дымок плыл по поляне. Ветер пригибал ветки буков. Маленький зверек бежал по траве. Что же, нужно подальше уйти от места аварии...

Мир, казавшийся сверху плоским, приобрел новые измерения. Деревья стали снова огромными. Пространство выросло, — то, что мог он пройти в несколько минут полета, отныне придется проделывать за долгие часы. Он снова вернулся в мир пешеходов.

Только теперь он понял трудность предстоящих испытаний.

Самолет горел далеко за линией фронта. Он в тылу у врага. Если Быкова поймут с картами, с бланками донесений, немедленно начнут расспрашивать, как попал он в тыл австро-немецких войск. Все кончится тогда необыкновенно плохо...

Пройдя по лесу версты четыре, Быков лег на землю. Вспомнил, как слухачи-солдаты прикладывали ухо к земле, словно допытывались от нее какой-то тайны.

— Гудёт, — говаривали они, прислушиваясь к далекому гулу, — земля плачет, в скорбях слезами исходит.

Им казалось в такие минуты, будто земля содрогается в грохоте страшных взрывов.

Он приложил ухо к земле и тотчас услышал тяжелый, надрывный гул, словно звал его кто-то из самой далекой земной глубины. «Артиллерия гремит», — решил он и долго лежал на земле, без мысли, без заботы: дрема скowy-

вала веки. И хоть рука затекла, не хотелось шевелиться. Тело требовало отдыха, он покорился охватившей неожиданно сладкой истоме и заснул.

Как всегда, дневной сон был тревожен и призрачен. Он просыпался долго, мучительно, и какие-то клочки воспоминаний, пробившиеся сквозь дрему, были невыносимо тяжелы. Обрывки разговоров, споров, давние встречи приходили на память. Тело ныло, и кислый привкус был во рту, как после изрядной выпивки.

Быков снова пошел по лесу.

Он был теперь один в пространстве, вздыбившемся, темном; всюду подстерегала беда, малейшая ошибка грозила смертью. Наган в скрипучей кобуре был отныне единственным защитником. «Дешево не возьмут», — подумал Быков, неторопливо шагая по бегущей в гору тропе. Через час он вышел в узкую лошину между горами.

Было уже темно. Ночь наступила внезапно — в южной природе нет мягких сумеречных переходов северного вечера. Темь обступала отовсюду. Пошел дождь, словно сотни ручьев текли сверху, с грохотом и ревом. Молния осветила низкое, глухое небо. Деревья забормотали, зашумели, заплакали.

Дождь кончился, последние вспышки молнии погасли, смолкли раскаты грома. Снова глухая молчаливая тьма окружила Быкова; передохнув, он опять пробирался между деревьями по пути, выбранному недавно.

Осторожно взбирался Быков по узкой тропе. Подъем казался слишком крутым и тяжелым, но надо идти дальше...

Вдруг Быков остановился. Ему показалось, будто вдалеке снова вспыхнула молния. Черная тьма внезапно распалась: от края до края неба прошли синие длинные стрелы молнии. Грохот канонады потряс скалы.

...1915 год... Русская армия рвется к Карпатам. Оттуда, с горных перевалов, видны венгерские просторы. На синем рассвете с горных обрывов равнины Венгрии кажутся бескрайним разливом степей.

Путь на Берлин через Будапешт казался некоторым генералам короче, чем путь через Силезию и Познань. Во время войны прямая, рассуждали они, не всегда кратчайшее расстояние между двумя точками. Настанет время —

и казачьи кони будут пить воду Дуная... Пал Перемышль...

И снова поражение русской армии, прорыв у Горлицы, третьего июня сдан Перемышль... Польша потеряна...

Быков не раз вспоминал предсказания Николая, сделанные еще задолго до мировой войны. Николай говорил тогда, что будущая война, в которую обязательно ввяжется царизм, кончится неизбежным поражением: страна поплатится за свою вековую отсталость. Это предсказание сбывалось. Царские генералы бездарны. В армии много генералов — немецких баронов, которым войска не доверяют. Слухи о предательстве Сухомлинова, о шпионах из дворцовой камарильи, о связях императрицы с ее родственниками в Германии передаются из уст в уста... Но в успех нынешнего наступления Быков верил: в девятой армии было немало хороших боевых частей.

... Небо в огнях и дымных разрывах, в черных клубах и хвостатых языках далекого пламени вздыбилось перед Быковым на рассвете.

Шел уже второй день боев девятой армии. Улетая вчера, Быков не знал, что в тот час, когда приближался он к узловой станции, уже был дан сигнал к наступлению.

С вершины холма, на котором Быков встретил второе утро своего странствования по тылам вражеской армии, было видно шоссе, бегущее над крутыми, высокими обрывами речного берега.

Он увидел длинную вереницу обозов, тянувшихся на запад, и понял, что австрийская армия отступает. Легковые автомобили обгоняли растянувшийся по шоссе обоз; возы останавливались, задние телеги наезжали на передние, и надолго образовывались заторы, сквозь которые не могли пробиться ни автомобили, ни всадники.

Быков второй день ничего не ел, но есть ему не хотелось, только голова слегка кружилась.

Он был теперь пленником скалы, и нечего было думать о скором освобождении. Он нашел выступ между утесами, узкий и длинный, похожий на пещеру, заполз в него, пригибая плечи, и поглядел вниз.

Камни защищали его от случайной пули и от непрошенных взоров, а сам он, если бы пришлось обороняться, отлично мог видеть подползающих к нему людей.

Быков решил переждать тут до сумерек. Ночью он пошел дальше и на рассвете вышел к проселку за горной грядой и широким речным плесом.

Послышалось цоканье копыт по настилу дороги. Быков спрятался за дерево. Всадники мчались навстречу. Он не знал — враги это или свои. Была минута, когда он хотел броситься навстречу с наганом, зажатым в руке; все равно расстреляли бы его, как делали уже несколько раз с пленными русскими летчиками.

Он увидел низких мохнатых коней, развевающиеся по ветру бурки, тотчас понял — свои! — и, выбежав, стал по середине дороги.

Кто-то выстрелил сгоряча, но пуля пролетела мимо. Передние всадники остановились. Молодой есаул спрыгнул на землю, спросил, кто таков и как очутился здесь. Быков рассказал коротко о своих злоключениях. Есаул потер переносицу, сказал, что слышал уже о пропавшем аэроплане, спросил, не ранен ли летчик при посадке, не было ли с ним наблюдателя.

— Едемте с нами, — сказал он. — Мы возвращаемся к штабу корпуса. Только не знаю, как вы... привыкли ведь, должно быть, больше к своему сиденью, чем к седлу.

Быкову подвели коня, седло было в крови. Летчик понял, что всадника, место которого он занял, нет уже в живых. Эскадрон снова понесся по дороге. Быков скакал последним, — конь упрямился, чувствуя неловкого седока, и норовил свернуть в лес.

Вскоре выехали на шоссе. Еще вчера, когда смотрел Быков на шоссе сверху, было оно наводнено отступающими войсками противника. Теперь здесь расположились русские части. На бивуаке стояла пехота. Дымились походные кухни. Солдаты лежали на траве возле составленных в козлы винтовок. Над синей каймой леса раскачивался привязной аэростат. Павшие лошади валялись у обочины дороги; вороны с опаской кружили над ними.

Обоз тянулся навстречу. Быков узнал вдруг ящики, в которых перевозились аэропланы, и чуть не вскрикнул от радости. Отряд перебирается, родной дом его переезжает на новое место! Он спрыгнул на землю, бросил повод казаку и остановился у забросанного желтыми ветками холмика братской могилы.

Его узнали еще издалека, и он сам сразу заметил своих приятелей — выше их ростом никого не было в отряде.

— Глеб! — закричал он нетерпеливо. — Прибавь ходу!

Глеб и Тентенников бросились к нему, и он, прихрамывая, побежал к ним навстречу; как и всякий неопытный наездник, он еле двигался после сегодняшней долгой поездки верхом.

— Жив, — сказал Глеб. — А мы-то уже и не чаяли. Думали — погиб... Горевали...

Это слово, сказанное по-мужски просто, было дорого Быкову. Он знал: Глеб нарочно говорит так сдержанно, чтобы не выдать своего волнения.

— Вернулся, — ответил он, пожимая руки друзей.

— Счастье, что ты нас нашел, — в такую пору разлучаться обидно, — сказал Тентенников, протягивая ему папиросу.

— Удачная встреча, — перебил Глеб. — Если бы на старый аэродром пробирался — и через три дня не нашел бы отряда.

— В Буковине будем стоять теперь, — радостно промолвил Тентенников. — Мне давно посмотреть хотелось, какая такая Буковина, и вот поди ты — приехали.

Буковые рощи окружали широкое поле аэродрома. Под жильё отвели летчикам маленькие чистенькие домики. Стали устраиваться на новом месте. Три складные кровати летчиков снова стояли рядом. Штаб отряда поместился в высоком нарядном доме, на самом берегу реки.

— Нравится? — спросил Глеб, показывая на голубоватую дымку над горами: там синели леса, и длинной черной грядой тянулись утесы и скалы.

— Отличное место, — насмешливо сказал Быков. — Можно подумать, что мы на дачу переехали, а не возле фронта устраиваемся.

— Ну, насчет дачи ты переборщил малость, — покачал головой Глеб. — Послушай-ка...

Они прислушались: издалека доносились глухие раскаты орудийного грома. Бой продолжался.

— И все-таки веселее, чем раньше было, — сказал Тентенников. — Город близко: если случится срочное дело, всегда можно будет во-время съездить...

— Ну, какие у тебя дела? — усмехнулся Быков.

Тентенников обиделся и замолчал.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ



тром Быков встретился с Васильевым. — Мы уже думали — панихиду заказывать придется, — сказал Васильев, — мало ли какие неприятности могут случиться в полете. У меня у самого, извольте видеть, один случай был странноватый. Вылетел однажды в разведку и чувствую вдруг — попал в неприятнейшее положение. Вертикальный поток воздуха тянет вниз. Место, понимаете ли, из самых гнусных. Гора. А за горой — лощина. Глубокая, сырая. К довершению же неприятностей, дальше еще река. Вот и взялись тогда за меня сии силы природы!

Он прищурился, мигнул припухлым веком и безнадержно махнул рукой, словно чувствовал, что Быков не интересуется его воспоминаниями.

Быков знал, какие рассказы ходили в отряде о Васильеве и его хвастовстве: мотористы называли его непромокаемым. Такая кличка давалась авиаторам, прививавшим о своих летных приключениях, бредившим подвигами, будто бы совершенными ими.

Быков с завистью подумал о немногих отрядах в которых были хорошие и смелые командиры, ученики и последователи великого Нестерова... Уже два года прошло с тех пор, как погиб Нестеров в бою, а до сих пор на одиннадцатый корпусной отряд, которым он командовал в первые дни войны, боялся нападать австрийские летчики!

Васильев сел за стол и загремел ключами, поглядывая в упор на летчика. Быков протянул ему донесение. Васильев поморщился, вынул из ящика цветной карандаш, подчеркнул какие-то особенно удивившие его пункты.

— Все? — спросил он, дочитав до конца.

— Все, — спокойно ответил Быков.

— Скажу по правде, ожидал большего.

— Чем богат, тем и рад.

— Вы могли бы не губить самолет.

Он оставался таким же, каким был всегда, — заистинным в случае удачи, требовательно-насмешливым, если подчиненный попадал в трудное положение.

— Я не нарочно погубил его. К тому же надо учесть, что это первая моя авария за два года военной службы.

— Плохое оправдание, — пробурчал Васильев. — В ближайшие дни наступление возобновится, тогда придется летать снова, а аппаратов с каждым днем становится меньше. . .

Быков не слушал.

Он внезапно почувствовал, что устал от всего: от боев, от полетов, от сложных и раздражающих отношений с Васильевым, от вечной заботы о друзьях, от беспокойства об отце и приемном сыне. «И чего они писем не пишут, не случилось ли там чего у них в Москве?»

— Кстати об аппаратах, — сказал Васильев. — Я получил сообщение, что вскоре предстоит поехать в Петроград на Щетининский завод для приемки новых аэропланов, — не могут они присылать сюда своих слатчиков.

«Вот бы поехать, — подумал Быков. — В Москву бы по пути заехал, с Леной увиделся бы в Петрограде».

Васильев нахмурился, испытующе поглядел на Быкова, постучал карандашом по столу:

— Впрочем, о поездке поговорим после. Пока — вы свободны.

Быков не удивился, встретив Пылаева, важно разгуливавшего возле ангара. Утром рассказывал ему Глеб, что Пылаев летучку свою забросил и теперь находится при отряде. Что он делает в отряде, почему перебрался сюда окончательно, никто толком не знал, кроме командира, но как раз у Васильева-то никто об этом и не решался спрашивать.

«Словно дом родной», — думал Быков, осматривая новый аэродром; ведь он уже привык к людям, к летчикам и мотористам, как-то незаметно втянулся в круг их интересов, жил теми же думами и заботами, что и они. . .

Авиационные отряды были самыми молодыми соединениями русской армии. Кавалерийские корпуса, пехотные полки, артиллерийские части имели свои постоянные казармы в дальних городах России и в случае окончания войны точно знали, куда им следует возвращаться на постоянные квартиры. У авиационных отрядов не было другого пристанища, кроме постоянно меняющихся аэродромов.



— Таборное наше житье, цыганское, — говаривали мотористы.

У Быкова, как и у его друзей, развились постепенно навыки старых мастеровых. Летчики любили свою машину больше всего в жизни и не понимали, как можно было когда-то мечтать о другой профессии.

В русской армии числились в ту пору уже десятки авиационных отрядов. Они могли бы сделать гораздо больше, если бы не техническая отсталость русских заводов — поставщиков самолетов: по конструкции русские машины были лучшими в мире, но не было для них хорошей заводской базы.

Капитан Загорский составлял когда-то докладную записку о нуждах военной авиации. После смерти Загорского черновик записки Лена подарила брату.

Летчики часто просматривали отрывочные карандашные записи и удивлялись смелости и размаху мысли Загорского. Да, этот скромный и даже застенчивый офицер в пенсне действительно был человек незаурядный и решительный. Он мечтал о создании воздушных армий, о грозных эскадрах самолетов, которые могли бы ринуться на врага, поддерживая сухопутное войско, об особых воздушных соединениях, которые не только помогали бы другим родам войск, но и вели самостоятельные операции.

Когда-то до войны встретился Быков со слепнувшим летчиком Поповым. Попов поздравил его с победами на международных состязаниях в Ницце, в Париже и подарил книгу о будущей войне — «Война и лёт русских воинов». Попов предсказывал огромное будущее военной авиации, и Быкову особенно полюбилось одно его изречение: «Зрячий карлик сильнее слепого великана». Карликами он называл летчиков, слепыми великанами станут огромные сухопутные армии и флоты европейских держав, если они не научатся боевому применению воздушного флота.

Как метко это было сказано, и сказано задолго до войны, когда многие еще не понимали грозных возможностей авиации! Попов и Загорский были единомышленниками.

Быков чувствовал стремительный рост авиации, ощущал его каждый раз, когда приходилось иметь дело

с машиной новой конструкции. Годы непрерывных побед авиации были годами торжества конструкторской мысли. Какими смешными казались теперь старомодные «райты» — чудовищные по своему безобразию аэропланы со специальными приспособлениями для взлета. «Райты» называли шееломками, на этих американских самолетах разбилось немало талантливых летчиков. После первых полетов, возвращаясь на землю, летчики радовались, словно из мертвых восставали. Живот частенько болел: брызгало скверное масло из маломощных моторов, и не раз доводилось наглотаться его...

Тогда Уточкин ходил по аэродрому и твердил стихи собственного сочинения:

Ветер дует — не боюсь,  
Солнце светит — я смеюсь...

В те дни, чтобы привыкнуть к аэроплану, обязательно нужно было его с чем-нибудь сравнивать: биплан называли громадным летящим жуком, моноплан — чайкой, распростершей крылья над землей. Теперь изменилось и это. Аэроплан стал повседневностью. Самолет стал городскому человеку понятен и близок, как автомобиль или мотоциклет.

Ночью пришло известие, что наступление возобновилось и австро-германские части отступают на запад.

Потом сообщили о появлении новых вражеских самолетов. Летчикам приказано было вылететь с утра в полет и завязать групповой бой.

До сих пор редко дрались вместе, в воздушную разведку их обычно посылали в разных направлениях.

Скоро послышался рев запускаемых моторов. Три машины одна за другой поднялись в воздух. Впереди шел Быков.

Через сорок минут они уже перелетали через передовые позиции. Их приветствовали солдаты, — вверх летели фуражки, подсумки, скатанные шинели.

Быков сделал круг над окопами. Это еще больше обрадовало солдат. Глеб и Тентенников тоже покружились неподалеку от траншей и снова взмыли вверх.

День был безоблачный, ясный. Труднее летать зимой, когда голубоватая дымка на горизонте скрадывает земные очертания, но ведь и летом, даже в ясные дни, мешала летчикам коварная неуловимая мгlistая дымка. Чем ближе к осени, тем призрачней становится голубизна кругозора.

Самолетов противника не было вблизи, но Быков знал, что каждую минуту можно ждать их появления.

Самое трудное для летчика — ожидание противника, который может появиться неизвестно откуда. Часами патрулировать в небе, высматривая в беспредельном просторе каждую маленькую точку, любое темное пятнышко, которое может через несколько минут оказаться самолетом противника, — испытание, требующее и большого терпения и отличной наблюдательности.

Тот, у кого лучше зрение, раньше заметит вражеский самолет и тем самым обеспечит себе победу. Глеб был чуть близорук, и это всегда волновало Быкова. У него же самого зрение было отличное, он был уверен, что первым увидит чужой аэроплан.

Небо было еще чисто и свободно. Маленькие пятнышки на горизонте пропадали так же быстро, как и появлялись.

Так прошло минут сорок. Быков начал нервничать: ему казалось почему-то, что он сегодня видит хуже, чем обычно. Рябило в глазах, и он боялся просмотреть врага.

Вдруг три маленьких точки, три крохотных черных пятнышка мелькнули на горизонте. Он тотчас покачал самолет с крыла на крыло — сигнал внимания.

Медлить было нельзя. Со стороны солнца заходили они во фланг противнику — сбоку шли на маленькие, медленно увеличивающиеся точки.

Через пять минут Быков уже видел головной вражеский самолет.

Аэроплан с черным крестом на плоскости заходил в хвост его самолета. Быстрый вираж... На мгновение прижало к сиденью... И снова врагу приходится идти против солнца.

Быков увидел еще два самолета, идущие навстречу. «С ними справятся ребята, — подумал он. — Мне бы сперва головной взять». Головным был «фоккер» —

самый прославленный в последние месяцы истребитель немецкой армии.

«Фоккер» маневрировал. Быков вспомнил чей-то рассказ о том, как ввязывался в бой летчик Козаков. Да, так именно надо поступить и сегодня, это сразу привлечет к нему внимание вражеских аэропланов и хоть ненадолго ответит удар от Тентенникова и Глеба.

Он сделал мертвую петлю.

Аэроплан противника повернул назад, словно не хотел наблюдать за сумасшедшим циркачом, русским летчиком, и в ту минуту, когда противник меньше всего мог ожидать нападения, Быков взмыл вверх. Вражеский аэроплан тоже начал набирать высоту. Быков полез вверх быстрее. Он был на триста или четыреста метров выше, чем противник, взмывающий вверх в полуверсте от самолета Быкова.

Виразж... виразж... еще виразж, легкое головокружение, больше от странного ощущения, что самолет вертится волчком, чем от усталости. Не сбавляя газа, Быков пикировал сзади на самолет противника...

О том, как проходил бой, впоследствии Быков немногословно рассказывал:

— Было очень просто. Я подошел к нему сзади... и сбил...

В полдень на аэродроме рядом с его машиной опустились самолеты Глеба и Тентенникова. Им не довелось драться: после того как Быков сбил «фоккера», остальные аэропланы противника бежали.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ



Через несколько дней Тентенников был ранен в бою, и после госпиталя ему дали десятидневный отпуск. За тридцать часов боевых полетов он получил причитающееся ему вознаграждение — пятьсот рублей прибавки к содержанию — и убеждал друзей, что теперь-то, наконец, весело проведет время.

Ночью перед отъездом он долго смешил приятелей своими рассказами. А потом вдруг стал необычно

серьезен и заговорил о том, как следует учить молодых летчиков тактике воздушного боя.

— Хороший летчик как учит? — спрашивал он и сам же отвечал себе: — Примером, собственным риском. Он вылетает в небо с новичками и говорит им перед полетом: «Что бы ни случилось, не лезьте в бой, не стремитесь мне помочь. Только смотрите. Это единственное, чего я от вас требую». А русского человека научить легко. Очень он к технической выучке склонен. Светлые головы у наших людей — мигом схватывают, если учишь их показом.

Утром Быков и Победоносцев пешком провожали приятеля до городка.

— Странно ты ведешь себя, — сказал Глеб, — разговариваешь о чем угодно, только не о том, как и где проведешь отпуск.

— Не иначе как влюбился, — уверенно проговорил Быков, взяв приятеля под руку.

С другой стороны взял его под руку Победоносцев. Тентенников шел, упираясь, и сердито морщился.

Рослые, широкоплечие, они казались встречным солдатам великанами. Здороваясь с ними, мотористы радостно улыбались. В отряде любили летчиков, завидовали их дружбе, сочиняли занятные истории об ихключениях...

Теперь Тентенникову было не до смеха, и он сердито твердил:

— Да пустите ж вы меня... Вот уж чисто кавказский пленник...

— Нечего, брат, и думать, что выпустим, — отвечал Быков. — Пока не признаешься, не будет тебе пощады.

— Хороша ли она? — спрашивал Глеб. — Смотри берегись! Вдруг я начну ухаживать.

— Ты лучше свое береги, а на чужое не зарься, — окончательно рассердился Тентенников, но у Глеба было такое хорошее настроение в то утро, что он не обиделся и только еще крепче сжал локоть «кавказского пленника».

Настроение менялось у Тентенникова почти мгновенно. Он не только перестал сердиться, но и захотел поделиться с приятелями своей сердечной тайной.

— Сам расскажу... — завопил он. — Только отпустите, черти...

Его отпустили. Он приготовился рассказывать, достал трубку, набил ее махоркой, закурил, истратив предварительно коробок спичек, и ехидно сказал:

— Сами небось влюбляетесь, переживаете, а обо мне и забыли. Но ведь и я не каменный. Вот ухаживал я в Питере за артисткой Кубариной, но она мне мало симпатизировала, хоть я ежедневно в театре торчал и не пропускал ни одной репетиции. А вот теперь на другой жениться собираюсь...

Он помолчал и строго добавил:

— И рассказывать нечего. Интересная девушка. Жалко, времени мало — десять-то дней пролетят, как одна минута...

— Где хоть она у тебя?

— Адресок дать? — хитро прищурился Тентенников.

— Если не жалко.

Старательным и четким почерком — особенно четок он был потому, что издавна привык Тентенников делать большие интервалы между буквами, — вывел он название маленького городка прифронтной полосы, улицу, номер дома и даже фамилию какой-то Борексо. Быков тотчас вспомнил сестру, с которой встретился у Пылаева в летучке, но, зная ревнивый характер Тентенникова, не подал и виду, что знаком с нею.

«Может, сказать ему, как она ко мне с поцелуями приставала? Обидится, пожалуй, не поверит. А жалко — не подойдет ему пронырливая красotka в жены».

— Мало ли что может случиться, — сказал Тентенников, подозрительно поглядывая на задумавшегося Быкова. — В случае чего — напишите. А теперь адью — прощайте! Я и сам дорогу найду.

Они распрощались у часовни. Долго еще смотрели летчики, как шел Тентенников по дороге, размахивая руками и поминутно оглядываясь, словно боясь, что приятели пойдут следом и снова задержат праздными распросами.

Без Тентенникова стало скучней. Глеб радовался, что Кузьма хоть развлечется немного, отдохнет, но Быков только головой покачивал в ответ на разговоры об ожи-

дающем приятеля счастье: казалось ему, что разочарованием кончатся веселые тентенниковские дни.

Дня через четыре Васильев поехал в штаб армии и взял с собой Быкова.

— Дело есть,— сказал Васильев, усаживаясь в бричке рядом с Быковым, и сразу задремал: как всегда с похмелья, у него болела голова, и в такую пору он становился неразговорчивым.

Подъезжая к Черновицам, Васильев проснулся, тяжело вздохнул и огорченно сказал:

— Изжога страшная... Хоть бы пососать лимону... и того в этой глуши не достанешь...

У белого нарядного дома, в котором помещался штаб армии, бричка остановилась, и Васильев, поморщившись, сердито сказал:

— Ждите меня в ресторане.

Через час в ресторане он говорил летчику:

— Вы уже знаете, что нужно ехать кому-то принимать самолеты для армии на Щетининский завод в Петрограде. Только что решено: едете вы... Завидую вам. Поедете, увидите, как живут в Петрограде... Я без Питера скучаю дьявольски, право... Сам не могу, к сожалению, покинуть отряд...

Быков плохо понимал, почему Васильев отказался от поездки, да и мало интересовали летчика личные планы поручика. Снова увидеть Петроград, город своей молодой славы, вспомнить, каким он был в летние дни тысяча девятьсот десятого года, — для этого одного стоило поехать. Но ведь есть и квартира еще на тихой, совсем провинциальной улице, в десяти минутах езды от центра. Есть телефоны знакомых. И телефон Лены. И комната, в которой она сидит вечерами, склонившись над газетами...

— Вам уже пора на поезд, — сказал Васильев, посмотрев на часы.

— Как на поезд? Я в отряд должен заехать, проститься с товарищами, собрать вещи.

— О сантиментах и думать нечего, батенька. Не на гулянье едете. Дело доверено вам большое, будете принимать аэропланы для девятой армии. А раз так, то раздумывать нечего. Марш на поезд — и вся недолга.

— Я не понимаю...

— Всего хорошего, — растягивая слова, сказал Васильев. — Имейте в виду, если сегодня не уедете, я с вами валандаться не буду.

«Чудит на прощанье, самодурствует, хоть чем-нибудь хочет насолить, — решил Быков. — Впрочем, не отказываться же из-за его блажи от поездки в Питер». — Он одернул китель, встал из-за стола и, не протягивая руки, попрощался с Васильевым.

Поручик едва кивнул в ответ.

«Не от любви же ты выхлопотал мне командировку, — подумал Быков. — Может быть, отделаться попросту хочешь от меня?»

Николай был дома, и Быков смог с ним повидаться перед отъездом. Николай дал ему адрес работника Петроградского комитета большевиков, который снабдит летчика необходимой литературой и директивным материалом для фронта.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ



Петроград Быков приехал в дождливый, серенький день. Наняв на Гончарной извозчика, тотчас же попросил поднять верх пролетки.

Извозчик привез к парикмахеру. Побрившись, Быков прежде всего решил посмотреть, изменился ли Невский за последние годы, и прошел проспект из конца в конец. Сразу бросилось в глаза, что уличная толпа сильно изменилась, стала более суетливой и нервной. На Невском появилось множество людей, внешность которых обличала провинциалов, недавно приехавших в столицу. Это были беженцы. Они подолгу стояли перед витринами больших магазинов, рассматривали клодтовского чугунного коня, которого взнуздывал чугунный юноша на Аничковом мосту, и в глазах беженцев застыла тревога людей, навсегда покинувших родные, насиженные места.

Еще в поезде мечтал Быков о встрече с Леной, и как только удалось ему снять номер в гостинице, сразу же позвонил по знакомому телефону. Никто не отозвался.



Он решил заехать в лазарет, где, как говорил ему Глеб, проводила Лена целые дни.

В двухэтажном доме на Кирилловской улице в прошлом году был открыт лазарет. Быков долго стоял на улице, надеясь, что выйдет из подъезда какая-нибудь сменившаяся после дежурства сестра милосердия. У нее можно будет узнать, дежурит ли сейчас Лена. Прошло еще полчаса. Никто не выходил из тихого дома. Быков решительно и быстро подошел к подъезду. Швейцар сказал ему, что, точно, Загорская Елена Ивановна сегодня дежурит, и объяснил, как надо пройти к ней.

Быков поднялся по лестнице во второй этаж. В свежепобеленных комнатах было просторно и чисто. Пахло сосной, тянулся из дальних комнат синеватый дымок ладана. Сутулый священник, шаркая по полу слабыми ногами, прошел навстречу. Быков уступил ему дорогу, оглянувшись, переждал несколько минут и еще быстрее пошел по анфиладе светлых высоких комнат.

Послышались женские голоса, девушка с черными косящими глазами выбежала навстречу, и следом за нею вышла Лена.

— Елена Ивановна! — крикнул Быков.

Лена сразу узнала его и улыбнулась. Улыбка делала ее очень похожей на Глеба, а все победоносцевское издавна уже стало для Быкова близким, родным...

— Как я рад, что увидел вас наконец, — сказал он, не давая ей промолвить ни слова, и взял ее за руки.

— Рады? — переспросила она. — И я рада, Быков.

Тотчас показалось ей, что сказала она слишком много, гораздо больше, чем следовало даже в первую минуту встречи, и, высвободив свои руки из широких ладоней Быкова, Лена спросила уже совсем иначе, дружески, но строго:

— Надолго приехали? Как Глеб поживает? Ничего не пишет, забыл меня...

Девушка с черными косящими глазами подошла к ним. Лена познакомила Быкова с ней.

— Мы с ней не расстаемся... Таня — моя лучшая приятельница, — сказала она, обнимая девушку за плечи.

Быков сразу возненавидел Таню только за то, что она стоит рядом с ними и не собирается уходить, мешает беседе с глазу на глаз.

— А я за вами пришел, Елена Ивановна,— торопливо сказал он. — Может, освободитесь сегодня? Поговорить мне хочется о многом.

— Удачно пришли. Я как раз уходить домой хотела. Если бы вы минут через двадцать сюда явились, могли бы меня не застать.

Быков глядел на нее не отрываясь, словно боялся, что придет неожиданно какой-нибудь незнакомый человек и разлучит их.

— Мне подвезло, значит. А то когда бы я вас встретил...

— Дома бы застали. Я теперь домоседкой стала.

Они решили провести день вместе: пообедать в ресторане, потом погулять по набережным, а вечером сходить в Александринский театр.

В ресторане говорили мало. Лена была рядом — и задорная ресторанный музыка, сухое виноградное вино, подтянутые фигуры мужчин, сидевших за соседними столиками, румяные лица женщин — сытое довольство тыловой жизни — не раздражали Быкова, как обычно. Он слушал Лену, и запоминал отрывки случайных фраз, произнесенных ею, и видел маленькие руки ее, которые до боли хотелось поцеловать или хоть задержать в своих руках на минуту.

— Вы надолго приехали?

— Недели на две. Послали принимать аэропланы. И так быстро собрали в дорогу, что даже не успел вещи взять, с Глебом не простился.

— Почему же спешка такая была?

— Сам не понимаю. Знаете, Елена Ивановна, кажется мне почему-то, что попросту Васильев захотел избавиться от меня.

— Противный он, ваш Васильев, — сказала Лена и тотчас заговорила о том, что волновало ее, — об отношениях между Глебом и Наташей.

— По-моему, там изменения большие...

— А Глеб?

— Скрытным он стал за последнее время и о Наташе редко разговаривает с нами.

— Вам не кажется, Быков, что Наташа — женщина со странностями? — спросила Лена и тотчас покраснела, будто сказала что-то очень неуместное.

— Странности? Просто не перебесилась.

— Не перебесилась? Я не совсем понимаю вас...

— Как бы вам объяснить? — задумался летчик. — Знаете, Елена Ивановна, я ведь слаб насчет всяких там определений, но, попросту сказать, не люблю истерической любви. Чувство, по-моему, всегда должно быть цельно.

Пролетка мягко катилась по торцам набережной. Быков напомнил Лене про первые встречи в Петрограде и Царицыне. Еще только появились тогда над ипподромами первые аэропланы, еще внове были имена Ефимова, Уточкина и Попова, еще никто не знал имени самого великого летчика их поколения — Петра Нестерова, еще странным и смешным казался автомобиль на древних проселках захолустий, а теперь новая техника — кинематограф, аэроплан, беспроволочный телеграф — стала уже повседневностью.

В театре не досидели до конца. Проводив Лену до дому, Быков снова пошел на набережную. После сегодняшней поездки эти места, как и все, что было связано с Леной, стали для него по-особому памятными и дорожными.

В то время как Быков гулял по набережной, Лена сидела за круглым столом в большой комнате пустой и печальной квартиры и совсем по-старушечьи, низко склонив русую голову, раскладывала пасьянс.

Пасьянс не сходиллся, и Лена огорчалась: она загадала на Быкова, и ей очень хотелось, чтобы пасьянс вышел.

И вовсе не болела у нее голова там, в театре. Просто ей показалось, что сидят они на тех самых местах, которые когда-то заказывал Загорский, — в том же самом ряду и в тех же самых креслах.

Давно уже томило ее мучительное чувство вины какой-то перед погибшим мужем. Она вспоминала свою короткую семейную жизнь, вечера, которые они проводили вместе, тихие прогулки по городу, и казалось почему-то, что была она плохой женой, совсем еще девчонкой была, плохо понимала заветные думы Загорского, мало и редко говорила с ним о его любимой работе...

Ей вспомнилась теперь повесть их короткой любви — от первой встречи до того дня, когда она увидела, как падал с высоты самолет.

И то, что когда-то тосковала беспричинно, и грустила, и читала книги с многообещающими заглавиями, и ждала чего-то несбыточного и необыкновенного, тоже казалось ей скверным.

Вот дождалась она перемены, исполнилось негаданное, а его уже нет в живых, и она ходит в театры, ездит по ресторанам с другим человеком, который смотрит на нее так же, как смотрел когда-то Загорский, и так же влюблен, должно быть, как был влюблен ее погибший муж.

Его уже нет в живых, а она так же молода и хороша, как прежде, и живет, и смеется порой, и забывает иногда на целые недели о Корнее Николаевиче. . .

Та жизнь, которая была у нее до войны, ушла и никогда не вернется снова. Не вернутся больше встречи на вокзале, когда приезжал он из Москвы или из Пскова, где жила его старая мать. Лена встречала его зимой на перроне, и он улыбался, протирая пенсне, добрыми близорукими глазами смотрел на нее, говорил тихо и ласково:

— Вот и приехал старый Менелай, милая моя Елена. . .

Не вернутся утренние часы, когда они сидели рядом, пили чай и он ей рассказывал что-нибудь из своих старых наблюдений. Как и Быков, он был человеком бывалым, много видел, и она только ахала, узнавая от него, как много интересных встреч и случаев бывает в человеческой жизни. . .

Что осталось после него? Любимые книги; исписанные вкривь и вкось блокноты; пестрый халат, который он надевал после ванны; ночные туфли; старое пенсне; фотографии; но во всем этом не было того, что казалось бы ей следом прожитой жизни. Она жалела, что не было у них детей. Впрочем, трудно было бы расти ребенку без отца, — ведь и у них, у Победоносцевых, несуразно сложилась жизнь потому, что они выросли без матери.

Может быть, именно потому, что так тяжело сложилась семейная жизнь Глеба, отец стал ласковее с сыном,

больше стал жить его заботами и волнениями — в судьбе Глеба находил он сходство со своей жизнью... О Глебе и Наташе часто говорила она с Быковым. Ей почему-то начало казаться, что, говоря о чужой судьбе, он намечает правила жизни, которую будут вести они сами...

Спроси ее кто-нибудь, как относится она к Быкову, — обязательно сказала бы, что он ей нравится очень. Но можно ли любить такого — до сих пор понять не могла.

Было в нем что-то непохожее на людей, среди которых росла Лена. Нравились грубоватая прямота его, смелость, умение просто и легко разговаривать с людьми, самостоятельность суждений, спокойная уверенность в правильности избранного пути. Но то, как он смотрел на нее тогда, в театре, пугало, и в такие минуты ей не хотелось думать о нем.

Назавтра было воскресенье. Они сговорились вместе пойти в Петропавловский собор.

Быков пришел точно к двенадцати, как обещал, принес цветы, но стеснялся поднести свой подарок и ходил по комнате, не выпуская из рук букета.

Лена пошла в соседнюю комнату переодеться. Когда она вернулась, Быков попрежнему стоял у стола с букетом в руках, нерешительно поглядывая на вазу для цветов.

— Что же вы держите его? Неловкий какой, право...

—словно жених, — ответил Быков, но поглядев на строгое лицо Лены, понял: насчет жениха зря сказал. Лена сразу стала молчаливой, неприветливой — так и слова не сказала ему, пока шли они под мелким моросющим дождем по скользкому тротуару. На остановке трамвая Быков осмелился, наконец, спросить:

— Почему вас, Елена Ивановна, так Петропавловский собор заинтересовал?

— А вы ничего не знаете?

— Ровнехонько ничего...

— Тогда вам рассказать надо. У северных дверей Петропавловского собора гробница императора Павла.

— Которого удушили? — осведомился Быков.

— Павла Первого, — строго ответила Лена. — И вот туда паломничество началось. Я давно об этом слышала, солдаты выздоравливающие из нашего госпиталя

говорили. Делать им нечего — целый день по городу шляются, новости приносят.

— Зачем же нам отправляться в паломничество? Мы-то ведь с вами в бога не веруем и чудес не ждем.

— Конечно, не верим, а все-таки посмотреть интересно...

Они пришли неудачно: паломников не было, только старушка какая-то усердно молилась, став на колени перед гробницей. Увидев Быкова и Лену, старушка подошла к ним, тихо спросила:

— Про число шестьсот шестьдесят шесть слышали, господин офицер?

— Ничего не слышал! — чистосердечно признался Быков.

— Знак тайный, апокалипсический, — сказала старуха. — И будет отныне шестьсот шестьдесят шесть месяцев мору и гладу...

Они обошли собор, постояли недолго перед гробницей Петра и стали советоваться, куда теперь поехать.

Быков посмотрел на часы.

— Поедёмте, Елена Ивановна, на Стрелку. — И они поехали на острова.

Прошло четыре дня. Работник Петроградского комитета большевиков, которому Быков передал письмо Николая, пообещал подготовить литературу к отъезду летчика в конце недели. На заводе Быков еще не был — без Хоботова нельзя приступать к приемке, а тот задержался в Москве и обещал вернуться в Петроград только в понедельник на следующей неделе. Казалось бы, можно отдохнуть в это время, и все же каждый день занят, каждый час расписан: то он ждал Лену на тихой улице в Песках, то встречался с ней на тенистой дорожке в Летнем саду, то они ездили в Петергоф, то ходили в театр. И, возвращаясь вечером в темный, гнилью какой-то пропахший номер гостиницы, Быков радостно думал о новой встрече, о завтрашних беседах, о том, как будут они ходить по набережной, болтая всякий вздор; и как будут они вместе до позднего вечера.

Ему хотелось иногда сказать Лене о своей любви, но оба боялись предстоящего разговора, и однажды, после

того как показалось Лене, что он хочет обнять ее, она простилась неласково с Быковым и целых два дня сказывалась больной.

Однажды вечером гуляли по Невскому. На углу Колюшениной стояла толпа возле выставленного недавно для всеобщего обозрения сбитого немецкого «таубе». Они тоже подошли к аэроплану. Темные зловещие кресты на плоскостях самолета удивили Лену. Какой-то юноша в пилотке важно объяснял собравшейся публике устройство «таубе» и намеками говорил о собственных подвигах. Увидев невзначай георгиевские кресты летчика, он растерялся и отошел от самолета прыгающей быстрой походкой.

Самолет напомнил Лене о командировке Быкова.

Она строго посмотрела на Быкова и сказала, совсем так же, как брат, морща высокий лоб:

— Я не буду встречаться с вами, пока вы не закончите своих дел.

Быков знал: с ней бесполезно спорить, и низко склонил голову.

— А когда освободитесь, приезжайте ко мне, попрощаемся, поговорим. . .

Странно, этот день был самым веселым из всех проведенных в Петрограде. Быков много рассказывал о фронтовой жизни, и Лена слушала особенно внимательно, словно хотела запомнить каждое слово.

Прощаясь, она протянула руку в перчатке, тихо сказала:

— Помните наш уговор?

Это было ее решением, а не уговором, но Быков покорно и тихо ответил:

— Помню. И уговора не нарушу. Но, извините, думать о вас буду ежеминутно.

Она, покраснев и не сказав ни слова, ушла.

Через два дня он поехал на завод. Пока шел от моста, встречал немало рабочих, помнивших его по давнишним временам, когда он работал тут сдатчиком. Они приветливо здоровались с ним, останавливались ненадолго, рассказывали о заводских новостях, расспрашивали о фронте.

В кабинете директора Быков пережил несколько занятных минут. Когда он вошел в низкую комнату,

заставленную шведскими шкапами и моделями самолетов, Хоботов стоял к нему спиной и о чем-то шептался с невысоким смуглым человеком. Обернувшись, он протянул руку к телефонному аппарату и вдруг, вскрикнув, бросился навстречу, словно хотел показать, что навсегда забыл о давней размолвке.

Хоботов был такой же, как и несколько лет назад, — гладко причесанный, чисто выбритый, только воротнички носил теперь не отложные, как прежде, а крахмальные, очень высокие, в которых тонула его короткая жирная шея.

— Меня уже известили, что ты приехал в Питер, — сказал Хоботов. — Только имей в виду: сегодня делами заниматься не буду. На сегодня ты мой пленник. Сейчас поедем обедать, вечером в гости, а уже завтра займемся делами.

Быкова не удивила заискивающая улыбка Хоботова. Летчик, только что вернувшийся с фронта, георгиевский кавалер, он интересовал заводчика, видевшего воздушный бой только на картинках и не знавшего, как умирают люди в болотах, горах и перелесках далекого края.

— Поедем, дорогой, поедем! — ласково говорил Хоботов, похлопывая летчика по спине, и вызвал автомобиль.

В богатом ресторане, в отдельном кабинете, седой официант подал карточку, низко поклонился Хоботову, с уважением посмотрел на Быкова и, склонив книзу большую красивую голову, молча ждал приказаний важного гостя.

— Кваску принеси, Ибрагим, — строгим, но дружеским тоном, каким обыкновенно говорят со знакомыми официантами, сказал Хоботов. Официант понимающе кивнул головой. — А прочее по твоему выбору, — добавил он, отдав карточку и торопливо промолвил:

— Рад видеть тебя живым, здоровым. Ну, что же, рассказывай, как там, на фронте, кто из старых знакомых с тобой? Из наших тертых калачей?

— Тентенников в одном отряде со мной.

— Кузьма? Да что ты говоришь! — радостно воскликнул Хоботов. — Смелый человек! Много обещал, право. Я, знаешь ли, думал, что он далеко пойдет. Но ошибся. Ей-богу, ошибся. Фантазии нет у него, а гонору много. Не хватало у Кузьки чего-то. А дельный мужик.



Он и мотоциклист отличный. Однажды на треке так сиганул... А еще кто, кроме него?

— Победоносцев, Глеб Иванович.

— Фитюлька, — убежденно проговорил Хоботов. — Неосновательный человек. Ему ни за что везти не будет, хоть в последние годы перед войной он и прославился...

— Большой мой друг, — сразу ответил Быков. — Летчик хороший.

— Не спорю, но обаяния в нем нет такого, как в Тененникове.

— Не тебе о боевых летчиках судить, — ответил Быков. — Мне лучше его знать — сам бывал вместе с Глебом в бою.

— О тебе говорят с восторгом, — заискивающе сказал Хоботов.

Хоть теперь роли их в жизни переменялись, но Хоботов все чувствовал себя рядом с Быковым так же, как много лет назад на летном поле, и так же завидовал ему, как тогда, и так же побаивался, как прежде.

Они помолчали. Хоботов снова спросил:

— А еще кто? Ты прости, что я тебя расспрашиваю. Интересно, понимаешь ли. Я ведь всех почти летчиков русских знаю.

— Васильев еще с нами: душка-командир из дворянчиков.

— Васильев! — восторженно вскрикнул Хоботов. — Как же, знаю, знаю... Ловкач... — сказал он и постучал кулаком по столу. — Великий авантюрист...

— Помнишь, я с ним поссорился во время забастовки? Ты на меня тогда в большой обиде был.

— Еще бы! Друг разгульной молодости моей, — усмехнулся Хоботов. — Немало вместе погуляно было. Метеор, не человек. Где он не побывал только! Он из хорошей семьи, но отец его жулик известный, вместе с Рейнботом взятки брал. Правда, дело замаяли. А сам Васильев был изгнан из корпуса за какую-то некрасивую историю. За границу уехал, чуть что не полмира объездил. У Юань Ши-кая был военным инструктором. Потом снова в Петроград вернулся. Он Распутина знает. С Кузьминским дружил. Такой же, как и тот, проныра. С фронта приехал, и вместе тогда выкрали они

у Распутина какое-то письмо... У вас-то на фронте о Распутине большие разговоры?

Хоботов придвинул свой стул ближе к Быкову и доверительно зашептал, не дожидаясь ответа:

— У меня, поверишь ли, все в душе закипает, как о нем вспомню. Нет, ты сам посуди: при дворе русских императоров — и этакое чудо природы в почете. Царица в нем, говорят, души не чает... Сейчас об этом весь Питер кричит. Хочешь, я тебе интересную вещь покажу?

Он вынул из кармана сложенный вчетверо номер юмористического журнала в пестрой обложке и, лукаво подмигивая, проговорил:

— Смотри внимательно...

Быков, ничего еще не понимая, разглядывал странный рисунок, изображающий степенного мужика с птичьим носом и птичьим оперением.

— Не понял? — нетерпеливо спросил Хоботов.

Быков недоуменно пожал плечами.

— Теперь дальше смотри...

На следующей странице был нарисован немецкий кайзер с торчащими усами. Кайзер разбрасывал зерна — кормил бородатую птицу.

Не дожидаясь вопроса летчика, Хоботов торопливо проговорил:

— А теперь я тебе прочту вслух последнюю заметку, которая разъяснит все дело...

Он надел пенсне и, растягивая каждое слово, с чувством прочел:

— Железнодорожные курьезы: «Недавно из Петербурга в Сибирь был экстренно отправлен салон-вагон... с битой птицей...»

— И теперь ничего не понимаю, — сказал Быков, все еще не догадываясь, что могло развеселить Хоботова.

— Ладно, так и быть, объясню. Только учти сначала, что журнал этот стоит дороже, чем бутылка хорошего шампанского. Можно сказать, на вес золота.

Торопясь и от волнения глотая окончания слов, он объяснил Быкову смысл карикатур. Оказывается, недавно, во время какого-то пьяного дебоша в увеселительном заведении, гвардейские офицеры сильно избили Распутина. Для того чтобы замять скандал, пришлось старцу ненадолго отправиться в Сибирь. Вот этой-то самой битой

птицей, которая клевала зернышки из рук кайзера, и был пройдоха Распутин... Когда при дворце дознались об истинном смысле карикатур, журнал был конфискован. Потому он теперь из-под полы продается: ведь всем известно, что Гришка, вкупе с кликой царицы, добывается сепаратного мира...

Быков нехотя улыбнулся.

— Ты чего? — обиженно спросил Хоботов.

— Разве в одном Распутине дело? Весь царский строй прогнил, а ты мне одну битую птицу в глаза суешь...

— Ну, революцию-то вы теперь не сделаете снова. Пятый год не вернется, — уверенно сказал Хоботов и сразу же замолчал, почувствовав, что беседа может кончиться размолвкой. Меньше всего хотелось ему сегодня ссориться с Быковым: ведь неспроста пригласил он летчика в дорогой ресторан.

Пришел официант, принес запретную водку в большом графине, семгу, балык, какие-то особенные огурцы, тихо спросил:

— Наливать прикажете?

— Лей, — строго ответил Хоботов и поднес к губам хрустальную отпотевшую рюмку. — Водка отличная. Со слезой. Пей, прошу.

Он захмелел, еще не пригубив ни одной рюмки, — захмелел от разговоров, от запаха водки, от воспоминаний.

— Стой, — остановил он вдруг Быкова. — За что выпьем? — И, подумав, сказал: — За балычок выпьем. За рыбку.

Долго сидели они в кабинете. Официант бесшумно приходил, расставлял тарелки, приносил суп, жаркое и осторожно, не прислушиваясь к разговору, двигался возле стола.

— Так и живем, — сказал Хоботов. — Пока вы там на фронте возитесь, мы здесь тоже не бездельничаем. Ты что же думаешь — тут, в Петрограде, есть люди, которые уже заранее победы расписали! Вот послушай: был у меня один знакомый по московской гимназии еще, Гречухин, Сергей Сидорович. Маленький, тихонький человечек. Его в гимназии звали шахом и заставили однажды щепотку персидского порошка съесть: дескать,

это шаху обязательно положено. Он из шестого класса ушел, определился на Путиловский завод конторщиком. В бедности прозябал до прошлого года. Была у него, правда, одна страсть — биржевые бюллетени изучал. И понимал их здорово, даже иногда в свободные дни на биржу ходил, но играть — по робости духа и по безденежности — ни разу не решался. В прошлом году умирает вдруг его старая тетка и оставляет ему наследство — пять тысяч рублей. Приходит ко мне, советуется, что с ними делать: жизнь дорожает, все равно ничего на них хорошего не купишь. Может быть, лучше в дело пустить? Я и говорю ему: «Интендантство ищет поставщиков дров. Много ты, конечно, на свои пять тысяч не сделаешь, а все-таки начало положить своему благосостоянию сможешь». Он не раздумывал долго. Месяца через два встречаю его на улице, он благодарит: выгорело, говорит, дело, продал дрова. Так и начал. А теперь какими делами ворочает! Пять дач под Петроградом купил, а в Ялте участки подбирает.

— И много таких?

— Ты думаешь, я зарабатываю много на самолетах? Прогораю, братец ты мой, прогораю! А тоже вознестись мог бы высоко...

Он вздохнул и дрожащим голосом проговорил:

— Беда, да и только. Куда ни сунешься — взятки давай, подарки подноси, ставь угощение...

Он нагнулся к Быкову и прошептал:

— Теперь и я раскинул мозгами.

Быков слушал его и чувствовал, как находит тоска и растет ненависть к Хоботову, словно то, что говорил заводчик, было совсем неизвестно еще несколько минут назад, а теперь, после грубого откровенного разговора, стало ясно и понятно.

Сидя рядом с захмелевшим Хоботовым, тем самым Хоботовым, который когда-то лебезил и заискивал перед ним на аэродроме, с трусишкой Хоботовым, цеплявшимся за рукав инструктора перед полетом, Быков не мог удержаться от непреодолимого желания сейчас же поссориться с этим человеком.

— Разбогатеть думаешь после войны?

— Обязательно разбогатею.

— А о тех, кто умирает на фронте, не думаешь?

— Слушай, — обиженно сказал Хоботов. — Какой ты чудак!.. Почему мне не воспользоваться тем, что само идет в руки? Нельзя быть чистоплюем.

— Раз ты за войну — тебе на фронт идти надо. А выходит так, что откупился, в тылу сидишь, а мы с первых дней боев под огнем...

Хоботов задумался.

— У каждого свой взгляд на вещи. Кому нравится умирать, пусть идет, — сказал он наконец, ухмыляясь. А стоит ли оставаться на фронте? Вот давай так сговоримся: самолеты ты от меня примешь. Моторы поставим со старых аэропланов — это в цене роль играет. Тысячки две я тебе дам. А потом в морское министерство съезжу, и мигом все обтяпаем. Я тебя на свой завод возьму, дозарезу мне нужен сдатчик морских лодок. Чем на фронт-то возвращаться, лучше в Питере жить, подальше от воздушных боев.

Жирный подбородок Хоботова трясся над высоким крахмальным воротничком, и все его преждевременно расплывшееся лицо было так хитро в эту минуту, что Быков растерялся:

— Ты с ума сошел, что ли?

— С ума? — удивился Хоботов.

— А как же иначе! Сам посуди: ты мне предложил только что взятку...

— Я? — широко раскрыл глаза Хоботов. — Какую взятку?

— Две тысячи!

— Две тысячи! — облегченно вздохнул купчик. — Да какая же это взятка? Попросту за труды и по старой дружбе.

— Смотри, — угрожающе сказал Быков. — За такие разговоры можно тебя так сгрести за шиворот, что папы-мамы не вспомнишь.

Хоботов струсил:

— Да я пошутил.

— И к тому же предлагаешь мне с фронта удрать.

— Ну, что же... Здесь бы ты более нужное дело делал...

— Завтра приеду, — сказал Быков, поднимаясь из-за стола. — Чорт с тобой, сегодняшнее происшествие зачеркнем. Но от разговоров с тобою уволь. И помни, что

характер у меня обстоятельный; плохих машин не сдавай — не приму.

Чувствуя, что гроза прошла, Хоботов повеселел:

— А то посидел бы со мной... Кофейку бы попили... Мало ли что случается между друзьями...

Назавтра в заводской конторе Хоботов сидел спокойный, подтянутый, строго смотрел в глаза Быкову своими темными хитрыми глазами и медленно говорил механику:

— Покажите завод господину Быкову. Свезите его на Крестовский остров. Может быть, тот аэродром ему понравится. Со сдатчиками познакомьте.

Он протянул Быкову длинную руку в перстнях и тотчас занялся бумагами.

Завод расширился за время войны, постройки стали богаче и лучше. Чувствовалось, что Хоботов изучил дело, ведет его сам, не доверяя служащим. Больше стали деревообделочные и слесарные мастерские, расширился сборочный цех.

Быков ходил по заводу, вспоминая службу свою до переезда в Москву, а потом вместе с механиком поехал на аэродром.

Со взморья дул ветер, волны набегали на отмель, лодки качало на большой волне.

Полетов в этот день не было. Быков вскорости вернулся в гостиницу. Рука привычно потянулась к трубке телефона, но вспомнил он свой уговор с Леной и загрузил.

Идти никуда не хотелось. Быков отправил посыльного за газетами и читал допоздна.

Прошло еще несколько дней: приступили к приемке самолетов. Приехали летчики из других армий, начались бесконечные разговоры о фронте, и Быкова потянуло обратно в отряд.

В конце недели он снова встретился с человеком, обещавшим переслать на фронт нелегальную литературу. Степан Коляков жил в окраинном районе, в огромном грязном доме, построенном в шестидесятых годах прошлого века и с тех пор ни разу не ремонтировавшемся. Вот уж воистину страшные трущобы, в которых ни одной

квартиры нельзя разыскать сразу... В низких, плохо освещенных комнатах потолки были такого же черного цвета, как и пол, и в тусклые, из кусочков стекла составленные окна почти не пробивался свет. В каждой проходной комнате ютилось по несколько семей, и пока удалось Быкову добраться до комнаты Колякова, пришлось переступить через десятки разложенных на полу матрацев.

— Во-время пришли, — сказал Коляков, худой мужчина с бледным, усталым лицом, иссеченным синими полосами шрамов. — Я, по правде говоря, только из-за вас здесь и задержался. Вчера мне новую квартиру сняли, поближе к заводу.

Он вручил Быкову пакет с литературой и посоветовал ни на минуту с этими листовками и газетами не расставаться — в гостинице, где остановился летчик, всегда могут сделать обыск в его отсутствие.

— Уж вы простите, — сказал Коляков, — что я с вами не очень подробно беседую, дни суетные у нас, занятые... Завод бастует, часть рабочих отправили в дисциплинарный батальон, в Новгородскую губернию, под особое наблюдение, вместо них пригнали солдат. Начались провалы, большая группа работников доставлена вчера в охранное отделение. Но вы сами по району походите — увидите, как живет наша окраина. На время наступило затишье, но это затишье перед бурей.

Распрощавшись с Коляковым, Быков направился к остановке паровичка — трамвай не ходил на эту окраину, нелегко было добраться оттуда до центра. Улицы окраины были безлюдны, не дымились заводские трубы, возле булочных и лавчонок, торгующих продовольствием, длинной очередью выстроились женщины. Иные из них приходили в очередь с табуретками и стульями и часами сидели, не сдвигаясь с места. Голодно было в Петрограде, беспокойно. Война нарушила жизнь заводского района, от которого до фронта семь лет скачи — не доскачешь...

В гостинице Быков, вспомнив рассказ Николая, в давнее время перевозившего нелегальную литературу, распорол подкладку френча. Он аккуратно несколькими рядами разложил газеты и листовки, сколот их английскими

булавками, сверху наложил тонкий слой ватина, клеенку и снова зашил подкладку. Когда он надел френч и поглядел в зеркало, не узнал себя: он стал таким же толстым, как Хоботов... Что ж, зато меньше беспокойств и забот о литературе, — теперь он спокойно может передвигаться повсюду, ни на минуту не расставаясь с драгоценными листками... Пакет-то и на самом деле потерять можно в сутолоке уличного движения или забыть за столом в ресторане...

Пешком дошел Быков до Невского. Он ходил по городу, словно прощаясь с ним. И в день, когда были погружены последние машины, позвонил Лене.

Условились встретиться в Летнем саду. Быков чуть не с утра сидел уже на скамейке в самой дальней аллее. За деревьями мелькали порой женские лица, и Быков не раз бросался навстречу незнакомым женщинам, принимая их за Лену. А она пришла, как всегда, во-время, в распахнутом пальто, протянула руку, спросила, как провел Быков последние дни. Он долго молчал, словно никак не мог собраться с мыслями.

— Кончили дела на заводе?

— Вчера закончил, Елена Ивановна. Скоро уже уезжать. И то — гоните вы меня из Петрограда...

— Напротив: буду скучать без вас. Я привыкла к вам за последнее время...

— А я-то, Елена Ивановна, а я-то... — начал было он, но Лена нахмурилась, и Быков замолчал, искоса поглядывая на ее лицо, раздумавшееся после быстрой ходьбы.

— Много сделали в Петрограде? — снова спросила она, садясь рядом, снимая косынку и упираясь локтем в спинку скамейки.

— Не очень, — грустно ответил он, и невольно пришла в голову мысль, что отношения с Леной складываются так несуразно, может быть, именно потому, что он не посвящает ее в свою внутреннюю жизнь, не рассказывает о своих переживаниях; из всего, что случается с ним, выбирает или смешные истории, или то, что касается Глеба. Вот прожил он в Петрограде столько дней, и ничего не знает Лена ни о последних воздушных боях, ни о столкновении с Хоботовым. Много лет назад слышал он, как жена знакомого летчика говорила, что ей на-



доели бесконечные разговоры мужа о сортах бензина и марках моторов. Казалось ему, будто и Лене скучно слушать рассказы о полетах, о системах самолетов, о воздушных боях, о людях, с которыми он враждовал, о друзьях, об укладе его собственной жизни.

И сегодня разговор был немного смешлив и зачастую совсем бессодержателен. Наконец он спросил, прямо глядя в ее светлые глаза:

— Будете ждать меня?

— Об этом не спрашивают, — ответила она, задумавшись. — Это человек сам должен чувствовать.

— Вам не кажется, что мы еще совсем не жили? — спросил он, наморщив лоб. — Что вот совсем, совсем еще не жили. У меня был знакомый механик, чудесный француз Делье. Он погиб во время моего полета на «дюнер-дюссене», когда я сам тяжело разбился. Он говаривал, что ему казалось, будто во всей жизни его не было ни одного дня, когда бы он мог хорошо выспаться. «Моя жизнь? — сказал он однажды. — Она очень проста. Ее можно определить двумя словами: вечная бессонница».

Лена смотрела на него, задумчиво улыбаясь.

— Так вот и не жили, — повторил он огорченно. — Детство мое было горестно и трудно, молодость прошла в борьбе за кусок хлеба. Мне тридцать один год, а голова моя поседела. Мне никогда не давали жить так, как я хочу. Жирный банкир, с которым я заключил контракт, помешал мне добиться больших спортивных успехов. Потом я хотел честно работать на заводе, а меня заставили лететь на машине, которой я не знал, — и я разбился, чуть не погиб.

Удивленный своей неожиданной говорливостью, он тихо спросил:

— Вы не думали о том, что сможем же мы когда-нибудь узнать настоящую жизнь?

Да, она много думала об этом — и особенно за последнее время, с тех пор как работает в госпитале на Кирилловской улице. И не сама она пришла к думам о завтрашнем дне — их подсказали раненые солдаты, которым она порою читала вслух хорошие старые книжки. Удивительно: они не хотели слушать ничего печального, ничего грустного, хоть сами страдали безмерно. Читай им

обязательно о людях, которые всю жизнь прожили весело и легко и добивались всего, о чем мечтали. Казалось, в людях веселой судьбы находили они предвестие новой жизни, которая должна же, наконец, настать и для них. . .

В Летнем саду есть особенное очарование в осенние дни, и недаром так часто назначают здесь свидания влюбленные — в тенистых аллеях под вечер тихо и удивительно спокойно, и звуки, которые несутся из огромного, полной грудью дышащего города, не пробиваются сюда сквозь успевшую пожелтеть листву. И Лене начало казаться, что надо сейчас же уйти из сада, иначе начнется разговор, который будет ей неприятен. . .

Быстро смеркалось, глухо шумели верхушки деревьев. Статуи, как зачарованные странники, белели на дорожках вечернего сада. Падали листья на скамьи. Прохожих становилось меньше. Пустынное Марсово поле казалось бескрайним и огромным.

Они долго ходили по городу, и было странное ощущение у Быкова, будто не с Леной он расстается сегодня, а с собственной молодостью.

Лена сказала, что будет ждать писем, просила передать Глебу привет и посылку, а Наташе — поцелуй.

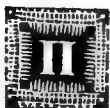
Быкову не спалось в душном и темном номере гостиницы. Хотелось снова услышать знакомый голос, еще хоть одним словечком переброситься на прощанье. Просить, чтобы Лена проводила его на вокзал, он не решился.

Второй час был уже в начале, когда он взял трубку. Телефонистка долго не отвечала, потом перепутала номера, и Быков хотел было отказаться от взбалмошной затеи, но какая-то сила, которую не мог он преодолеть, тянула к аппарату.

Голос ее он узнал сразу.

— Это я, Елена Ивановна, — сказал он, улыбаясь, словно могла она увидеть в телефон его улыбку.

— Я ждала вашего звонка и знаю, что вы хотите сказать, но не лучше ли отложить разговор до конца войны, до вашего возвращения с фронта?



После телефонного разговора Быков окончательно решил, что надо собираться в Москву. Все, что делал он в последние дни в Петрограде, уже мало интересовало и волновало его. Ружицкий уехал погостить куда-то в провинцию, и только о Лене думал Быков в мгlistые хмурые дни, разъезжая в пролетке по набережным и снова обходя излюбленные места недавних прогулок. В понедельник в шесть часов утра он встал в очередь за билетом и, отправив телеграмму в Москву, почувствовал себя разлученным с городом, в котором жила Лена. Уезжая из гостиницы, заставил извозчика сделать крюк и проехал мимо ее дома. В окне четвертого этажа горел спокойный огонек, и показалось Быкову, будто он увидел даже лицо Лены, склоненное над книгой.

Подъезжая к Москве, Быков думал о близкой встрече с отцом и Ваней, долго разглядывал сохраненную еще с первых фронтовых дней фотографию. Добродушное лицо отца и веселая светлоглазая мордочка Вани снова напомнили ему о тех днях, когда жил он на Якиманке, гулял вечерами с механиком и почему-то ждал перемены в своей судьбе.

Он приехал в Москву под вечер. Извозчик повез закоулками, переулками, тупичками. Крендель булочной блестел на перекрестке. Голубой шар сиял в окне аптеки возле высоких белых банок с латинскими надписями. По тротуарам медленно проходили угрюмые, неразговорчивые люди. Колеса пролетки разбрызгивали грязь. Извозчик дремал, сжав обеими руками вожжи.

Подъехали к Якиманке. Быков рассчитался с извозчиком и дальше пошел пешком.

Вот и старинный дом, тяжелые чугунные ворота с литыми мордами каких-то диких зверей. Медленно поднимался Быков по ступенькам.

Площадка третьего этажа не освещена. Он ощупью нашел звонок. Звонил долго, но никто не отзывался.

Так прошло минут десять. Быков чиркнул спичкой. Огромный замок висел на железной скобе: в квартире никого не было.

Он спустился вниз, в прачечную. Там обыкновенно всегда кто-нибудь бывал, и до войны, возвращаясь домой,

частенько заставлял Быков отца здесь: старик сам стирал собственное белье.

И теперь кто-то был в прачечной. Лица стиравшей женщины Быков не мог разглядеть. Он окликнул ее. Женщина отозвалась не сразу. Наконец облако пара растаяло, и дебелая беременная баба сердито ответила летчику, что живет здесь недавно и никого в доме не знает.

Дворник тоже Быкова не знал, о старике же сказал: «Характер у них беспокойный — часто целые недели домой не являются. Квартирную плату вносят аккуратно, иногда оставляют знакомым один адресок, в бильярдной на Неглинной. Может быть, их благородие заглянут туда?»

Пришлось поехать на Неглинную. Среди завсегдатаев бильярдной суетился какой-то человек, голосом и поведением напоминавший отца, но подойдя ближе, Быков увидел, что обознался.

Его начинали злить бестолковые поиски. За несколько часов обошел он много московских бильярдных, но отца нигде не нашел. А где же Ваня? В тихом переулке, в бедной бильярдной сказал ему лысый маркер, что стоит поехать в заведение на Петроградском шоссе, неподалеку от ресторана «Яр», — там полиция не особенно досаждает, и порою играют до утра.

Быков решил съездить и на Петроградское шоссе.

Было уже поздно, когда он дергал ручку звонка в подъезде деревянного двухэтажного дома. Ему долго не открывали, хотя можно было расслышать, приложив ухо к двери, доносившиеся из дома звуки: и стук костяных шаров и раздраженные голоса споривших игроков.

Он сунул швейцару зелененькую бумажку-трехрублевку.

— Милости просим, господин хороший, — тотчас сказал обрадовавшийся трехрублевке швейцар. — Сами знаете, в такое время каждого пускать боязно. Истерзаешься, право, за ночь-то...

Швейцар провел Быкова в темную комнату с буфетом, со столиками, уставленными бутылками из-под лимонада.

Два человека хмурого вида и неопределенного возраста шептались возле окна. Увидев Быкова, они прекратили беседу и тотчас поднялись навстречу.

— Может быть, господин прапорщик не откажется сыграть со мной? — спросил низенький жирный завсегда-тай бильярдной, чем-то напоминавший знаменитого кинематографического шутника Глупышкина, чья толстая, неуклюжая фигура давно уж примелькалась на экранах кино.

— Я не играть пришел.

Игрок, напоминавший Глупышкина, тотчас же рассыпался в любезностях:

— Сразу видно, что вы человек строгих правил и не играть пришли. А может быть, по маленькой и не откажетесь, так просто, только для видимости, с небольшим интересом?

— Отстань, говорят тебе...

Игрок, недоуменно пожав плечами, отошел в сторону.

Быков медленно обходил комнаты, в которых стояли бильярдные столы.

В самой дальней комнате игра шла особенно оживленно. Человек двадцать столпились у входа и жестами одобряли хорошие удары: говорить здесь запрещалось. Чадила керосиновая лампа, подвешенная к потолку. В комнате было душно. Клубы табачного дыма вились вокруг играющих. Маркер, немолодой, бородатый, с грустными, чуть осовелыми глазами, вынимал из лузы шар. Он высоко подымал каждый шар над головой, словно хотел убедить присутствующих, что игра идет точно по правилам и нет никакого мошенничества.

Игроки священнодействовали. Они, казалось, приросли к киям и так привыкли сгибаться над бильярдным столом, что даже после удара по шару не подымали головы.

Низенький, с маленьким лицом, был особенно ловок: подряд он положил четыре шара.

— Лучший игрок в пирамиду, — шепнул на ухо Быкову какой-то суетливый соглядатай. Быков вздрогнул: да ведь этот игрок и есть родной отец Иван Павлович...

Быков посмотрел на игроков и, спрятавшись за выступом двери, принялся рассматривать отца. Только теперь он понял, почему не сразу узнал его: старик казался помолодевшим — он сбрил усы и бороду.

Игру закончили, вынули из лузы красненькую — десятирублевую бумажку, перешедшую в карман папаши, и маленький старичок направился к выходу.

Следом пошел Быков, осторожно ступая на цыпочках. Иван Павлович остановился возле окна в буфетной, задумался, положил руку на подоконник.

Быков оглянулся. В комнате, кроме буфетчика, никого не было.

Он подошел сзади к отцу и хлопнул его по плечу.

Иван Павлович оглянулся, всердцах пробормотал было какие-то злые слова, но вдруг смутился, замигал растерянно, поглядел искоса на неожиданного гостя.

— Петруха, — сказал он наконец, — никак ты?!

— Собственной персоной.

— Как же ты с фронта приехал?

— На поезде.

— А по воде не ехал?

Издавна запомнилось Быкову обыкновение старика спрашивать приезжих, не доводилось ли им ехать по воде.

— Не ехал.

— Поди ж ты! — удивился старик.

— Не очень ты обрадовался, увидев меня, — обиженно сказал Быков.

— Я-то? — вздохнул старик. — Да я, почитай, дня не провожу без того, чтобы по тебе не плакать.

— А забыл разве, что обещал не играть на деньги?..

— Случайно вышло сегодня: пари держали...

— Ежели так, давай поцелуемся...

Он так крепко обнял отца, что Иван Павлович вдруг закашлялся и умоляюще простонал:

— Хватит, Петруха, хватит... Вижу, считаешь меня: сыном ты всегда был заботливым, добрым...

Они сели за стол. Старик ради встречи заказал чай с пирожным. Быков ласково поглядел на отца, словно хотел еще раз вспомнить, как бегал в детстве босой, в коротких штанишках, по саду и ходил в окраинный трактир за «мерзавчиками» водки, к которой старик питал особенное пристрастие. А какие удивительные небывалицы умел рассказывать отец; он и теперь остался верен своим старым правилам.

— В Москве-то, слышал новость?

— Не слышал.

— Вот ведь, — огорчился Иван Павлович. — Ну да ладно, я тебе расскажу... — Он закашлялся, поперхнув-

шись, потом еще раз поглядел на сына и, словно окончательно удостоверясь, что рядом сидит его, Ивана Павловича Быкова, кровный сын, сказал:

— Понять не могу, как такого Голиафа родил!

Он потер виски и грустно промолвил:

— Матери-то не помнишь?

— Не помню.

— Хороша была очень! Я за нею четыре года ходил, делал предложения. Она, знаешь, какая была?

— Откуда мне знать?

— Очень для меня снисходительная. А ростом большая, немного поменьше тебя. Я с ней под руку никогда не ходил. Она, бедная, в тифу померла.

Он всплакнул немного и тотчас принялся рассказывать о последнем московском чуде:

— Будто воздушный шар надувают, и он бомбу в тысячу пудов подымет.

— Надувать-то его надувают, да вдруг его ветер в сторону унесет?.. — насмешливо отозвался Быков.

Иван Павлович огорчился, укоризненно покачал головой:

— Никогда старика отца не порадуешь — знаю, моим былям не веришь...

— Домой пойдем?

— Пойдем, пожалуй...

— Как Ваня живет? — спрашивал Быков в гардеробной, пока отец возился с калошами.

Старик как стоял, так сразу и упал на колени.

— Милый ты мой, — закричал он, — я во всем виноват! Меня вини одного...

Летчика удивило неожиданное волнение старика, и, еще ничего не понимая, он тихо твердил:

— Да встань же ты наконец... Пристало ли тебе на коленях посреди такого заведения стоять?

— Сил моих нет, — скорбно ответил старик. — Все глазыньки я проплакал.

Переходы от слез к смеху были у него мгновенны: поднявшись с полу, он улыбнулся:

— Баловник наш Ванюшка, право...

Долго добирались они на извозчике до Якиманки. Быков молчал, не понимая, почему так расстроился старик при упоминании о Ване.

В квартире было грязно. В комнате Быкова все осталось по-старому, только пыль лежала густым слоем на бумагах и книгах. В той комнате, где жил старик с Ваней, стояли две кровати, но кровать мальчика была теперь большая, железная.

— Сильно вытянулся паренек, — осторожно промолвил старик, не решаясь сразу приступить к решительному разговору.

— Где же он полуночничает? — угрюмо спросил Быков.

— Не иначе как на фронте! — убежденно ответил старик.

— Путаешь ты, отец...

— Ничего не путаю...

— Как же он на фронт мог попасть?

— К тебе в отряд убежал...

— Час от часу не легче, — возмущился Быков. — Да как же ему до фронта добраться?

— Настоячивый очень, — тихо сказал старик. — Такой доберется.

Быкову вспомнился почему-то рассказ Чехова о мальчиках, убежавших в дальние края, — очень хорошо читал его вслух старик Победоносцев. Мальчик, подписывавшийся «Монтигомо Ястребиный Коготь», казался Быкову очень похожим на Ваню — такой же упрямец, мечтательный мальчик, с самого детства думающий уже о том, что со временем совершит великий подвиг. Вспомнил Быков и про то, как сам убежал когда-то от отца к мальчишкам, жившим верстах в десяти от имения Левкаса, как удил рыбу с ними, плавал по морю на шаландах и дней восемь не являлся домой.

Только ведь тогда было проще. А теперь-то... Одному в такую пору пробираться на фронт не очень легко, особенно если учесть, что поезда в прифронтовой полосе подолгу стоят на полустанках, что по дороге ни за какие деньги не достанешь съестного, да и денег-то, наверно, нет у Ванюшки. В те дни во многих русских газетах печатались портреты гимназистов, отличившихся на фронте. Некоторые из них даже были награждены георгиевскими медалями и крестами. Наглядевшись на эти портреты да начитавшись исторических повестей, рассказывавших то о петровских потешных полках, то о сы-



новьях генерала Раевского, участвовавших в бою вместе с отцом, иные мальчики бросали родительский дом и убегали на фронт. Среди них оказался и Ваня, хоть он и не понимал, что же такое настоящая война, в которой участвует его названный отец.

Быков долго рассматривал тетради и книги приемного сына, словно надеялся найти в них следы Ваниной жизни. Тетради и книги были аккуратно расставлены дедом. Книги были в отличном состоянии, тетради чисты, аккуратны, и на каждой почти странице красными чернилами выведены пятерки.

В большом альбоме были фотографии Быкова и его друзей, портреты, вырезанные из «Огонька» и «Солнца России», — все, что мог разыскать мальчик в газетах и журналах о своем названом отце, собрано, тщательно подклеено, пронумеровано, размечено цветными карандашами.

— Очень без тебя он скучал, — тихо говорил старик. — Он разыщет тебя, не думай. . . Обратного вернуться не успеешь, как уже Ваню встретишь.

— Да как же он найдет меня? Ведь на фронте точных адресов не полагается.

— Говорю — разыщет, значит разыщет. . . А ты как живешь? Газами травили небось? — И, сразу же забыв о своем вопросе, грустно промолвил: — Женился бы ты, что ли, Петя. Сколько уже годов я тебя прошу. С фронта вернешься, как война кончится, домик себе заведешь, квартиру. Чистенько будет, аккуратно. Порядочек. Мне, старичку, весело будет, на вас глядя. Ты бы за городом домик снял, садик там был бы хороший. Я бы Москву бросил, бильярд позабыл, за деревьями ухаживал бы. Ты никому не говори, я один такой сорт яблок вывел, что сенап и розмарин перед ним — ничто. . . Огород опять можно было бы завести. . . То-то уж весело было б. . .

Он замечтался, достал из кармана табакерку, протянул ее сыну.

— Хороша?

— Очень хороша. Где достал-то?

— Человек один подарил, которого кий держать учил. Я с ним год, почитай, бился. А теперь зато до такого совершенства дошел. . . Поверишь ли, он однажды с хорошим игроком соревновался — и выиграл. . .

Партнер кием по шару бьет, а он тросточкой. И что же? Выигрывает, право...

— Нюхаешь? — спросил добродушно Быков, заметив, как сунул отец в нос порядочную щепоть нюхательного табаку. — Теперь таким табаком никто не увлекается, а ты...

— Есть грех... Зато насморков у меня не бывает...

Они еще потолковали немного, и отец снова затеял разговор о женитьбе сына.

— Не век же тебе бобылем мытариться, — уныло заговорил он, и Быков почувствовал желание обязательно рассказать отцу о своей любви.

— Может, и женюсь.

— Да что ты! — обрадовался старик. — Собою хороша наверно? Картинка?

— Очень хороша.

— Чего же ты зеваешь?

— Война еще не кончилась, папаша. Да кто его знает, может и не пойдет она за такого...

Отец спрятал табакерку и вздохнул. Разговор как-то сам собой прекратился. Быков разделся, лег в свою старую постель, но заснуть долго не мог и до утра ворочался на скрипучей кровати, а отец тоненько всхрапывал и что-то бормотал во сне.

После встречи с отцом дела, которые могли удерживать в тылу, были закончены. Теперь уже не хотелось оставаться здесь ни одного лишнего дня. Печалило только, что с Леной так и не было ни до чего договорено, да волновало исчезновение приемного сына.

Чем больше думал он о Лене, тем больше нравилось ему все в ней: любое слово, сказанное ею, казалось умным, часами вспоминал он о прогулках по Петрограду, о том, как сидели они вечерами, не зажигая света, в пустой и неудобной квартире Победоносцева.

То, что было пережито до знакомства с Леной, казалось теперь неинтересным, скучным, и ему хотелось каждый день и каждый час своей нынешней жизни проводить так, чтобы Лена сказала ему, что он, Быков, правильный человек, что ему можно верить во всем, и в большом и в малом.

Но теперь настоящая жизнь была для него не здесь, в городах дальнего тыла, где несколько лет назад шумно





проходила молодость, а у подножия зеленых гор, где стоял родной авиационный отряд и от зари до зари слышался шум запускаемых моторов.

Ранним осенним утром с первым попутным поездом Быков выехал из Москвы.

Отец провожал опечаленный, грустный, в слезах.

— Ты, Петя, того, береги себя на фронте, — тихо говорил он напоследок. — И Ваню разыщи. Может, его по этапу домой отправят?

На узловой станции за Киевом скопилось тысяч пять пассажиров. Там были солдаты, возвращавшиеся на передовые позиции, и беженцы, ждавшие поездов, уходивших в Центральную Россию. Быков беспокойно ходил по перрону. Он надумал зайти к начальнику станции, узнать, скоро ли отправляется поезд на юг, но ничего не удалось выяснить толком. . . Потом пошел к дежурному по станции, но и дежурный только вздыхал да разводил руками.

На вокзале в комендатуре Быков увидел двух мальчишек в гимназической форме. Они спали на полу, подложив под голову пухлые кулаки, и грязные лица их улыбались во сне.

— Откуда ребята? — спросил Быков у коменданта. — Спят-то как безмятежно. . .

— На фронт пробирались, — вздохнул комендант. — Воевать поехали. . . Прямо беда с ними! Начитаются книг да газетных рассказов и тотчас — на фронт. . .

— Много их приезжает? — спросил заинтересованный разговором Быков (ведь именно так, где-нибудь на грязном вокзальном полу, спал и его приемный сын).

— За два месяца трех отправили обратно. . . А те, кто порискованней, проскакивают, попадают на фронт.

Встречая мальчишек в поездах, Быков приглядывался к каждому, словно казалось ему, что обязательно встретит он и Ваню в прокуренном, дымном вагоне.

В Черновицах Быков хотел задержаться только несколько часов, но вышло не так, как он думал: в штабе армии встретил знакомых летчиков из соседнего отряда, и они рассказали, будто объявился в Черновицах его сын и живет при штабе армии, ожидая возвращения отца из Петрограда.

«Как он умудрился разыскать меня? . . Должно быть, в журнале каком-нибудь нашел очерк о летчиках Юго-

западного фронта и узнал у досужих людей, что нужно сперва пробраться поближе к штабу фронта, в Бердичев. А оттуда уже разузнал и путь в Черновицы...»

Мастерские, где работал Николай Григорьев, теперь тоже находились в Черновицах, и Быкову пришлось задержаться в городе на несколько дней.

И обрадовался же Николай приезду летчика! Так не терпелось ему поглядеть на привезенные из Петрограда подпольные газеты и листовки, что сам он распорол подкладку быковского френча и осторожно извлек из-под нее чуть смятые листки.

— По моему методу зашивал? — добродушно спросил он, осторожно откалывая английские булавки. — И гляди, какой догадливый — клеенкой еще их снаружи покрыл...

— Зато другое неудобство было... Чистосердечно признаюсь, Коляков мне литературу дал, но бесед со мной подробных не вел из-за занятости своей. Я даже толком не знал, что везу. Если бы арестовали меня дорогой, так и не выяснил бы, за что именно отвечать придется...

— Ан видишь, и не пришлось... С умом будешь действовать — плохого не жди. А ты умно сообразил: пакет с нелегальщиной нельзя брать с собой в такую дальнюю дорогу, обязательно нужно все хорошенько запрятать.

Целый день провели они за чтением в комнате Николая, и только поздно вечером, перечитав все, Николай предложил погулять по городу.

— Может, пойдем перекусим? — спросил он Быкова, сидевшего за столом, — сам Николай любил читать лежа, попыхивая своей трубочкой.

Они шли по темным улицам южного городка. Высокое небо, казалось, тревожно дышало, и тучи, освещенные изнутри мягким лунным светом, быстро уходили на запад. Обоим до боли хотелось обо всем прочитанном сегодня сказать громко сотням, тысячам людей, чтобы и они узнали правду, которой жили Николай Григорьев и Быков. Слово Ленина дошло до них через тысячи верст, и каким ясным сразу стал путь к заветной цели! Они шли молча. Быков чувствовал, что Николай перерабатывает в себе прочитанное сегодня, перерабатывает именно так, как привык делать всю жизнь. Мысли, почерпнутые из газет и листовок, из подпольных большевистских изданий, из

ленинских статей, должны были претвориться в практически нужное дело, и летчик не удивился, когда Николай сказал:

— Надо к вам перебросить одного дельного работника, бывшего путиловца. Ты постарайся его устроить и извести меня о его приезде.

Очевидно, в решении больших задач, вставших сегодня перед Николаем, какую-то роль играла и судьба путиловского слесаря, одетого в солдатскую шинель, — живые люди и их интересы стояли всегда для Николая за каждым теоретическим спором и за любым организационным решением.

Утром Быков распрощался с Николаем и направился в штаб армии. Ему сказали, что Ваня находится у кого-то из штабных писарей. Вскоре Быков разыскал низенький дом на окраине, у самого берега Прута.

Мальчик в форменной шинели ходил по садику, заложив руки в карманы, и дразнил вертлявую собачонку, ни на шаг не отходившую от него.

Заметив Быкова, он сразу побежал навстречу летчику.

— Петр Иванович! Наконец-то мы с тобой встретились...

За два года мальчик не то чтобы вырос, но как-то сильно раздался вширь, и теперь, глядя на его широкую, сильную грудь, на высокие плечи, на большие короткопалые руки, Быков обрадовался.

«Крепыш!» — сказал он про себя и сразу решил, что обязательно отругает мальчишку за сумасбродную и взбалмошную затею — за дикий побег из Москвы. До отряда они добрались в бричке, присланной делопроизводителем. Быков молчал, ни о чем не расспрашивал.

Ваня и сам понимал должно быть, что на него следует сердиться, — боязливо поглядывая на названного отца, он вздыхал украдкой.

Долго ехали они, не перемолвившись ни словом. Характер у Вани был упрямый, и Быкову все-таки пришлось заговорить первому.

— Не стыдно тебе? — спросил он строго.

— Стыдно...

— Есть небось хочешь?

- Я у писаря хорошо жил.
- А жалеешь, что от деда сбежал из Москвы?
- Дед сам виноват, — строго и, пожалуй, обиженно ответил Ваня. — Я его звал, он обещал со мною поехать.
- Но ведь он-то в Москве остался.
- Значит, шутил, — спокойно ответил Ваня.

Быков поглядел на мальчика, не похожего на него фигурой, ростом, сложением, со странным чувством волнения и тревоги. Лицом Ваня походил на Вахрушева, но зато в повадке было что-то, очень напоминающее названного отца. Ваня был так же немногословен, как Быков, зато взбалмошен, любил неожиданные решения, озорные слова, — этих черт характера у Быкова никогда не было.

- Как же до меня добрался?
- Мне в Москве рассказали. Там тебя помнят.
- И ты рискнул, пустился в такое дальнее путешествие?
- Знал, что найду тебя. Сам ты писал, что в Буковине теперь стоишь.

- А откуда ты узнал дорогу в Буковину?
- Я о Буковине семь книг прочитал, — похвастал Ваня, — вот и решил сперва в Черновицы ехать...
- А в Черновицах тоже не так просто было меня найти...

— Нашел же я, — уверенно ответил мальчик и, переждав немного, спросил: — Что же, скоро мы на войну поедem?

— Ты не поедешь, — строго сказал Быков. — Назад в Москву к деду отправлю...

Ваня молча слушал, словно не верил, что придется возвращаться обратно, и вдруг улыбнулся:

- А я снова сбегу.
- «Взаправду сбежит!» — решил Быков, глядя на него, и сам улыбнулся.

— Ну ладно, так уж и быть, поживи немного в отряде. Только имей в виду: месяц проживешь — и обратно поедешь. Согласен?

- Согласен, — подумав, ответил Ваня.
- У переезда бричку задержали надолго: шлагбаум был закрыт, и по путям бегали маневровые паровозики.

Быков ходил по дороге, приглядываясь к буковинским крестьянам, толпившимся у переезда, — мужчины были



в белых длинных рубашках и соломенных шляпах, в черных, хорошо сшитых сюртуках, а женщины в шерстяных юбках, в рубашках с богатой пестрой вышивкой на плечах.

— Это не липоване? — спросил Ваня, семенивший рядом с Быковым.

— Липоване? Я о них ничего не слышал...

— Липоване — русские староверы. Они сюда еще при Екатерине перебрались. Две секты есть у них: поповцы и беспоповцы. Беспоповцы отвергают священство и не признают евхаристию.

— Ишь ты, — одобрительно сказал Быков. — Да ты у меня ученый.

Ваню обрадовала похвала. «Никуда не уеду!» — решил он, с любовью глядя на Быкова, которому хотел подражать во всем — даже летчиком он решил стать только потому, что это была любимая профессия названного отца.

— Как ты жил без меня?

— Мы весело жили с дедом. Он в бильярд играть ходил, пока я уроки готовил, а потом, бывало, придет, рассказывает небылицы про то время, как он молодым был.

— Он и меня просвещал когда-то.

— Ты не думай, — вступился Ваня за старика, — он не врет, просто память у него плохая.

— Я не замечал почему-то.

— А я заметил. Я ему как-то прочел про одного рыболова, который выучил свою собаку удить рыбу. Будто он приделал к удочке шнур. Как только собака заметит, что поплавок ныряет, сразу за шнур дергает. Он запомнил рассказ, а дня через три сам рассказал мне, как у него была собака, которая помогала рыбу удить.

Быков засмеялся и перестал злиться на Ваню.

— Скоро на войну приедем? — спрашивал Ваня через каждые десять минут. — Я летчиком быть хочу, — твердил он. — С тех пор как увидел твои полеты, мечтаю сам летать.

— Упадешь, костей не соберешь...

— А я не упаду...

— В какой класс перешел?

— Я больше учиться не буду.

— Пороху не хватает! Математика заела? — спрашивал Быков, с детских лет решивший почему-то, что нет премудрости труднее математики.

— Я на войну пойду. Зачем на войне математика? Воюешь же ты без математики.

— Чудак, право. Математика и в военном деле важна. Разве можно стать артиллеристом, не кончив гимназии?

— Мне пушки не нравятся. Вот в гусары бы я пошел: форма красивая.

— А в гвардию пошел бы?

— И в гвардию тоже.

— Да кто же такого коротышку в гвардию возьмет?

Ваня огорчился, а через минуту уже радостно спрашивал:

— А тебя взяли бы?

— Конечно, взяли бы. Во мне, братец, почти косая сажень, немного до Петра Великого не достаю.

— Тогда в уланы пойду.

К вечеру они подъехали к деревне, возле которой расположился отряд.

Ваня чуть не заплакал от счастья.

— Теперь-то мы на войне? — спрашивал он Быкова. — Почему нигде не стреляют?

— Глупости говоришь... И подумать только, о чем загрустил... Радоваться надо, что не стреляют...

— Больше не буду, — повинулся Ваня и, увидев самолет, летевший над полем, радостно крикнул:

— Летит!..

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ



Однажды вечером Тентенников вдруг излил свою душу Глебу. Долгожданный свой отпуск он провел плохо. Борексо уверяла летчика, будто бы влюбилась в него, в тихом городке остановилась в одной гостинице с Тентенниковым, а через несколько дней сбежала, обобрав его начисто.

Смешная тентенниковская история не рассмешила Глеба. Она казалась ему слишком обидной.

— Я ее обязательно разыщу, — твердил Тентенников. — Подозрительная женщина...

— Нравилась она тебе?

— Да как сказать? — задумался Тентенников. — Просто заманила меня...

Он грозился, что на этот раз обязательно разделяется с Пылаевым, познакомившим его с Борексо, но васьильевского дружка в последние дни в отряде не было, и расправу пришлось отложить до следующего раза.

— Ты, гляди, не избеи его, — убеждал Глеб. — Сам понимаешь, битьем дела не поправишь.

— Странный человек. Это — вечный наш попутчик. Воротит меня всю жизнь от этой сытой, холеной морды... Никак не пойму, что он у нас в отряде делает?

— А помнишь, чем он в Болгарии занимался?

— Там-то дело простое. Был он агентом полиции, следил за нами.

— Вот и теперь небось тем же занимается.

— Ты знаешь, — тихо промолвил Тентенников, — тут дело посложнее. Быков как-то рассказал о хвастовстве Васильева. Хвастал наш незадачливый командир, будто однажды Пылаева в немецком тылу высадил. И вот кажется мне... — Он тяжело задышал, наклонился к самому уху Глеба, прошептал встревоженно: — Может быть, он не только на русскую разведку работает?

— Ты его двойником считаешь?

— Он и на такую подлость способен. Темный человечиска. Эх, дали бы мне поговорить с ним как следует, я бы из него тайну обязательно вышиб!..

Поговорить с Пылаевым ему удалось в тот же день, но разговор вышел совсем не таким, как предполагал Тентенников. Увидев летчика, Пылаев бросился к нему навстречу и громко закричал:

— Вот уж рад сегодняшней встрече! А я вас предупредить хочу, Кузьма Васильевич. Помните Борексо?

— Еще бы не помнить!

— Так я вам конфиденциально сообщаю, — перебил Пылаев, не давая ни слова промолвить изумленному летчику. — Странная особа... Она из летучки сбежала, деньги мои унесла.

Чувствуя, что Тентенников от растерянности и слова вымолвить не может, Пылаев насмешливо добавил:

— Ну да вы-то, впрочем, и без меня, наверно, остерегались?

Он тотчас ушел в штаб, а Тентенников, оставшись один, недоумевал: «Как получилось, что и нынче хитрый проходимец вывернулся?»

Он рассказал о беседе своей Глебу. Приятель долго смеялся, узнав, как расторопный Пылаев и на этот раз сумел вывернуться из самого, казалось бы, затруднительного положения.

В последние дни Пылаев не разлучался с Васильевым и хозяйничал в штабе, как в бывшей своей летучке.

Вставал Пылаев поздно, после утреннего винопития долго прохаживался по аэродрому, вникал в подробности отрядной жизни и насмешливо поглядывал на летчиков, словно считал их здесь совсем лишними, ненужными.

С той поры, как наступление русских войск кончилось, отряд жил спокойной, тихой жизнью. Изредка летчики летали в разведку, но чаще просиживали целыми днями на аэродроме, ожидая приказа. Васильев каждый вечер уезжал в Черновицы, где завелась у него какая-то новая подруга.

— Разве таким должен быть командир отряда? — негодовал Тентенников. — Помещичьи сынки и на войне стараются жить как в своей вотчине: без забот и волнений. Ты подумай, — твердил он Глебу сердито, — если бы Быкова сделали командиром, разве так бы мы жили?

— И Быкову трудно пришлось бы. Все переделать надо сверху донизу, только тогда дело пойдет на лад.

— А переделают?

— Еще одна война надобна, чтобы переделать, — отвечал Глеб. — Оружие теперь дали народу — он его из рук уже не выпустит. К тому же и другое учесть надобно: еще в прошлом году стало не хватать офицерства. На флоте старыми держатся, а в пехоте, да и у нас, в авиации, уже и простых людей пришлось производить в офицеры. А завтра, если народ подымется против царя, мы с народом пойдем.

Тентенников соглашался и клялся со временем рассчитаться не только с Васильевым, но и с теми, кто затеял эту войну.

Теперь Тентенников остерегался говорить о Наташе плохо и однажды за обедом спросил:

— Стало быть, помирились?

— Помирились,

— Может быть, и я неправ был. Мало ли что прежде бывало... Сгоряча тебе говорил. Ты мои старые разговоры из головы выброси.

— Я и выбросил...

Тентенников снова начинал проклинать буковинскую кухню. Если выдавался день, когда кормили свежей стерляжьей ухой, Тентенников становился благодушной и говорил, что Прут хоть за то прощен может быть, что здесь стерляди, как и в Волге, водятся. Зато в обычные дни он был хмур и, случалось, довольствовался только булкой да жидким, невкусным чаем и придумывал обидные прозвища местным кушаньям.

Вечером, возвращаясь от Наташи, привозил ему Глеб что-нибудь вкусное — то пирог, то сдобу, то свежие пышки, и Тентенников неизменно осведомлялся, сама ли Наташа творила тесто.

Попив чаю, он обязательно говорил, что женщине многое простится, если она стряпать умеет, и одобрял примирение Глеба с женой.

— Винится она? — спрашивал Тентенников, оставаясь наедине с приятелем.

— В чем же ей виниться? — недоумевал Глеб. — Я ни в чем не виню ее.

— Стерпится — слюбится, — поучительно замечал Тентенников. — Ты ее не бросай: из нее, брат, хорошая хозяйка выйдет.

Он собирался навестить Наташу, но никак не удавалось ему поехать в госпиталь вместе с Глебом: после отъезда Быкова в отряде оставалось только два летчика, и нельзя было уезжать обоим сразу. Но однажды Тентенников разбился при взлете, и Глебу пришлось отвезти приятеля в госпиталь, где работала Наташа.

На ухабах, когда особенно трясло бричку, Тентенников морщился от боли, но всю дорогу молчал; только подъезжая к госпиталю, тихо спросил:

— За старое она на меня не сердится?

— Чего ей сердиться? Ты ее, Кузьма, по-моему, не понимаешь: добрая она и бывлой обиды никогда не помнит.

Тентенников успокоился, сказал только:

— Ты ей не говори, конечно, а мужчинам в медицине я больше доверяю. У них руки сильнее... Конечно, она

не врач, а сестра милосердия... Не то бы я к ней не поехал.

— Экой ты, право... сплетником меня считаешь, что ли? Ни слова я не скажу. Сам ты только не спорь с ней.

Наташа встретила Тентенникова ласково, сказала, что поместит сперва в общую палату, а если там не понравится, обязательно переведет в отдельную комнату, выходящую окнами в сад.

В операционной врач сделал перевязку, и Наташа не позволила потом Тентенникову идти в палату: его отнесли на носилках. Он расстроился и спросил:

— Долго ли мне бедовать тут придется?

Узнав, что лечение может затянуться, Тентенников еще больше опечалился и стал уговаривать Глеба приезжать почаще.

— Скука будет смертная без отряда...

— Наташа за тобой присмотрит. И я приезжать буду.

— А как только Быков приедет, ты в тот же день привези его сюда. У него, должно быть, новостей немало.

Глеб глядел на него и не узнавал в нем того завистника, жадно мечтающего о славе, с которым познакомился когда-то в далекой, чужой стране. Словно подменили Тентенникова — стал он за последние годы совсем другим человеком. Раньше, бывало, сердила его чужая удача, и стоило ему только узнать, что повезло кому-нибудь, как сразу начинал он злиться и «играть в молчанку»: бывало, за целый день от него не добьешься ни слова. Теперь сам он стал радоваться успеху хороших летчиков и больше всего дорожил дружбой с товарищами молодой поры. Все чаще удивлял он приятелей неожиданными вопросами о больших явлениях жизни. Чувствовалось, что ум его работает пытливо и неустанно. Появилась у него привычка к чтению. Раньше больше всего любил читать «Мир приключений», сыщицкие романы, а теперь на его столике лежали разрозненные томики Горького, Мельникова-Печерского, Писемского — их он любил как земляков, волжан, хорошо знающих его родные места.

Многое изменилось в его характере за годы войны. На фронт пришел он вольноопределяющимся второго разряда, да и в вольноопределяющиеся-то его пустили только потому, что был он некогда известным летчиком; аттестат

об окончании уездного училища, представленный Тентенниковым, был поводом для вечных усмешек командиров отряда. Васильев за глаза особенно изощрялся в издевках над простым и добродушным летчиком.

Тентенников быстро подружился с Наташей и хмурился, когда вспоминала она о том, как еще недавно ее сурово осуждал волжский богатырь.

— Ладно уж, Наталья Васильевна, — говорил он. — Старое не к чему вспоминать...

Как только выдавалась свободная минута, Глеб выбирался из отряда и верхом уезжал в госпиталь. Наташа ждала его каждый вечер возле старой мельницы — излюбленного места своих одиноких прогулок. К госпиталю шли они пешком. Глеб вел коня под уздцы и неторопливо делился с женой новостями.

В маленькой Наташиной каморке уже поджидал приятеля Тентенников, гладко выбритый, похудевший, в старом халате, в туфлях, надетых на босу ногу.

Они сидели за круглым столом. Скручивая папироску, Наташа рассказывала о беседах своих с солдатами. Разговор ее стал совсем непохож на былую речь: от солдат узнавала она новые слова, каких и не слыхивала прежде, и часто удивляла мужа неожиданными выражениями. Когда казалось ей, что морщат новые Глебовы сапоги, она говорила, что сапоги жулятся, и часто жаловалась, что беда вальмя валит.

Уезжая, Глеб долго прощался с женой и Тентенниковым, потом Наташа выходила провожать его в коридор. Там они снова прощались, в последний раз, и Глеб уезжал, уже не оглядываясь.

В отряде давно не было полетов. Васильев не сумел добиться в штабе армии новых аэропланов. Только через две недели после ранения Тентенникова привезли новый самолет.

Васильев внимательно осмотрел новую машину, постучал согнутыми пальцами по нижней плоскости, строго сказал:

— Эта машина — моя! Никому на ней летать не позволю.

С того дня называл Глеб себя в шутку безработным. Сам Васильев тоже не летал: его самолет ни разу не вывели из белого полотняного ангара.

— Порядочки, нечего сказать, — говорил Глеб Тененникову. — Знаешь, кажется иногда, что такие люди, как Васильев, нарочно делают, чтобы хуже было. Ведь я тебе по секрету скажу: он донесение отправил в штаб корпуса, что и этот самолет не в порядке. Ему выгода прямая — соорудит счет на материал, потребный для ремонта самолета, снова в Черновицы поедет и деньги в ресторане просадит. Пылаев от него теперь ни на шаг...

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ



то и есть отряд? — спрашивал Ваня, когда они подъезжали к деревне. С каким-то разочарованием вглядывался он в очертания палаток и полотняных ангаров, белевших на той стороне реки за бревенчатым низким мостом.

— Совершенно правильно, — ответил Быков, — тут-то мы и живем.

— А когда война кончится, где будет отряд?

— Не знаю.

— Но тут же он не останется?

— Конечно, здесь его не оставят.

Ваня помолчал, словно решал какую-то очень сложную задачу, и огорченно промолвил:

— А почему же они не летают?

— Кто такие они?

— Летчики!

— Ты что же, дружище, думаешь, что летчики все время проводят в воздухе?

— Если бы я был летчиком, я бы все время летал — и днем и ночью.

— А помнишь, как ты плакал, когда маленьким был? Я тебе однажды читал рассказ о летчиках и о небе — жилище Эола, — а ты ревмя ревел...

— Почему?

— Слова тебя пугали незнакомые: про жилище Эола.

— Теперь я совсем не плачу. Даже когда нырять учился — не плакал.

— А кто же плачет, ныряя?



— Меня дед учил нырять и гривенники на лету ловить.

— И легко он тебя этому искусству обучил?

— Сразу я привыкнуть не мог: глаза зажимуривал, как под воду нырял.

— А потом все-таки выучился?

— Конечно, выучился... Знаешь, что он придумал тогда? Он придумал мне в глаза мыло пускать. Как только мыло зашиплет, я зажмурюсь, а потом вдруг возьму да открою: не будет ли снова щипать. Так вот и выучился.

— Меня небось не учил, — шутливо сказал Быков, но Ваня тотчас вступился за деда:

— Он умный старик... Так в жеребцах понимает, что его извозчики всегда расспрашивают, какие жеребцы самые знаменитые на конских заводах.

«Вот беда-то, — подумал Быков, — чего только он не знает!»

— Смотри, кто-то навстречу бежит и руками машет! — закричал Ваня.

Быков узнал Победоносцева и заторопил извозчика.

У моста Глеб обнял Быкова, недоуменно посмотрел на мальчика и принялся расспрашивать о питерских новостях: видел ли Лену, встретился ли со старым Победоносцевым, тоже уехавшим в Петроград после контузии, не прислали ли писем?

Быков расплатился с извозчиком, и дальше пошли пешком.

— Подарок привез, — сказал Быков, передавая Глебу письма и маленький пакетик.

— Сейчас поглядим.

— Там в чемодане еще один пакет есть, белье и всякая всячина. А здесь конфеты. Знает сестра, что ты сладкое любишь, вот и прислала.

— А я сладкого не люблю, — вмешался в разговор Ваня.

— Это с тобой кто приехал? — спросил Глеб.

— А ты вспомни.

— Ваня! Как же это я его сразу не узнал? Вот уж не ожидал! Вырос-то он как! Как он сюда попал?

— На фронт сбежал.

— На фронт?! Ну и дела! Значит, в Москве скучно

стало, и решил сбежать сюда, как начитавшийся книг Майн-Рида герой чеховского рассказа?

— Майн-Рид скучно пишет, — ответил Ваня. — В «Мире приключений» интереснее. Такие рассказы, что страшно ночью спать. Один особенно хороший — о приключениях в старых замках и о войне, как на воздушном шаре летели. Я деду всегда вслух читал.

— Понравилось ему?

— Сначала понравилось, слушал внимательно, потом, когда я до конца дочитал, смеяться начал: у меня, говорит, интереснее было.

— А где Тентенников? — перебил мальчика Быков и внимательно поглядел на приятеля: он уже слышал о том, как неудачно кончились веселые тентенниковские дни во время отпуска в маленьком городке.

— Разбился он, — ответил Глеб.

— Что ты говоришь! Тяжело ранен?

— Было плохо, а теперь на поправку пошло.

— Где он лежит-то?

— В госпитале у Наташи.

— Поедем туда завтра!

— Обязательно поедем!..

Они пришли на аэродром в обеденный час. В халупе летчиков было светло и прохладно.

Три складных кровати стояли рядом, — кровать Тентенникова была выше других, и подушки на ней были взбиты особенно старательно.

— Бедный Кузьма, — тихо сказал Быков, глядя на высокие несмятые подушки, напоминающие о раненом друге. — Хоть бы поправился на этих днях... выписался бы из госпиталя поскорей...

— Наташа писала, что поправляться начал быстро и сразу в весе прибавил: все ему на потребу. Другой бы не перенес, пожалуй.

— А где я спать буду? — спросил Ваня, оглядывая халупу и укладывая в угол свой дорожный мешок.

— Пока на кровати Тентенникова, а там новую поставим — сколотят тебе столяры...

— А у вас спального мешка нет?

— Зачем тебе спальный мешок?

— Я бы на улице спал: дед говорил, что для здоровья это полезно.

— Нечего выдумывать... Где старшие велят, там и будешь спать. И потом смотри у меня: в чужой монастырь со своим уставом не суйся. Если на фронт приехал, то дисциплину соблюдай, не то немедленно домой отправим...

— Хорошо, — ответил Ваня, бледнея при мысли о том, что его могут отправить обратно в Москву, и тихо сказал: — Только летать-то я буду?

— Летать!.. — рассердился Быков. — Поди-ка погуляй лучше, погляди на самолеты, дай нам с Глебом Ивановичем наедине поговорить.

Ваня только и ждал позволения пойти на аэродром и радостно выбежал из халупы.

...Под вечер зашел Васильев, поздоровался с Быковым ласковой, чем обычно.

— Очень рад, что вернулись. День отдохнуть сможете — и опять в небо. Теперь самолетов будет вдосталь...

— Разрешите завтра в город съездить с Глебом Ивановичем.

— Что ж, поезжайте, — сказал Васильев и пошел обратно, к штабному дому. Новенький крестик блестел на его груди.

— За наш бой, — сказал Глеб. — А нас попрекал...

— Самому не заработать, вот и боится со мной плохо обращаться. Знает, если будем в другом отряде, ему же хуже придется...

— Да стоит ли говорить о нем! Теперь, когда мы с Наташей помирились, я о Васильеве и думать перестал.

Прибежал Ваня, потянул Быкова за рукав, смущенно улыбнулся.

— Ты чего? — спросил Быков.

— Нравится мне тут. Весело, право. Я обязательно завтра с тобой полечу.

— Завтра лететь не придется. Я в город с Глебом Ивановичем поеду.

Ваня весь вечер хмурился, словно обиделся на Быкова, но перед тем, как ложиться спать, подошел к нему, шепнул на ухо:

— Ты не думай, что я мальчишка, я себя закаляю, хочу быть настоящим мужчиной. Вот, знаешь, я себя от малодушия отучаю.

— Здорово придумано. За это тебя и похвалить можно. . . Малодушие, брат, самое скверное дело. Как же ты себя отучаешь?

— Если мне что-нибудь очень нравится, я стараюсь отказываться от этого, чтобы не баловать себя. Вот я сладкое очень люблю, а дед говорит, что привычка к сладкому — девичья глупость. Я и не ем конфет.

Быкова начал интересоваться маленький подвижник с таким стойким и непреклонным характером.

— А еще что делаешь, чтобы отучиться от малодушия?

— Правду говорю. . . Вот в училище у нас такой случай был: мы учительнице французского языка в тетради нюхательного табаку насыпали. Весь урок она чихала и пожаловалась инспектору. Инспектор пришел сердитый, спрашивает, кто сделал. Мне стыдно стало, что молчат все, и я ответил: «Я сделал». Он мне тройку по поведению поставил. А другие побоялись, не сказали, что провинились, и надо мной смеялись: «Зачем, говорят, ты признался?» Я им тогда и сказал, что надо всегда говорить правду. Они говорят: «Получил же ты тройку за правду, а у нас пятерки». А я говорю, что у меня дед добрый, в тройках да пятерках не разбирается. А они говорят. . .

— Что-то больно часто у тебя «говорю» да «говорят», — перебил Быков. — А то, что не врешь, — хорошо.

Обрадованный похвалой названного отца, Ваня улегся на кровать Тентенникова в самом благодушном настроении и долго ворочался на сбитом в блин тюфяке: вспомнилась ему Москва, и рысак, прозванный «Ветром», и взбалмошный выдумщик дед, и птичий торг на площади, и встреча на улице с мальчиком — георгиевским кавалером. . .

Утром зашел к Быкову его любимый моторист, приехавший из Москвы старичок Федор Егорович. Быков радостно встретил его:

— Вот этого «петлиста» еще не знаете? — спросил он, показывая на Ваню, сидевшего на подоконнике. — Сын мой приемный.

— Большой парень, — улыбнулся Федор Егорович, с интересом разглядывая насупившегося крепыша. — На побывку приехал?

- Какое на побывку! Воевать решил...
- Да что вы?
- Назад отправим скоро, — сказал Быков. — Ну, а пока пусть его тут проживает. Хлеба хватит, а сладкое он не любит...
- Не люблю, — решительно сказал Ваня.
- Вот и попрошу я вас: позвольте ему сегодня с вами побыть. А то мы в город с Глебом Ивановичем уезжаем, и жаль его одного оставлять.
- Если он скучать не будет — пожалуйста...
- Не буду, — отозвался Ваня и ушел с новым знакомым.

В город летчики приехали под вечер. Дорогой Глеб много рассказывал о своих новых отношениях с женой.

— Встречались изредка, — говорил Глеб, — только когда удавалось удрать с аэродрома. Я, как семнадцатилетний гимназист, целые дни о том лишь мечтал, чтобы встретиться с Наташей. Приеду к ней чаю попить, посидим, поболтаем, и снова назад: тем только от тоски и спасался. А с тех пор как Тентенников на поправку пошел, втроем мы за чаем стали просиживать...

— Старого не вспоминаете?

— Часто и о том беседуем. И знаешь, она попрежнему говорит, что ничего понять не может: наваждение какое-то было...

— Наваждение?

— Именно — наваждение. У Васильева, сам знаешь, жизнь была богатая, много видел. Печоринство на себя напустил, вечные разговоры о том, что в жизни есть роковые загадки, и будто только тогда свой спор с историей закончит, когда его сверху песочком засыплют... Тем сначала и заинтересовал Наташу. Она-то ведь таких людей не видывала до встречи с ним, вот и показалось, будто есть у него какая-то правда. А теперь и слышать о нем не может...

— Хорошо, что ты не злопамятен, — задумчиво проговорил Быков. — У меня характер другой. Я не простил бы...

— Разве тут дело в прощении?

Госпиталь помещался на окраине, в светлом двухэтажном здании, выстроенном пышно и безвкусно, как умеют строить только на юге.

Однорукий солдат, стоявший у входа, знал Глеба и весело пробасил, крутя единственной рукой свой сивый, табаком прокопченный ус:

— Наталья Васильевна скоро будут, в город поехали. А Кузьма Васильевич уже три раза выходили, справлялись, скоро ли приедете.

Он повел летчиков по чистым длинным коридорам.

Тентенникова застали в небольшой комнате с единственной кроватью и крохотным столиком. Наташа устроила его отдельно, так как Тентенников в дни болезни умудрился перессориться с соседями по палате: его раздражали стоны слабосильных больных, и он орал на них, думая, что попросту люди распускаются. Сам он физическую боль переносил стойко и даже во время операции под местным наркозом умудрился рассказать врачу какую-то историю из своей богатой приключениями летной жизни.

— Наконец-то, — сказал Тентенников. — А я думал, что с тобой, Быков, и встретиться больше не доведется. Вскоре вернулась Наташа.

Быков глядел на нее и не узнавал: так изменилась она после примирения с Глебом. Радостно блестели глаза, и улыбка была спокойная, тихая, похожая на добрую улыбку Лены.

— А я словно знала, — весело сказала она, протягивая руку мужу и ласково глядя на Тентенникова, — словно я знала, что надо гостей ждать: варенья к чаю купила. И знаете, какого? Черносмородинового. Это на юге-то, — московскую банку, отличную... Теперь посидим за чаем. Я сейчас пойду на кухню, сразу спроворю.

— Хороша у тебя жена, Глеб Иванович, а ты чудил, — сказал Тентенников, провожая Наташу ласковым взглядом.

— И ты не миловал...

— По глупости, дружище, по глупости. Золотой она человек, да и только. Обо мне как о брате заботится. По вечерам приходит поговорить. И что бы ты думал? Что ни слово — то о тебе: и умный-то у меня Глеб и хороший...

— Не хвали гречневую кашу, — смутился Глеб, — она и сама себя хвалит...

Самовар шумел так же весело, как на Подъяческой или на Якиманке, и чай показался очень вкусным. Наташа придвинулась к Глебу, весело сказала:

— Вот и научились мы радоваться малому. Раньше, в Питере или Москве, что могло быть скучнее самовара? А нынче-то, поглядите-ка, мы и самовару рады, и чаю, и дешевенькому варенью: о северном лесе вспомнишь, и о смороде простой, и о том, как жили.

Быкова поразило, что говорить она стала совсем по-иному; в языке ее появилось множество речений, совсем незнакомых ей прежде, — из разных говоров, которые слышала от больных и раненых солдат, выбирала она простые, грубоватые, но чистые, чем-нибудь особенно ей полюбившиеся слова, и речь ее стала сердечней.

Особенно нравилось Быкову ее ярославское при-слобие: чуть не после каждого слова говорила она ему, или Глебу, или Тентенникову: «родненький».

— Не вечно же будет война, — промолвил Тентенников. — Интересно, что тогда делать будем, когда обратно в города наши вернемся после войны? Помнишь, я тебе говорил, что мечтаю воздушный цирк устроить. Найду приятеля хорошего, и будем с ним из города в город разъезжать. Петлить буду, высший пилотаж показывать, публику катать. Стану вольным казаком, а там — будь что будет. Сами посудите, на заводе перед хозяином я человек подневольный. А тут — никаких хозяев. Антрепренеришку сыщу подходящего, не такого жулика, как Пылаев, и покачу по России. На хлеба на воду хватит — и ладно, больше мне и не надобно...

— Не о том ты мечтал когда-то, — отозвался Быков. — Думал первым летчиком на Руси стать, а теперь и придумать что-нибудь повеселее ленишься.

— Укатали сивку крутые горки, значит, и мечты стали другими. Еще и войну переживем ли?

— А я конструктором буду, — сказал Глеб. — Я отнес профессору Жуковскому чемодан с чертежами покойного брата, вот и попробую после войны в них разобратся. У меня, знаешь, какая мечта? В воздух вагоны пустить. Тяжелое самолетостроение — самое главное

в авиации. Лет сорок пройдет — воздушные поезда будут по небу ходить.

— Ну, уж ежели ты конструктором на заводе станешь, — сказал Быков, — то я к тебе летчиком-испытателем пойду, новые машины испытывать. И Тентенникова балаганить не отпущу: вместе на тебя работать будем...

— Не думаю я, что скоро война кончится, — сказала Наташа, оглядывая этих рослых, сильных людей и с болью думая о том, какие испытания им сулят ближайшие месяцы и годы. — Солдаты говорили недавно, будто еще сорок лет воевать придется...

Летчики переглянулись. Быков молчал, но Глеб и Тентенников взволнованно заговорили.

— Ну, уж тогда нам до конца войны не дотянуть: век летчика не такой длинный, — сказал Глеб.

— Зато у нас жизнь богатая, — отозвался Тентенников. — Вот посуди сам, чем бы мы были, если бы не взялись за руль? Я, наверно, боролся бы в цирке, — смолodu пробовал, даже медали заработал... Или гонщиком остался бы на мотоцикле. Быков до конца дней телеграфистом пробыл бы, а ты, поди, в папашу пошел бы: с крысами да сусликами воевал бы...

— Ты прав. Великое дело руль. Нас так многие и называют: человек от руля...

— А испытали-то сколько, — угрюмо продолжал Тентенников. — Ты сказ про левшу слышал?

— Лескова, писателя?

— Не знаю, может быть и писателем сочинен, — мне про левшу-кузнеца в Туле мастеровые рассказывали. Будто в Англию кузнец приехал и сумел там блоху подковать. Так вот и мы, когда за границей объявились в самые-самые первые дни успехов авиации, сразу показали им, на что русский летчик способен. О нас-то с Петром, помнишь, в газетах писали: русские смельчаки господин Ай-да-да и господин Карашо.

— Как же не помнить, конечно помню. Да возьми хоть и нашего Ефимова, — он на самом первом в истории авиационном состязании в Ницце прилетел впереди иностранцев и все призы взял.



Долго они сидели в тот вечер, а когда пришла пора расставаться, Тентенников вдруг забеспокоился:

— Проводите меня в палату. Страшно одному по темному коридору идти, — усмехнулся он.

Быков понял, что хочет Тентенников поговорить о чем-то наедине, без Наташи, и поднялся со стула. Они вышли в коридор, и Тентенников тихо сказал:

— Там-то я говорить не хотел, при Наташе, незачем ее нашими бедами волновать...

— Что ж, рассказывай без нее, — сказал Глеб. — Мы к огорчительным разговорам люди привычные.

— О Пылаеве я кое-что новое узнал, — вздохнув, сказал Тентенников.

— Что и говорить о нем, — отозвался Быков, — уж мы-то трое знаем Пылаева как облупленного.

— Всех его художеств, пожалуй, и сам сатана не знает, если даже он сатане душу продал. Теперь с летучим отрядом распростился, живет постоянно у Васильева, не тужит, ни о чем не заботится. И с тех пор как у нас живет, началась такая сумятица, что не приведи господи... Вспомни полет, которым тогда хвастался Васильев. Он Пылаева в тылу врага высадил. Нам Васильев это дело доверить боялся, но заметь, тогда они с Пылаевым вдвоем вылетели, а вернулся Васильев один. Потерял он его по дороге, что ли? Может быть, тот до цели на аэроплане долетел и тотчас назад — пешедралом. Я вам и прежде говорил: вдруг он на обоих работает? И на русских и на немцев?

— Вполне возможно, — ответил Быков. — Сам понимаешь, сколько расплодилось теперь шпионов, и при дворе они, и в ставке, и при нашем маленьком отряде тоже могут оказаться.

— Ты Наташе скажи, что очень я ей благодарен, — сказал Тентенников, прощаясь с Глебом. — Самому-то, знаешь ли, неудобно. А она ведь за мной, как мать родная, ходит...

Наташа улыбнулась, когда Глеб передал ей слова Тентенникова, и задумчиво сказала:

— Ну, не так же я еще стара. В матери Тентенникову еще не гожусь, пожалуй. А ты береги себя, Глеб. И приезжай поскорей.

Дорога бежала под уклон, с холма на холм, река яростно гудела и выла, пробиваясь сквозь заторы камней, мерцали далекие огоньки в стороне от проезжей колеи: мягкая густая тьма южной осенней ночи обступала со всех сторон.

Отрядная жизнь снова пошла, как и прежде, — размеренно, тихо. Привезли в отряд новые аэропланы. Ваня целые дни проводил возле ангара.

Васильев однажды вызвал Быкова:

— Вы, что же, намерены мальчишку здесь навсегда оставить?

— Он недолго у меня проживет, до первой okazji.

— Советую вам поскорей подумать о ней.

На том разговор и кончился. Отправлять Ваню одного Быков не решался, так как до Москвы было множество пересадок, и за два месяца не добрался бы мальчик до дому, если бы поехал один.

К Васильеву частенько приезжали веселые компании из Черновиц. Снова появилась у него в доме Мария Афанасьевна — сестра из пылаевского отряда. Она изменилась, подурнела, в ее повадке появилась неприятная развязность: глядя на нее, трудно было поверить, что еще совсем недавно эта молодая девушка слыла скромницей и недотрогой... По вечерам из дома Васильева доносились крики, слышался смех, а иногда и женский плач.

Васильев, пьяный, с растрепанными волосами, в расстегнутом кителе, выбегал в такие минуты из дома и долго сидел на скамеечке. Потом выходил Пылаев и начинал увещевать поручика. Васильев, махнув рукой, возвращался, и ненадолго снова наступала тишина.

Однажды после такой пьяной ссоры Васильев почти до рассвета просидел на скамейке. В то же утро подъехал к дому тарантас. Возле тарантаса суетился Пылаев. С отвратительными ужимками, которые так ненавидел Тентенников, он разговаривал с Марией Афанасьевной. Васильев поглядел на молодую женщину, столько времени прожившую вместе с ним, и нагло улыбнулся.

— Спуск крутой за рекой, — сказал он ей. — Будьте поосторожней, когда поворот станет круче, скажите возчику, чтобы ехал медленней. Да, впрочем, что я... Вас Пылаев проводит.

Она ничего не ответила, только смотрела на него сквозь слезы.

Тарантас тронулся. Женщина окликнула поручика, но Васильев и не обернулся: она успела надоесть ему, а все, что приедалось, уже не существовало для него. В жизни он признавал только то, что могло стать бездумным развлечением или хотя бы тем, что называл он полировкой крови.

Вечером принесли Быкову большой синий пакет, запечатанный сургучной печатью. Быков с удивлением надорвал его, и тотчас выпало несколько писем. Первое письмо было от Хоботова.

«Дружище, — писал Хоботов. — Вы, должно быть, сердитесь еще на меня после той встречи, но, клянусь, я ни в чем не виноват перед Вами. Я попросту пошутил тогда, а Вы мои слова приняли всерьез и обиделись. Я такой же, как и Вы, обидчивый человек и только поэтому не решил тогда пустяковую нашу ссору миром. Во всяком случае помните, что после войны я с удовольствием возьму Вас летчиком-испытателем на завод. Для того же, чтобы Вы не подумали, что я Вас забыл или пишу просто из вежливости, обещаю Вам, если будете в Петрограде, хорошую беседу о будущем».

Быков снова вспомнил о той поре, когда Хоботов еще не был заводчиком и докучал ему своей навязчивой дружбой.

— Ума не приложу, — сказал недоуменно Быков, — зачем он ко мне обратился с таким посланием? Уже после нашего спора, когда он мне взятку предлагал, казалось бы, нам переписываться не стоит...

— Не иначе, как спьяну, — решил Глеб. — Или, может быть, хлопочет, чтобы тебя к нему на завод отчислили сдатчиком самолетов?

— Не похоже. После забастовки он меня на завод не пустит.

Так и не могли они решить, что заставило Хоботова написать нежное послание. Вскоре пришел денщик Васильева, сказал, что их благородие требует Быкова в штаб.

Поручик рассматривал альбом, тонкими пальцами разглаживая давние фотографические снимки. Он подо- звал Быкова:

— Не хотите посмотреть альбомчик? Интересная кол- лекция собирается. Со временем будет ценностью.

Он задумался, тихо промолвил:

— У меня страсть к фотографированию, а Пылаев в этом деле лучший помощник. Он такие фотографии сни- мал — пальчики оближешь.

Альбом в самом деле был очень хороший. Быков узнавал места, где происходили бои, снова вспоминал старые аэродромы, видел лица товарищей, и себя самого, и каких-то незнакомых женщин, и нагло ослабившегося Пылаева.

— Это наш самолет снят, когда улетал в первую раз- ведку, — объяснял снисходительно Васильев. — А вот недурной снимок — мы с Пылаевым вместе ездили на передовые позиции. Поглядите, как ясно и четко снято. А вот старая усадьба, где был госпиталь. Только вы По- бедоносцеву не говорите: тут Наталья Васильевна...

Быков увидел Наташу, сидевшую на скамейке. «Вот уж поволновался бы Глеб, если бы увидел снимок», — подумал Быков и тихо сказал:

— Подарите, пожалуйста, мне...

— Вам? — удивился было Васильев, но тотчас понял, почему хочется летчику иметь эту карточку, пожал пле- чами и выдрал ее из альбома.

Быков разорвал карточку на мелкие клочки, швыр- нул на пол.

— Благородно поступили, право благородно, — ска- зал Васильев. — Боялись, что Победоносцев увидит и расстроится? Хотел бы я иметь такого преданного друга.

Они еще недолго полистали альбом, — прошли перед ними снега, пески, кудрявые деревья, взвихренные об- лака, и Васильев после краткого раздумья приступил к разговору:

— Жалею, что вы ко мне не зашли сразу по приезде. Я ведь Петербург очень хорошо знаю и, поверьте, соску- чился без него. Ну, расскажите, как живет Петербург? На проспектах еще нет блиндажей? Помню, когда я в прошлом году приезжал, после отступлений наших, за Петербург стали бояться. Теперь, кажется, успокоились?

— Ну, полного-то спокойствия я не наблюдал. Слухов много ползет по городу, каждый день с тревогой проглядывают заголовки газет.

— Чего захотели! Полного спокойствия! В военные годы как люди живут? Только сегодняшними, только насущными заботами. Нет, вы лучше о столице расскажите. На Стрелку ездили?

— Ездил.

— Один?

В словах поручика послышался Быкову какой-то намек на встречи с Леной, и он сердито ответил, подымаясь с табуретки:

— Разве вам интересно знать, как я проводил время?

— Экий вы, право, как еж колючий. Вечно на что-нибудь обижаетесь... Я шутя спросил, а вы шуток не понимаете.

— Шутки я понимаю, но когда надо мною подсмеиваются, не люблю.

— И никто не любит. Ладно, если уже не хочется о своих петербургских впечатлениях рассказывать, я вас не неволю. Я иначе устроен, люблю пересказать о том, чему свидетелем в жизни быть доводилось.

Он поглядел на Быкова исподлобья:

— Вы о несчастье с Тентенниковым знаете?

— Вчера его навестил.

— Жаль парня...

— Если бы в отряде дело было поставлено лучше — и жалеть бы не приходилось: был бы Тентенников здоров.

— Вы уверены в этом?

— Не только уверен — знаю.

— Странно, — четко выговаривая каждое слово и пристально глядя в глаза собеседника, сказал Васильев. — Кого же вы изволите подозревать? И вы ли один, осмелюсь спросить?

— Не я один так думаю. Это мнение всех летчиков отряда. Вам доводилось слышать, что такое преднамеренная поломка? — спросил он, тоже не сводя глаз с Васильева. Оба они глядели друг на друга с такой ненавистью, что приведишь постороннему человеку присутствовать при этом молчаливом поединке, ему стало бы не по себе.

— Преднамеренная поломка? Не слышал о такой.

— Видите ли, в начале авиации аэропланы стоили дорого, а предварительный курс обучения был очень недолгий. Во Франции и инструктора авиационных школ, кое-как обучив будущих летчиков, пускали их в небо, а там уже все зависело от их смелости и хладнокровия. Но обычно неприятности начинались, когда аэроплан еще катился по земле...

— Интересные рассуждения, — протянул Васильев. — У вас отличная память... на плохое, — добавил он, задумавшись.

— Тогда некоторые ловкие хозяйчики придумали следующее: надеяться на то, что юноша обязательно разобьет машину, не всегда можно...

— Теперь я уже начинаю понимать.

— И вот, чтобы быть уверенным в успехе и обязательно добиться поломки... Впрочем, вряд ли нужно вам объяснять технику дела...

— Что же? — закричал Васильев, отводя, наконец, глаза и чувствуя неожиданное облегчение: так непримирим был взгляд строгих, внимательных глаз его собеседника. — Что же вы хотите сказать — что в случае с Тентенниковым виноват не Тентенников, а кто-то другой?

— Да.

— И вам, удостоившемуся производства в офицеры, не стыдно выдумывать такие небылицы?

— Было бы стыдно, если бы я не сказал об этом. А производства в прапорщики я не добивался...

— Вот как... — нахмурился Васильев, пренебрежительно посмотрев на звездочку на погоне Быкова. — Кого же вы подозреваете в преднамеренной, как вы говорите, поломке?

Быков молчал, да Васильев и не хотел расспрашивать. И сам он почему-то с тревогой подумал о Пылаеве.

— А я вам хотел поручить одно дело, очень опасное, требующее большой отваги, — сказал он, наконец решившись снова взглянуть в глаза Быкова.

— Какое?

— Вы понимаете, конечно, что война ведется не только на фронте...

«Отвечает на мой вопрос о преднамеренных поломках?» — подумал Быков, но сразу почувствовал, что догадка неверна.

— Военные сведения, необходимые для разведки, добываются самыми разнообразными путями. Авиация открыла новые возможности... — Он помолчал, словно переводя дыхание, и взволнованно протянул: — службе разведки. Подумайте сами, раньше разведку делали егеря. Как мало они видели тогда — только то, что было у них перед глазами. Теперь разведку ведут аэропланы. Кругозор летчика в тысячу раз больше кругозора конного разведчика. Понятно?

— Вполне...

— Раньше для того, чтобы наш агент смог пробраться в тыл противника, понадобились бы самые отчаянные ухищрения. Теперь стало неизмеримо проще: достаточно сделать удачную посадку в тылу — и агент высажен в нескольких десятках верст от фронта. Не нужно искать проводников, и дело идет гораздо лучше, чем прежде.

— Но и противник может таким же путем доставлять своих разведчиков.

— Конечно, — подумав, ответил Васильев. — Вы, должно быть, заметили, что я однажды делал такой полет с человеком, которого вы и ваши друзья невзлюбили?

— С Пылаевым...

— Да, да, именно с Пылаевым, — обрадованно подхватил Васильев, словно боялся первым назвать имя недруга летчиков.

— Мы догадались...

— Дело искусства и расчета, — самодовольно улыбнулся Васильев. — Ведь вы считаете меня хорошим пилотом?

Не дождавшись ответа, он продолжал беседу:

— Вчера я был у врача. Он осматривал меня и заявил — нервы шалят. Запретил полеты. А я получил только что приказ из штаба: необходимо сейчас же вылететь и доставить нашего агента в тыл противника. Заметьте, дело секретное, и вы о том никому из своих друзей ни слова, — спохватился он и укоризненно посмотрел на Быкова.

— Понятно...

— Я поручаю вам доставить Пылаева в тыл противника и вернуться назад сегодня же.

— Не могу исполнить приказ.

— Почему?

— Потому что я не верю Пылаеву: он может служить кому угодно, хоть чорту...

— У вас нет для подобных разговоров никаких оснований, — сказал Васильев и медленно заходил по комнате.

— Вы можете, конечно, верить Пылаеву. Но я никогда не делал того, что казалось мне нечестным...

— Нечестным? Не хотите ли вы сказать это еще о ком-нибудь? — угрожающе подходя к Быкову, вскрикнул он.

— Я говорю о Пылаеве.

Васильев в упор глядел на Быкова. Кулаки его были сжаты, припухшие веки дергались, красноватые глаза слезились.

— Идите, — сказал он наконец, снова склоняясь над альбомом.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

**П**рисланного Николаем человека Быкову удалось устроить мотористом. Семен Попов, бывший путиловский рабочий, до того был в пехотной части, находился на передовых позициях и полным котелком зачерпнул солдатского горя. В авиационных отрядах жили обособленной жизнью, мало знали о действительном положении дел на позициях, а о солдатской жизни и того меньше. Летчики видели только фронтовые тылы, линию же фронта им удавалось разглядеть лишь сверху, с птичьего полета. И потому так жаден был Быков на расспросы, когда попадался ему человек, побывавший в самой гуще солдатской массы. Именно таким человеком и оказался Попов.

Быков только с друзьями мог делиться своими сомнениями и заботами. Взяв в руки оружие, приходилось драться, десятки раз рисковать жизнью, вылетать в самые рискованные операции, и Быков стал известным



летчиком, чьи портреты печатались часто в иллюстрированных журналах. Но горька и тяжела была ему эта слава! Он ненавидел вражеских летчиков за их жестокость, за то зло, которое они причиняли беззащитным людям. Но не меньше ненавидел он и Васильева. А ведь приходилось подчиняться его приказам, встречаться с ним, разговаривать... Быков понимал, что отношения его с Васильевым добром не кончатся... Васильев был для него выражением всего строя, гнет которого испытывал Быков смолоду.

С каким нетерпением в пасмурные январские дни 1917 года ждал он новой встречи с Николаем!..

Однажды утром, неподалеку от ангара, Попов подошел к летчику и, откозыряв, тихо сказал:

- Поговорить мне надо с вами по секрету...
- По секрету? Неприятности какие-нибудь у нас?..
- Неприятностей никаких нет...
- Почему же тогда по секрету? Ведь только о неприятном люди секретничают, а уж если у них что-нибудь хорошее случается, тут секретов не бывает.

— Напрасно вы так думаете. Иногда и хорошее известие по секрету следует передавать. Чтобы те, кому не следует, о нем не узнали.

- Если так, то секретничайте...

Быков свернул на тропинку, ведущую к проселку, рядом зашагал Попов.

— Собственно говоря, дело у меня к вам самое простое, но мне хотелось с вами обязательно поговорить, — ведь Николай Григорьев уверял, что вас обрадует весточка от него...

- Я хотел бы его увидеть.

— Он о том же просил.

— Тогда, может быть, теперь же поедем?

— Сейчас не могу, но часика через полтора закончу сборку мотора и готов с вами ехать.

Дорогой Попов больше говорил о Васильеве и об отрядных порядках, чем о Николае Григорьеве и о предстоящей встрече.

— Вас механики и мотористы любят, — сказал Попов, обращаясь к Быкову и стирая рукавом пыль

с козырька фуражки. — Им нравится, что вы независимо держитесь с Васильевым. Он, по правде говоря, вас и ваших товарищей боится. И то: из старых офицеров он один в отряде остался. А остальные — военного производства, не из дворян, а из простых людей, как вы, как Тентенников, как все мы. Поэтому Васильев нам и не верит. Ведь вот без вас случай был, Тентенников чуть не побил его.

— Кузьма мне об этом не говорил.

— Зато наши мотористы видели и мне рассказали. Не знаю, из-за чего спор между ними вышел, но поспорили они крепко. И вот...

Попов прищелкнул пальцами и, надев фуражку, продолжал:

— И вот слышат мотористы бас Тентенникова: «Конечно, на дуэль меня как не дворянина вы вызвать не можете. Я ваших дуэльных кодексов не знаю и дворянским тонкостям не обучался. Но уж, извините, если кто меня обидит, то силу кулака моего обязательно испробует». И знаете, все удивлялись: Васильев нахрапист, резок, а тут вдруг растерялся и бочком, бочком в сторону — и смылся.

— Узнаю Тентенникова. Кого невзлюбит — скрывать не станет. Он человек редкой прямоты...

За разговором и не заметили, как доехали до Черновиц. Вскоре бричка остановилась возле низкого одноэтажного дома с садиком.

Долго просидели они втроем в тесной комнате Николая. Расставаясь, Николай пообещал на будущей неделе приехать в отряд, привезти новые листовки и попутно познакомиться с товарищами летчика.

Вышло, однако, не так, как предполагали при встрече старые друзья. На другой день поутру в дверь постучали, и денщик громко сказал:

— К вам, ваше благородие, гости.

— Кого еще принесла нелегкая? — недовольно сказал Глеб.

— Меня принесла, — громко проговорил Николай, входя в комнату. Он был по-обычному весел, но Быков сразу приметил, что Николай чем-то расстроен и старается скрыть свое волнение от Победоносцева, которого до сих пор знал только понаслышке.

Решив, что Николай хочет поговорить с Быковым наедине, Глеб тотчас встал с кровати и громко сказал:

— Вы извините, мне надо уйти ненадолго, хочу проверить, как работают в ангаре мотористы.

Николай благодарно кивнул головой. Сев на кровать Тентенникова, он сказал:

— Видишь, как обернулось дело. Условились мы с тобой вскоре встретиться — и на самом деле встреча вышла сверхскорая.

— Служка за тобой была в Черновицах?

— Хуже: с обыском пришли. И на мое счастье слишком долго возились, разбирая бумаги в чемоданах. К их приходу там уже ничего нелегального не было, только комплекты московских и питерских газет да десяток брошюр. И вот, представь, солдат, стоявший в дверях, понимающе смотрит на меня внимательным, обжигающим взглядом. Мне его поведение не совсем понятно, но и я с него глаз не свожу. А он вдруг отходит в сторону от двери и наклоняется, затвор на предохранитель ставит. Я тотчас сообразил, что выручить он меня хочет: понимает, чем мне арест грозит. Тихо шепчу ему: «Спасибо». Оглядываюсь, а чины предержащие бумагами заняты. Я тотчас в дверь. Выхожу из дома спокойно, не торопясь. До базара дохожу в две минуты, нанимаю извозчика — и к вам. Хорошо еще бороду сбрил, не так заметен...

— Неужели они тебя не хватились?

— Минут через пять стрельба началась возле моего дома, но я, понятно, не оглядывался, сунул чаевые извозчику, он и погнал что было силы. В сорок минут до вас добрались.

— А ты его обратно не отпустил?

— Глупо было бы, не по-конспираторски, — его бы там задержали, да и выяснили бы, куда он меня отвозил. Я ему сказал, что отсюда только к вечеру уеду, денег обещал дать много. Он и успокоился. Самое приятное, что они не догадались погоню послать в сторону фронта. Наверно, вокзал оцепили, в поездах ищут.

— Но ведь здесь им нетрудно будет тебя отыскать? Кто-нибудь на базаре обязательно расскажет, что ты извозчика нанимал, да и он сам не может здесь вечно оставаться, — когда вернется, укажет, где тебя найти.

Явится полиция к нам, обыщет помещение, — и некуда будет тебе тогда деться...

— Чудак человек, — возразил Николай, — неужели же ты думаешь, что я тут у вас останусь? Да и у тебя, видимо, настроение изменилось. От меня, брат, такое состояние душевное не скроешь.

Быков недоумевающе посмотрел на Николая.

— Что ты хочешь сказать?

— По-моему, я достаточно ясно выразил свою мысль.

— Нет, ты все-таки повтори. Я боюсь, не ослышался ли, часом?

— Пожалуйста, могу повторить. Мне это нетрудно сделать.

— Раз нетрудно — повторяй.

— Не очень, думаю, тебя радует ответственность за мое нахождение здесь. Тем более, командир ваш — сволочь порядочная, он с каждого из вас по три шкуры спустит, если узнает, кого вы укрываете. А уж если меня здесь арестуют, и вовсе вам не поздоровится.

— Ты серьезно говоришь? — тихо спросил Быков. И вдруг поняв, что именно в его словах могло не понравиться собеседнику, летчик улыбнулся. — Ты не понял меня. Я не о себе думал. Неужто ты не узнал меня? Или за кого другого принимаешь? Ты — первый человек в жизни, который меня обвиняет в подлости.

Николай внимательно поглядел на летчика.

— Не сердись, друг, не сердись, беру свои слова обратно. Ведь я сгоряча тебя обидел, показалось мне, будто ты смущен моим неожиданным появлением. Но раз ошибся — прости, не вспоминай случайно вырвавшихся слов.

— Дело не только в том, что я — не трус. Храбрость моя всем известна, я ее много раз доказал — и в небе и на земле. От другого я бы в жизни такой обиды не вытерпел. А ты забыл о главном: я тоже твоей правде служу, только ей одной, без нее нет мне жизни, а раз так...

— Ну, полно, полно, — сказал Николай, медленно проводя по лицу широкой рукой. — Просто мне показалось, померещилось...

Оба помолчали. Потом Николай сказал:

— А вообще-то говоря, уезжать отсюда мне необходимо...

— Не понимаю тебя... — обиженно сказал Быков.

— Да нет же, я о другом хочу тебе сказать. Видишь ли, оставаться здесь бессмысленно, так как на мой след легко нападут. Уехать трудно — на всех дорогах погоня, а добираться надо до маленького городка на Днестре, километрах в ста отсюда. И мне пришла в голову остроумная мысль. Пари держу, тебе ни за что не догадаться...

Быков с любопытством взглянул на повеселевшего Николая.

— Единственный путь, по которому не станут меня искать, — воздушный. Вот я и решил использовать вашу технику...

— Ты лететь хочешь?

— Совершенно правильно.

— А ведь здорово придумано! Воистину, никакой шпик не догадается искать твой след под облаками...

— И ты со мной полетишь?

Быков задумался.

— Если ты веришь мне, то должен верить и моим старым друзьям — Тентенникову и Победоносцеву. Семь лет я иду вместе с ними по жизни, и к концу этих семи лет мы еще больше сдружились. На них можешь положиться, как на меня: головой отвечаю. И вот, кажется мне, без совета с ними нельзя решить дело. Тентенников в госпитале; значит, придется говорить с Победоносцевым. Летчик он хороший, человек верный. А я здесь останусь...

— Почему?

— Да потому, что главные неприятности суждены не тому, кто с тобой полетит, а тем, кто здесь останется. Придется выдержать жестокий бой с Васильевым. Он, понятно, сразу заинтересуется, на каком основании вылетел самолет без его приказа. И лучше, если Васильев будет иметь тогда дело со мной, — меня он боится больше, чем Победоносцева.

— Пожалуй, ты прав, — подумав, сказал Николай.

Глеб был обрадован доверием Николая и принял самое горячее участие в обсуждении предложенного плана. В конце концов было решено, что с Николаем полетит Победоносцев, а Быков возьмет на себя неизбежный спор с командиром отряда.

— Придется немало ему крови попортить, — предсказал Быков, прощаясь с Николаем.

Его предсказание сбылось. Васильев узнал об отлете аэроплана к концу дня. Он тотчас вызвал к себе Быкова и принялся его жестоко отчитывать за самоуправство. Никто из летчиков так и не узнал никогда, чем закончился этот разговор. На расспросы друзей Быков отвечал только:

— Я же вам говорил, что Васильев — фанфаронишка. И стоит только на него хорошенько прикрикнуть, как он молниеносно сдает свои позиции. Я ему сказал, что Глеб проверял машину в полете. . .

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

**С** о времени разговора с Васильевым прошло уже несколько дней, а Пылаев еще оставался в отряде. Впрочем, теперь он сторонился Быкова: должно быть, рассказал ему Васильев о подозрениях летчика.

Глеб скучал, порывался в гости к Наташе, но Васильев не отпускал его.

— Не могу, — говорил он. — Жду новых приказаний. Потерпите немного, отдохните.

Глеб злился, морщил лоб, возвращался в халупу и от нечего делать перечитывал хорошо знакомые страницы скучных, опостылевших романов, присланных из Петрограда сестрой.

От Тентенникова пришло письмо — на желтом листке бумаги крупными каракулями было выведено несколько слов, развеселивших приятелей.

«Температура прыгнула вниз, — писал Тентенников, — и прямо-таки вниз головой прыгнула: то каждый вечер было 39, а теперь и до 36 никак не могу дотянуть. Наташа говорит, будто это от слабости, и советует поехать в Нижний, на поправку. Но я не могу и думать о поездке. Дома у меня нет родных. Того и гляди — загуляю. А про то, как один отпуск кончился у меня, оба вы знаете, право. Вот и решил я вернуться в отряд. При-

везу вам колоду карт, будем резаться в дурака. А там и снова за ручку возьмусь. Не расстанемся до конца войны. Так что — ждите, и скоро ждите. Подарок вам привезу».

Он приехал через несколько дней, похудевший, с коротко остриженной головой, с глубоко запавшими глазами. На радостях распили бутылку коньяку, привезенную Тентенниковым.

После болезни Тентенников стал особенно разговорчив и много рассказывал о Наташе; подружился он с ней и каждый вечер уговаривал Глеба немедленно написать ей письмо.

— Некуда ехать мне, — сказал Тентенников. — Буду здесь подлечиваться после болезни; ты же знаешь: в столицах с нашими капиталами особенно не разгуляешься, в Черновицах со скуки сдохнешь, к тому же боюсь, что без вас запью, разбушаюсь негаданно, — весь отпуск сразу прахом пойдет.

Тентенников снова спал на своей старой кровати, а рядом составили ящики, на которых спал Ваня. Целые дни проводил Ваня с Тентенниковым.

Летчик поправлялся медленно. Прогулка в ангар, которой непременно начинал он каждое утро, была для него самым главным событием дня. Обыкновенно вместе с ним ходил и Ваня — он поддерживал летчика, и Тентенников называл его поводырем.

Безделье тяготило Тентенникова. Каждый день он придумывал какое-нибудь занятие для себя и ночью долго не мог заснуть: казалось ему, что лишился он былой силы.

— А ты не ной, — утешал его Быков. — Хоть на меня погляди: ведь я-то чуть руки не лишился, а ничего — летаю. Изредка к непогоде занает...

Тентенников молчал: казалось ему, что у него все трудней, чем у других, заживает.

Иногда садился он за расшатанный стол, доставал бумагу, карандаш и сочинял письмо Наташе.

— Ты не припишешь? — спрашивал он Глеба вечером. Глеб подходил к столу, смотрел через плечо приятеля на кривые строки, ползшие по бумаге, и дописывал в уголку несколько слов.

Ответы каждый из них получал отдельно.

Часто теперь говорили они о Наташе. Глеб неизменно повторял, что в запутанных его отношениях с женой было выражение общего неустройства современной жизни.

— Как начинали мы жить? — говаривал он приятелю. — Мы жить начинали как-то бездумно, словно не сами шли по жизни, а кто-то тащил нас за шиворот. В старых романах, когда люди ничего не делали, они сначала обдумывали жизнь, а потом начинали действовать. У нас же обстоятельства иначе сложились. Сначала мы жить начали, а потом уже сама жизнь выучку давала. На собственном горбу мы ее узнали. Ведь и в авиацию мы по-разному пошли. Я — книжек начитался, в интеллигентских-то семьях с книжечки все начинается. В рассказах о первых летчиках многое было возвышенно и романтично. Только у Быкова были цели ясней...

Он помолчал, словно не мог сразу собраться с мыслями:

— И вот оттого, что слишком восторженно я на жизнь смотрел, приходилось порой трудно. О счастье думали мы. Простым и бездумным казалось нам тогда это счастье. Тебе, Кузьма, хотелось громкой славы, мне — самостоятельной, независимой жизни. И что же? Ничто из наших мечтаний не свершилось. Да и не могло свершиться. И вот помнишь, Петр, мы как-то с тобой говорили, встал перед нами вопрос: что же такое счастье? Я читал книгу Короленки, там говорится, что человек создан для счастья. Но счастье-то в чем? Это не глупый вопрос, как некоторым кажется. Не болтовня интеллигентских хлюпиков: вы поглядите, сколько даже лекций читалось в те годы, когда мы по провинции разъезжали. Куда ни приедешь, всюду столбы и заборы заклеены пестрыми афишками, и на каждой: «В чем счастье?», «Что такое цель жизни?», «О смысле жизни»... Лекторы-то, понятно, шарлатанами были, но не случайно ведь где-нибудь в Сызрани или грязном городке на юге валила молодежь на лекции...

— Я таких лекторов немало видел, — вставил свое слово Тентенников.

Быков лежал на кровати с закрытыми глазами, внимательно слушал, но в разговор не вмешивался, словно хотел дать выговориться Глебу.





*К стр. 383*



— Правильно, и ты видел, — ведь провинцию ты хорошо знаешь, в сотнях городков небошь побывал. И вот тогда-то и стало нам ясно, что счастье, истинное счастье — в долге. В любимой нашей профессии, в завоевании неба. В обязанности нашей перед другими людьми, перед своей страной. Только в том и может быть счастье. Ты на Наташу хотя бы погляди, — сказал он, обращаясь почему-то к одному Тентенникову. — До той поры, пока она свой долг до конца не поняла, пуста была наша жизнь. Пока она в беззаконие васильевское верила, в то, что все позволено, не было жизни у нас. Ведь и на фронт она пошла не потому, что понимала истинный смысл происходящего... А вот теперь она поняла, что должна хоть немного облегчить солдатское страдание и горе, и жизнь ее иначе пошла. Смысл найден: он в долге. Сразу становится все простым и понятным, до бесконечности ясным. Мы взяли за ручку, подняли сперва самолет; в небо потому, что просто хотели летать. А теперь из этого тоже рождается долг наш. Петр говорит, что вслед за нынешней придет новая война. Справедливая, истинная, которой ждет народ, которая землю даст мужику, раскрепостит рабочего. Тогда-то и придется нам свой долг исполнить. Истинный, от самого сердца идущий...

— Да ты у нас просто философ, — весело проговорил Быков, вскакивая с постели и обнимая Глеба. — Хотя сам не понимаешь даже всей своей правоты. Скоро, очень скоро настанет пора, когда придется вспомнить о долге своем. Те царские бюрократы, что правят сейчас, не думают о счастье России, а большевики трудятся для народа. Наша дорога с ними. Здесь наш долг, наше счастье.

Дверь халупы распахнулась, и на пороге остановился делопроизводитель отряда Максим Максимович. С этим огромным толстым человеком редко встречался Быков. Делопроизводитель был несловоохотлив, угрюм, задумчив, но работал много, с утра до поздней ночи, и, пожалуй, на нем одном держалось хозяйство отряда.

Васильев ничего не знал об отрядной жизни, плохо помнил людей и совсем уж не интересовался перепиской — канцелярией, как говаривал он презрительно, — ею ведал делопроизводитель.

— Дела, дела, право! — сокрушенно понутив голову, промолвил Максим Максимович.

— Случилось что-нибудь в отряде?  
— А вы не знаете? — недоуменно спросил делопроизводитель.

— Ничего не знаю.

— У нас неприятности, да какие... — Он передохнул минуту и раздраженно проговорил: — Сводки секретные пропали...

— Пылаев украл? — взволнованно спросил Быков.

Делопроизводитель с опаской посмотрел на Быкова и зачастил, словно боясь, что его не дослушают до конца:

— Мало того, что бежал, хотел еще и Васильева застрелить.

— Час от часу не легче...

— Теперь такое будет, что не передохнуть, — с тревогой ответил делопроизводитель. — Следствие начнется, пойдет писать губерния.

К вечеру Васильева уже не было в отряде: он покинул аэродром, ни с кем не простившись, никому не сдав отряда.

День прошел в волнении, а вечером в халупу к летчикам прибежал делопроизводитель.

— Приказ получен, — сказал он Быкову. — Вам предлагается принять отряд впредь до особого распоряжения. Командира пришлют в ближайшие дни.

Так неожиданно стал Быков временным командиром отряда.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ



Был морозный и ясный день. Снег в горах, такой же синий, как и на далеком севере, напоминал Глебу о детстве, и долго ходил он по полю, чувствуя себя помолодевшим и бодрым. Ярко сверкали снега на взгорьях, курились вершины далеких кряжей; бледноглубое небо было безоблачно. Косматое лучистое солнце пылало на краю горизонта, а длинные тени деревьев уже тянулись по обочинам проезжих дорог.

Глеб смотрел на пылавшие снега, и в яркости зимних красок, в огромном просторе, открывавшемся вокруг

и ослепляющем глаза, чудилось ему предвестие близкого свершенья самых несбыточных надежд.

С того дня как исчез из отряда Васильев, возвратилось старое и легкое чувство, которое еще во время веселой и сумасбродной поездки в Кизел сблизило Глеба с Наташей. Давно ли казалось, что жизнь оборвана навсегда, что дело только в какой-нибудь последней беседе, в последних коротких и жестоких словах, сказанных Наташей, а теперь все шло совсем по-другому. Почти каждый день присылала ему Наташа с оказией небольшие письма в узких конвертах, и Глеб без конца перечитывал поденные записи ее госпитальных дел.

Новых летчиков в отряд не присылали, и поговаривали о том, что вообще отряд собираются перебросить в пятую армию.

Старые друзья жили тихо и мирно. Ваня целые дни проводил с Тентенниковым, играл с ним в подкидного дурака. Колода распухла, стала грязной, и это злило аккуратного Быкова: давно уже он собирался ее выбросить. Лица королей, валетов и дам были стерты, но неутомимые игроки помнили любую карту и каждый день пририсовывали бороды королям и усы облезлым валетам.

Тентенников часто рассматривал свой старенький самолет и объяснял Ване, как надо держать ручку управления.

— Петр Иванович, — говаривал мальчик, обнимая своего названного отца и лукаво щурясь, — скоро меня будут учить полетам.

— Трудно тебе придется, — улыбался Быков, похлопывая мальчика по широкой и сильной спине. — Таким, как ты, нечего думать о самолете. Я тебя в дикую дивизию отправлю...

— И пойду, — угрожающе говорил Ваня. — Когда я ехал на фронт, то и с дикой дивизией встречался. Кавалеристы на одной станции стояли с конями и учили меня вольтижировке.

— Как же вольтижировка делается?

— Ножницами, — неуверенно отвечал Ваня и махал безнадежно рукой.

— Побасенкам охотничьим ты научился от деда...

— Он меня на бильярде играть выучил.

— Бесполезное дело.

— Дуплет в угол — бесполезное дело? Да мы с дедом жили на его дуплеты!

— А как дуплеты делаются?

— Забыл, — признался Ваня.

— Всюду свой длинный нос суешь, вот ничего толком и не помнишь.

— Неправда, — обижался мальчик и замолкал ненадолго.

Злиться он долго не умел и через пять минут пускался снова в бесконечные споры.

Он знал всех людей отряда, порою уезжал с кем-нибудь на два или три дня в Черновицы. В такие дни летчики скучали. Тентенников лежал на кровати и поминутно огрызался, в чем-нибудь укоряя приятелей, Быков становился особенно молчалив, Глеб писал тревожные записки Наташе, просил ее, если появится негодный мальчишка в госпитале, гнать его немедленно домой, даже не напоив чаем.

Ваня возвращался домой веселый, с подарками: Быкову и Тентенникову привезет табак, а Глебу нарядную коробку с конвертами, и снова успокаивались летчики, подсмеиваясь над Ваниными проделками, заставляли его править бритвы, наклеивать фотографии в альбомы, а то и попросту рассказывать о похождениях деда. Он умел передразнивать знакомых людей и даже научился от старика изображать ярмарочный цыганский хор.

Нынешняя жизнь совсем не походила на то, что было в отряде при Васильеве. Только перед полетами волновались они как обычно, и Тентенников неизменно, как бы ни болела нога, выходил провожать приятелей.

За три месяца провели летчики только два воздушных боя, но в разведку приходилось летать не реже двух раз в неделю, и Тентенников горевал, что вынужден бездельничать, в то время как друзья рискуют жизнью.

До сих пор еще не был сбит тот германский аэроплан, о котором было столько разговоров в отряде. «Черный дьявол» часто появлялся в тылу, бомбил госпитали, сбрасывал бомбы на беженские обозы. Доныне казался он неуловимым.

За последние дни снова участились полеты «альбатросов» над русскими позициями.

«Завтра обязательно полечу, — думал Глеб. — Третьего дня Быков летал, а завтра моя очередь лететь в разведку. Кто знает, может быть именно завтра я «Черного дьявола» встречу...»

Он хотел только, чтобы в день полета небо было такое же ясное и чистое и чтобы за ночь не усилился ветер.

Он медленно шел по глубокой дорожной колее. День кончался в багровом пыланье снегов и медном блеске разгоравшегося заката. Буки у въезда в деревню казались особенно строгими и печальными. Сразу почувствовал Глеб, как вместе с умиранием дня в его душу входит тихая грусть. Еще час назад был он весел и радостен, широко открытыми глазами вглядывался в светлую даль снежных взгорий, а теперь вспомнились ему вдруг слова Наташи, говорившей о том, что еще не сразу наладится их жизнь после войны.

Он вздрогнул, остановился у занесенной снегом каменной кладки и в ту же минуту увидел бежавшую навстречу маленькую мохнатую лошадку. Она весело мотала мордой и широко раскидывала низенькие сильные ноги. Быков погонял лошадь длинным кнутом, привезенным Ваней из Черновиц.

— Петруха! — крикнул Глеб, бросаясь навстречу.

Колеса завязли в снегу. Лошадь остановилась. Быков прыгнул с телеги.

Глеб взглянул на приятеля и тотчас почувствовал что-то странное, неожиданно сердитое в обличье Быкова, не ответившего на веселое приветствие.

«Неприятности в штабе, должно быть», — решил Глеб и постеснялся спрашивать о Наташе.

Так, не обменявшись ни словом, дошли они до дома.

«Что с ним случилось?» — раздумывал Глеб, с недоумением поглядывая на Быкова и силясь понять причину неожиданной перемены. Еще больше удивило его, когда он заметил, что Быков подошел к кровати Тентенникова, тихо дремавшего после очередной игры в подкидного дурака, растолкал его и что-то зашептал на ухо, поминутно оглядываясь, словно боясь, что Глеб подслушает их разговор. Тентенников приподнялся на локте, покачал головой. Минут через пять оба они вышли из комнаты. Тентенников шел так быстро, как только позволяла ему

не зажившая еще рана, постукивая палкой по скрипучим некрашеным половицам. Быков даже не посмотрел на Глеба, не сказал, куда они собрались в такую позднюю пору. Глеб подождал немного, потом подошел к двери, распахнул ее и услышал торопливый и взволнованный разговор приятелей, остановившихся неподалеку.

Услышав скрип отворяемой двери, они оглянулись и замолчали. Глеб обиделся, притворил дверь. Его огорчило таинственное перешептывание друзей. Он лег на кровать, закрыл глаза. Что-то непонятное происходило с Быковым. Прежде никогда не бывало, чтобы заводились у приятелей какие-то секреты, которыми они не делились с Глебом.

За последние годы жизнь каждого из них была известна друзьям до мельчайших подробностей. И радость и горе привыкли они делить, как родные братья. Правда, в Тентенникове еще проглядывало изредка старое бахвальство, но Быков-то с Глебом давно уже ничего не скрывали друг от друга.

Быков наклонился над кроватью Глеба так же, как давеча над кроватью Тентенникова, и виновато спросил:

— Коньяк у нас, Глебушка, есть?

— Не знаю, — сердито отозвался Глеб.

— Конечно же есть, — торопливо проговорил Тентенников. — В прошлый раз, когда мотористы ездили с Ваней в Черновицы, привезли три бутылки. Две мы распили, а третью я спрятал.

Он достал из своего сундучка, стоявшего под кроватью, бутылку коньяку и со странной суетливостью принялся разливать в стаканы.

— Я пить не буду, — сердясь, ответил Глеб.

— Обязательно выпьешь, — сказал Быков и широкой шершавой ладонью провел по волосам приятеля.

Глеб нехотя встал, подошел к столу. Ему показалось, будто веки Быкова припухли, а в повадке Тентенникова появилась странная настороженность.

— Что приуныли? — спросил Глеб, поднося к губам стакан с коньяком.

Приятели молчали.

«Странно, — подумал он, — черти драповые, тоже по стаканчику тапнули, а хмурятся, будто несчастье какое случилось».



Он громко сказал:

— Какие вы сегодня странные... прямо не узнаю вас... В прошлый раз всю ночь песни пели. А теперь как сонные мухи сидите и на меня нагоняете тоску...

— Глебушка... — дрожащим голосом начал было Быков и тотчас же осекся.

— Обязательно к Наташе съезжу на днях, а оттуда уже и до Черновиц недалеко. Такого коньяку привезу, что в жизни не пивали.

Быков заходил по комнате, заложив руки за спину и низко склонив голову, а Тентенников закрыл лицо руками, словно у него кружилась голова, и глухо ответил:

— Ладно уж...

Быков подошел к Глебу, взял его под руку, мельком взглянул на Тентенникова, тихо спросил:

— Не поедешь со мной в город?

— Да ты только ведь из города вернулся, — ничего не понимая, отозвался Глеб.

— Мне снова надо ехать, и обязательно вместе с тобой.

— А отряд на кого оставишь?

— Сегодня в ночь и вернемся.

— Это за столько-то верст?

— Вот заладила сорока Якова! Я ж тебя серьезно спрашиваю. Ты мне прямо скажи: поедешь?

— Как хочешь, поедем...

Глеба обрадовало, что предстоит дальняя поездка; по дороге лепятся вдоль крутого берега строения маленького городка, а верстах в двух от шоссе поворот к деревне, где Наташин госпиталь.

— Одни поедем?

— Одни.

Они ехали по пустынным ночным полям, озаренным сиянием узкого молодого месяца. Неуловимый отсвет скользил над полями. Если бы не в бричке ехали, а на санях, казалось бы, что едут они по далекому, глухому захолустью, где-нибудь за Волгой или на Урале. Снег, перекаты холмов, черные строения в тумане, узкий серп месяца — все это волновало и радовало Глеба; он ясно

представлял, как войдут они с Быковым в низкую Наташину комнату, заиндевет с мороза (это на юге-то, на солнечном юге!), и сядут пить чай из жестяных кружек, обжигающих губы.

«Вот поворот, Быков правит туда, на Наташину дорожку. Скоро мелькнет огонек. Почему не видно его? Скоро ли?» — думал Глеб, приподнимаясь на коленях и упираясь локтем в широкое плечо Быкова.

— Петя, — сказал он вдруг и сам удивился, каким хриплым стал голос.

— Что?

— Почему огоньков не видно?

Быков не ответил, и несколько минут молчание нарушалось только храпом коня да пронзительным и торопливым скрипом намазанных колес.

«Спать, должно быть, уже легла, — повторял про себя Глеб. — Жалко будить ее. Устает она небось. Шутка ли, одной на дежурстве со всеми больными остаться. Зевать будет, и прикрывать рот рукой, и подсмеиваться надо мной, а я-то...»

Он закрыл глаза, старался ни о чем не думать, — только обрывки мыслей оставались еще в отяжелевшей после выпитого коньяка голове.

— Глеб, — шепнул Быков, останавливая коня и прыгая в снег, — я тебе вот что хочу сказать...

Глеб открыл глаза, свесил ноги с бички, увидел узкую загогулину потускневшего месяца и вдруг понял все.

— Несчастье!? — крикнул он, бросая в снег башлык и расстегивая тулуп. — С Наташей несчастье?..

— Надо быть мужчиной, Глеб, — ответил Быков хриплым, прерывающимся голосом, не оставляющим никакой надежды, и показал на маленький огонек, медленно ползущий навстречу.

— погоди! Не говори минуту... — ответил Глеб, сжимая руками виски. Прошла минута — и он выхватил вожжи из рук Быкова.

— Едем!.. — крикнул он и не узнал собственного голоса.

Лошадь понесла под уклон.

Через десять минут, которые показались ему вечно, у поворота дороги Глеб увидел солдата с фонарем, выбежавшего навстречу.

— Приехали? — спросил солдат, размахивая фонарем, и тихо добавил: — Беда-то какая...

Глеб узнал однорукого солдата из госпиталя, но расспрашивать был не в силах и только прислушивался к сиплому шопоту Быкова. Он понял, что разговор идет о Наташе, о чем-то таком, чего ему, может быть, и не следует знать...

— Наташа убита?

Быков молчал.

Они прошли мимо здания госпиталя. На месте дома оставалось теперь только черное, занесенное снегом пожарище.

Быков ожидал слез, крика, даже истерики, — ведь знал он, как были в последние годы напряжены нервы Глеба, сколько пришлось ему пережить из-за Васильева, из-за временного разрыва с Наташей, и каменное спокойствие друга испугало его.

— Плачь, — сказал он, — плачь, легче будет! Выплачешь горе.

Глеб тихо спросил:

— Как она погибла?

— Немецкий аэроплан сбросил бомбы.

— Но ведь над госпиталем был флаг Красного креста?..

— Это его не останавливает.

— Неужели «Черный дьявол»?

— Он самый.

Глеб схватил руку приятеля и сжал ее до боли.

— Петр, — сказал он, — я завтра вылетаю в разведку и если встречу «Черного дьявола»...

Он не договорил, но Быков понял все и почувствовал, как приливает кровь к голове.

«Куда ты полетишь такой-то? — подумал Быков. — Бой хладнокровия требует, а у тебя руки будут дрожать...»

— Что ты, Глебушка, завтра обсудим, — сказал он уклончиво.

— Уже решено, — ответил Глеб, и в голосе его была такая уверенность в своей правоте, что Быков не осмелился возражать приятелю.

Они подошли к халупе, в которой стоял гроб с телом Наташи,

— Ты ее видел в гробу? — спросил Глеб.  
— Видел, — поспешно отозвался Быков.  
— Она одна убита?  
— Еще восемь человек раненых...  
— Ее нужно похоронить отдельно, не в братской могиле...

— Я уже договорился.

Глеб казался совсем спокойным — только чуть дрожали посиневшие губы.

Перед тем как войти в халупу, Глеб снова спросил:

— Лицо обезображено?

— Нет...

— Лучше, что я увижу ее такую, какою она при жизни была, — скороговоркой промолвил Глеб. — Послушай-ка, Петя...

Он остановился на пороге, вглядываясь в сумрачную полумглу освещенной двумя свечами халупы, и зашептал на ухо:

— Ты первый войди, попроси, чтобы посторонние ушли. Она одна тут лежит?

— Одна.

— Я подожду, а ты поди, ушли людей.

Быков вернулся через несколько минут. Глеб все в той же позе стоял у дверей и беззвучно плакал.

— Ну как? — спросил он Быкова.

— Никого нет. Можешь идти.

Быков долго ждал Глеба и медленно прохаживался по двору, прислушиваясь к голосам, доносившимся из соседних халуп: где-то неподалеку пели печальную старую песню; трогателен был ее простой напев:

Как уж ива, ивушка,  
Ивушка-печальница,  
По-над плесом темным,  
На далекой реченьке  
День и ночь грустит,  
И лежит под ивою  
Мой дружок негданный...

Прошло часа два. Быков ходил по двору, не решаясь войти в халупу. Начинало светать. Песню давно уже допели.

Глеб вышел из халупы сутулясь и медленно проговорил:

— Простился...

Он помолчал, словно это короткое слово трудно было ему выговорить, и тихо сказал:

— Сейчас же хоронить ее надо.

Хлопоты, беготня по халупам, разговоры с санитарами, похороны, волнение о приятеле утомили Быкова, и днем, когда подъезжали к аэродрому, он задремал, не выпуская вожжей из рук.

Насупившись, сняв шапку, распахнув тулуп, сидел Глеб под ветром, и казалось ему, будто тупая боль под ложечкой, которую он начал ощущать еще вчера, жгла тело изнутри. И странно, именно боль успокаивала его, потому что, если бы не было мучительного чувства физического страдания, он способен был бы броситься с обрыва или разmozжить голову о каменную кладку стены.

Ясно и зримо было все, что видел он нынешней ночью. Звон лопат, вгрызавшихся в землю, и тяжелый стук мерзлых комьев, падавших на гроб Наташи, еще отдавался в ушах Глеба.

Часу в девятом приехали на аэродром. Тентенников, опираясь на палку, ждал их у въезда в деревню.

Он ничего не спросил и медленно пошел по следам брички к аэродрому.

Победоносцевский самолет сделал круг над аэродромом и медленно начал набирать высоту. До расположения противника от деревеньки, где стоял отряд, было не больше сорока верст. Огромный сверкающий простор распахнулся перед Победоносцевым. Белые горы курились, как и вчера утром, ветер клубил снежную пыль над могучими вершинами.

Над холмами и узкими долинами должен был Глеб лететь на запад. Он мечтал только об одном: о встрече с «Черным дьяволом», бомбившим вчера Наташин госпиталь. Он был почему-то уверен, что обязательно встретит того самого летчика, который убил Наташу. «Сердце подскажет», — думал Глеб, вглядываясь в ясную, светлую даль.

Он не чувствовал ни холода, ни усталости. Бывают случаи, когда человеку в одно мгновение вспоминается

вся прожитая жизнь. Глеб чувствовал теперь, как приходит на память обрывочная, разорванная и снова сшитая из разноцветных клочьев воспоминаний его собственная судьба.

Было страшно подумать о том, что случилось вчера. Руки Наташи, восковые бледные руки ее, сложенные на груди, снова вспомнились Глебу, и чувство ненависти к «Черному дьяволу», виновнику стольких смертей, становилось сильнее с каждой минутой.

Там, за лесом, начинались позиции врага. Вот напоследок черной тенью прошли линии русских окопов. День был ясен, но голубоватая дымка скрадывала очертания на краю горизонта.

Синие и черные облачка рассыпались неподалеку. Глеб понял: стреляют по нему. Клубятся невдалеке разрывы шрапнели. Он повернул к лесу. Аэроплан бросило в сторону. Потом он качнулся еще раз и снова начал набирать высоту. Торжественно и плавно гудел мотор. Опять Глеб поверил в свою предстоящую победу.

Вдали над долиной клубились облака. Глеб хотел обойти их над лесом, но вдруг увидел самолет, вынырнувший из облаков. Он летел навстречу Глебу, и летчик сразу узнал характерные очертания «альбатроса».

«Не тот ли самый убийца?» — подумал он и почувствовал, как судорога сводит колени.

Он не ошибся: самолет был выкрашен в черный цвет — знак «Черного дьявола».

Встреча, о которой он мечтал столько времени, наконец произошла. Глеб боялся теперь только одного: как бы летчик не уклонился от боя. Он был уже уверен, что «альбатрос» — убийца Наташи.

«Альбатрос» повернул обратно, и Глеб прибавил газ.

Аэроплан качнуло. Глеб ничего не видел, кроме делающего крутые виражи вражеского самолета. Там был убийца Наташи и беззащитных раненых, безногих и безруких страдальцев, лежавших в госпитале. Он вспомнил их бледные лица, их взмокшие русые чубы, хриплые простуженные голоса...

Вираз «альбатроса» — и уже показалось Глебу, что видит он стабилизатор самолета противника.

Глеб дал очередь, и то, что было потом, смешалось в один немолчный гул, сквозь который неожиданно пробива-

лись на мгновение нервные выхлопы мотора. Глебу начинало казаться тогда, что его собственное сердце грозит остановиться.

Он дал разворот. Самолет противника оказался внизу, под «нюпором», всего в нескольких десятках метров.

Глеб увидел летчика и отчетливо, на всю жизнь, запомнил его очки, длинное лицо...

Пытаясь уйти от Победоносцева, «Черный дьявол» сделал вираж влево. В ту же минуту начался воздушный танец. «Альбатрос» качался из стороны в сторону, и хвост медленно заваливался вниз.

Со странным чувством смотрел Глеб на машину, выкрашенную в черный цвет, — ведь о ней столько говорили в отряде, и давно уже решено было признать первым летчиком отряда победителя этого свирепого чудовища. В реве мотора черного «альбатроса», в немолчном душевраздирающем стоне его чудилась людям, которые видели его с земли, какая-то сатанинская сила, и Глеб еще больше ненавидел врага, когда представлял, с каким ужасом слушала гул самолета Наташа в последние мгновения своей жизни. Быков предсказал однажды, что, прежде чем собьют «Черного дьявола», он много зла причинит. Все смеялись тогда: каждый верил в близкую победу над изворотливым врагом. И вот спустя несколько месяцев предсказание исполнилось: пожарище старого дома, трупы убитых солдат в госпитальных халатах вспомнились Глебу — и опять увидел он комнату, в которой лежала Наташа.

Милый, словно судорогой сведенный рот; руки, скрепленные на груди; огромные старинные медяки, положенные на глаза каким-то сердобольным солдатом; простенькое серое платье, в котором казалась она совсем молодой, тихое выражение покоя на щеках снова и снова вспоминались Глебу...

Враг был близко, совсем близко, беспощадный, овеванный славой непобедимого. Глеб знал это и когда увидел, как качнулся самолет противника, не верил еще в близкое окончание боя.

Он не ошибся.

«Альбатрос» набирал высоту: он готовился к новой атаке.

Недавнее спокойствие вернулось к Глебу. Он дал полный газ. Черный дымок рванулся над мотором.

«Черный дьявол» шел навстречу так быстро, что воздушный вихрь качнул самолет Глеба.

Вираз влево — и он зашел в хвост «альбатросу».

В небо взвился дымок: пристреливалась артиллерия противника. Теперь, когда два самолета сблизились, нечего бояться артиллерийского обстрела. Но плохо придется, если «Черный дьявол» будет сбит: тогда уже постараются отомстить за гибель своего летчика немецкие артиллеристы.

«Альбатрос» снова качнулся, и Глеб увидел, как вспыхнуло пламя: пуля, выпущенная им, пробила бензиновый бак. Тотчас «Черный дьявол» сделал вираз. Вираз длился мгновение. Охваченный пламенем, аэроплан перевернулся через левое крыло и вошел в штопор.

...Когда, отрулив, Глеб спрыгнул на землю, Быков бросился к нему с глазами, полными слез. С особенной силой почувствовал Глеб любовь к друзьям давних лет.

Оно было с ним, походное братство, верность простых сердец, дружба которых не нарушится вовеки. Глеб был полон этим чувством; зримое, ясное, оно снова давало ему силу жить и бороться.

— Семь пробоин, — сказал моторист, успевший осмотреть самолет.

Глеб отошел в сторону, облокотился на столб, закрыл глаза.

Он снова и снова вспоминал во всех подробностях, с самого начала то, что случилось вчера и сегодня. И чем дольше думал, тем больше казалось ему, что отошедшее, пережитое тысячами нитей связывало его с жизнью и давало силы уверенно смотреть в озаренную ярким пламенем мгlistую даль.

Костры заката пылали вдали. Ровное красное зарево струилось над далекими лесами. А леса синели в багровых отсветах, четкие, строгие, словно врисованные в сплошную красную полосу вечернего пожарища.

А дальше, на одиноком и тихом погосте, — могила Наташи. Как полюбились ей за фронтовые годы простые солдатские слова, казавшиеся необычайно ласковыми



и задушевными, когда она их произносила. С каким волнением рассказывала она фронтовые бывальщины, подслушанные у постели больных и раненых солдат...

«Знаешь, ведь я мужичка, — говаривала она ему в такие минуты, сидя рядом, положив узкую руку на широкий сгиб его смуглой ладони. — Деда мои бедовали на Волге, и я обязательно решила, как только кончится война, уехать на Волгу, стать учительницей в деревеньке. Ты будешь ко мне иногда приезжать? — спрашивала она Глеба. — Я буду жить верстах в двадцати от станции. Как только придет телеграмма о твоём приезде, сама запрягу лошадь, на широких розвальнях поеду тебя встречать. Ты не узнаешь меня тогда — в нагольном тулупе и пушистом оренбургском платке, — от нас ведь до Оренбурга близко. Я встречу тебя на низеньком перроне. Дружба наша станет крепче с годами?» — улыбаясь, спрашивала она. Глебу казалось в такие минуты, будто и не было ничего тяжелого в их жизни.

Быков и Тентенников стояли у самолета. Глеб снял свой кожаный шлем и обнял друзей.

Тентенников посмотрел на него смело и прямо.

— Семь пробоин, — повторил моторист.

Глеб провел рукою по сухим губам, почувствовал, что очень хочется пить.

— Голову накрой, — сказал Тентенников, нагибаясь и подымая со снега шлем.

— И снег стряхни с головы, — промолвил Быков.

Глеб взъерошил мокрые волосы.

— Батеньки! — воскликнул Быков. — Да у тебя вся голова седая!

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ



Как-то безмолвно было решено не говорить о Наташе и не вспоминать о том дне, когда поседел Глеб и горел над позициями аэроплан, прозванный «Черным дьяволом».

Жизнь в отряде стала непохожей на ту, какую еще недавно помнили летчики. Только теперь по-настоящему узнал Быков делопроизводителя отряда. Этот молчальник

оказался очень деятельным, но угрюмым и спокойным человеком, — он знал всю историю отряда и часами мог рассказывать об упущениях Васильева.

— Какой это командир? — говаривал он. — Ему бы не соединением высокой техники командовать, а в шантане с певичками пьянствовать.

Частенько вспоминали они с Быковым о Пылаеве.

— Конечно же, Пылаев — темный человек, — говаривал делопроизводитель, прихлебывая вино и в упор поглядывая на собеседника. — Сами посудите, какие у нас порядочки установили: на фронт может пробраться любой проходимец, и без всякого контроля. Учреждения прифронтовой полосы кишат шпионами. Не говорю уже о том, что большое количество не участвующих в боевой жизни людей неизбежно разлагает фронт. Всюду неразбериха страшная. Офицер, уехавший в отпуск с передовых позиций, никогда не достанет номера в гостинице, не сможет ничего купить в магазинах — все расхвачано нахлынувшими ненужными людьми. Они распускают слухи, сеют панику, создают ажиотаж в прифронтовых городах.

— А с Васильевым Пылаев давно подружился? — спрашивал Быков.

— Грязное дело. Мне кажется, что дружат они давно, и дружба у них самая темная. Да вот еще мне кажется, что не Пылаев стрелял в Васильева, а сам поручик, огорченный случившимся, собирался разыграть комедию самоубийства...

Вестей о Пылаеве и Васильеве в отряде больше не было. Разговоры о переводе на другой фронт продолжались, но новый командир еще не приезжал. Странное чувство было у Быкова в эти дни. Глеб, посмеиваясь, козырял ему и предсказывал, что настанет пора, когда Быков не отрядом, а целой армией командовать будет.

Приятелей удивляло, что Глеб не вспоминает о Наташе, даже весел бывает иногда. Прямодушному Тентеникову поведение Победоносцева казалось странным, но Быков понимал, как тяжело себя чувствует Глеб: жить после такого горя с легонькой усмешечкой на губах было гораздо труднее, чем ныть и поминутно вздыхать.

Через несколько дней удалось Быкову проводить в Москву Ваню. Один из мотористов заболел, и его отправили на побывку в Москву. Моторист был хороший, ти-

хий человек, и Быков уговорил его взять с собой мальчика.

Узнав о предстоящем изгнании, Ваня огорчился и заплакал. Долго он прощался с аэродромом и горевал, что приходится покинуть отряд.

Перед отъездом мальчик был необычайно печален и за целый день ни с кем не промолвил ни слова.

— Что же ты загрустил? — спросил его Быков. — Нас боишься одних оставить?

— Нет, я вам писать буду... А вот жалко, что я ни в одном воздушном бою не участвовал.

— К тому времени, когда летать научишься, мы тебя обязательно с собой возьмем — будешь и ты с нами воевать.

— К тому времени небось и война кончится?

— Война? — спросил Глеб. — Ты по истории сколько получаешь?

— Пять, — без особой гордости сказал Ваня и насутился снова.

— Ну, уж ежели ты пятерочник, то, наверное, и про тридцатилетнюю войну помнишь?

— Конечно, помню.

— А нынешняя война и в тридцать лет не кончится: успеешь повоевать еще.

— Правда? — спросил мальчик у названного отца.

— Сушая правда, — ответил Быков, и Ваня повеселел.

— Ну, чему радуешься? — рассердился Быков. — Вот уж, воистину, солдафон.

В тот же вечер Ваня уехал с мотористом. Провожали его до края отрядного поля. Перед тем как сесть в танк, Ваня отозвал Быкова и шепнул с трогательной заботой:

— Ты, смотри, перед полетом не ленись, принимай касторку, обязательно принимай...

— Что ты говоришь? — удивился Быков. — Шутить со мной на прощанье вздумал?

— Я не шучу, — смутился Ваня. — Просто слышал я, как мотористы рассказывали: кто с пустым желудком летает, тому при аварии лучше.

— Ах, вот оно что. Благодарю за заботу. Так и быть, твоего совета послушаюсь. А ты уж больше не убегай от дед.

— Не буду.

Быков усадил мальчика в тарантас. Моторист усмехнулся, снял фуражку. Ваня крикнул что-то на прощанье, но Быков не слышал его слов.

Через несколько дней после отъезда Вани летчики поехали в Черновицы. Быкова вызвали по делу, Тентенникову нужно было попасть на прием к врачу, а Победоносцев в эту пору и на день не мог расстаться с друзьями, и его взяли, как говорится, «за компанию».

Под вечер, когда Быков шел с приятелями по улице, Тентенников был особенно весел и раскатисто хохотал, широко размахивая руками. Вдруг он остановился как вкопанный и руки скрестил на груди.

— Голубка ты моя, — сердито прошептал Тентенников, — гляди-ка, повстречалась мне хорошая знакомая...

Он узнал женщину, проходившую по той стороне тротуара. Конечно же, это Борексо. Она шла с каким-то военным. Высокие каблочки ее звонко стучали по тротуару.

— Говорил, что доведется свидеться, — сказал сквозь зубы Тентенников, — вот, наконец, и свиделись.

Маленькие глаза его хитро прищурились, и он тихо промолвил, схватив Быкова за локоть:

— Я обернусь мигом, только дельце одно обделаю.

Он злился. Приятели улыбнулись, не понимая причины его неожиданного раздражения.

— Вы меня подождите, я быстро вернусь, — повторил Тентенников и бросился на другую сторону улицы.

— Куда ты? — спросил Быков, но Тентенников успел только крикнуть:

— Ждите меня у табачного магазина.

Они видели, как подошел летчик к женщине в черной шляпке и заговорил с ней. Женщина вздрогнула, посмотрела на Тентенникова пристально, взяла большую руку летчика, словно хотела погадать, и тотчас отошел от нее попутчик в военной форме.

— Гляди-ка, — воскликнул Быков, — да ведь это же та самая женщина, которая его обокрала!

Женщина уже успокоилась. Она была так весела, что можно было подумать, будто ее очень радует встреча со старым знакомым. Она стояла рядом с ним на краю тро-

туара, не выпускала его руку из своей руки и что-то говорила, снизу вверх глядя в его глаза.

Поговорив еще недолго, она медленно пошла по тротуару. Рядом торжественно шествовал Тентенников.

На перекрестке они остановились. Женщина, размахивая руками, уговаривала летчика пойти с ней, но Тентенников упрямился и не сходил с места. Она потянула его за рукав и свернула в переулок. Упираясь, то и дело останавливаясь, пошел за нею Тентенников.

Прошло уже с полчаса, а приятель все еще не возвращался, словно сбежал.

— Не обманула ли она его снова? — спросил Глеб, удивленный этой странной задержкой.

— Пойдем по его следу, — сказал Быков.

Они свернули в переулок.

Дома здесь были бедные, грязные. Решетки на окнах, редкие заборы, развороченные камни мостовой придавали переулку вид какой-то особенной унылости и заброшенности.

— И куда только он мог запропаститься? — вздохнул Быков. — Теперь и догадаться трудно. Нечего делать, придется подождать.

Они уже хотели уходить, как вдруг увидели в самом конце переулка длинную унылую фигуру.

— Тентенников идет! — воскликнул Глеб и бросился навстречу приятелю.

Увидев друзей, Тентенников махнул рукой и остановился.

— Беда, опростоволосился я, красотка снова меня провела. — В голосе его было столько злости, что приятели невольно расхохотались. — И смеяться нечего, — обиделся он, — такая тонкая штучка каждого провести сумела бы...

Он отдышался и, прислонившись к забору, начал свое повествование:

— Сперва, когда она встретила меня, испугалась страшно, голову повесила. Потом, не успел я ей и двух слов сказать, как сразу повеселела, простилась со своим кавалером, схватила меня за руку.

— Это мы видели, — сказал Глеб. — Ты расскажи лучше, что потом было.

— Потом? Ничего не поделаешь, придется честно все рассказать. Потом очень смешно было. Она говорит: «Неужели вы хотите здесь разговор вести, — ведь вокруг нас любопытные собираются и мешают. Свернемте в переулок, там и поговорим». Свернули мы в переулочек. Она меня под руку взяла, на цыпочки привстала и ласковые слова принялась говорить. Я рассердился, конечно. «Не к чему, говорю, старое вспоминать, ты мне расскажи лучше, как ты меня тогда обманула и обокрала». Она смеется: «Я ни в чем, говорит, не виновата; ты на меня обижаться не должен». Рассердили меня слова ее, схватил бы ее тотчас и задушил бы, право. А она, видя, что смехом меня ни в чем не убедишь, плакать начала. Вот, думаю, напасти какие, час от часу не легче. Пожалел, что вас с собою не взял.

— Упрямишься, — отозвался Глеб, — вот и выходит плохо.

Тентенников потупился.

— Подходим мы вдруг к дому на следующем перекрестке, она мне и говорит: «Извини, дорогой, я только на минуту по делу зайду и тотчас вернусь, а потом обо всем тебе и расскажу, — ты на меня сердиться не будешь? Мигом, говорит, вернусь, мигом. А чтобы ты не думал плохо обо мне, возьми мой ридикюль, поддержи его, покуда вернусь». Я сел на тумбочку и жду. Сколько времени прошло, а нету ее. Что тут делать? Вбежал во двор, а двор-то, понимаешь ли, проходной... Исчезла она. Я сумочку открываю, смотрю, и что же — ничего в сумочке нет, кроме бумажного пакета с пудрой...

— И в такую-то женщину ты был влюблен?! . Любовь чиста должна быть, как небо после дождя, — сказал Быков. — А ты сам себя таким знакомством запачкал; только та любовь хороша, с которой жизнь становится светлей. Ну, да ладно, еще поговорим об этом. А сейчас пообедаем — ведь из-за твоих походов мы везде опаздываем.

Обедали молча. Тентенников вздыхал: не мог он простить себе сегодняшнюю оплошность и клялся, что в следующий-то раз, ежели доведется ему встретиться с хитрой обманщицей, уже будет догадливей и сообразит, как следует с ней разделаться.

В ресторане за столом, покрытым грязной скатертью, летчики тихо беседовали под назойливое завывание скрипок дамского оркестра.

— Вот и еще одна полоса нашей жизни к концу подходит, — сказал мечтательно Глеб. — Теперь мы на новую дорогу вступаем, а сколько лет по ней доведется ходить, никто еще, пожалуй, не знает. Вот только жаль, что Наташи нет с нами.

Приятеля переглянулись: впервые после того рокового дня Глеб заговорил о своей покойной жене.

— Послушай, — сказал он, — мне кажется, будто есть у тебя, Петя, тайна от старых друзей.

— Тайна? Никакой у меня нет тайны.

— Клянешься?

— Клянусь, — неуверенно ответил Быков.

— А у самого голос дрожит. Дело простое, и только прямо ты отвечай мне. Лену любишь?

— Люблю, — ответил Быков, чувствуя, как багровеют щеки и шея.

— А ежели так, я сватом буду и обязательно устрою свадьбу. Она тебе в каждом письме приветы слала, да я не говорил, ждал, пока сам спросишь. А ты молчал, скрытная твоя душа.

— Где она теперь? Я ведь и спрашивать стеснялся, а каждый день с думой о ней просыпаюсь.

— В Царицын с отцом поехала: старику поправляться надо — ослабел он, устал... Там до осени жить собираются; к тому времени, может быть, война к концу подойдет, и мы с фронта вернемся, да туда и махнем.

— И я с вами, — подал голос Тентенников.

— Ясно, одного не оставим, — ответил Глеб.

— Да, будет нам что после войны вспомнить, — промолвил Тентенников. — Хоть не по своей охоте пошли мы на эту войну, а все же русские летчики показали себя самыми отважными, да еще тактику особую усвоили. Глеб назвал нестеровский таран штыковым ударом в небо. И прав: ничего на свете нет грознее в бою. А разве легко нам? Нет у нас авиационной промышленности и самолетов хороших мало, моторы — не первый сорт, авиационных бомб не бывает часто, пулеметы — и то не на всех машинах.

— Правильно говоришь, — сказал Быков.

— А если бы русских летчиков хорошо вооружили, мы бы еще сильнее стали! И вот я хочу тост предложить за тех русских летчиков, которые после нас придут и счастливее нас будут. Все у них будет хорошее: и самолеты, и моторы, и вооружение — все построит наша матушка-Русь. Вот уж солоно тем придется, кто тогда на русских летчиков нападет!..

Быкова тронули простые слова приятеля.

— Да ты попросту у нас оратор, Кузьма. В самом-то деле, как вспомнишь, сколько мы перестрадали, — страшно становится... .

— Еще бы не страшно! — воскликнул Глеб. — Но будущее — наше! Навеки нерушимой останется наша дружба. Помнишь, как хорошо у Пушкина сказано: «Друзья мои, прекрасен наш союз...» Отошли те годы, когда на нас, взявшихся за руль, смотрели как на чудаков или самоубийц. Теперь должно перед нами будущее открыться. А руля мы до самой смерти не выпустим.

Глеб глядел на приятелей с веселой, вдохновенной улыбкой, и стало легко, словно были слова его предвестием близкой перемены, о которой они догадывались теперь, на склоне январского дня. Коротко остриженная после болезни крутолобая голова Тентенникова низко склонилась над столом, и взгляд светлых глаз Быкова снова встретился с упрямым взглядом Глеба.

— Я о Лене потому сказал, — усмехнулся Глеб, навалившись грудью на стол, — что ты сам и слова промолвить не решался... .

— Мне не жить без нее, — тихо ответил Быков. — Знаешь, бывает же в жизни все настоящее — и любовь, и ненависть, и дружба — неподдельное, чистое. В такие минуты сердце поет, и хочется все полюбить, понять, перечувствовать. В такие минуты о будущем хочется думать, о счастье... .

— Правильно, — ответил Глеб. — Что это значит? Очень немного понять надобно: будь честен, смел и прям со всеми, выполняй свой долг перед народом, будь беспристрастен к угнетателям, борись — и будешь счастлив... .



Оркестр был над самым ухом, и казалось летчикам, что сейчас не волны дунайского вальса плывут по залу — слышался им в этом шуме рев сотен запускаемых моторов. Как далекое видение, мелькнул перед Глебом выкрашенный в черный цвет немецкий аэроплан, скользнула полоска тумана над пустынными взгорьями, ярким заревом вспыхнули снега на горных вершинах.

— За будущее выпить надо напоследок, — сказал Глеб. — За то, чтобы в будущем мы смогли жить так, как нам самим хочется, а не так, как хозяйчики велят...

Последние отблески вечерней зари гасли в высоком сумрачном небе. Узкая и длинная, как раскаленная игла, скользнула вдоль облаков иссиня-желтая молния.

В ресторане зажгли лампы. Оркестр смолк. Прогрехотала вдали пролетка, процокали кони по каменной мостовой. Обоз тянулся по улице, и спорили о чем-то подвыпившие офицеры за соседним столиком.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ



то был воистину удивительный день. Он начался так необыкновенно, что даже Быков потерял обычное спокойствие и стал разговорчив, как Глеб Победоносцев.

Они сидели за столом, вычерчивая карты, как вдруг вбежал в халупу писарь отряда и принес Быкову телеграмму из Петрограда.

Телеграмма была неожиданным развлечением в скучной отрядной жизни, и порешили, что сразу распечатывать ее не стоит: сначала надо погадать, от кого бы она могла быть. Предположения начались бестолковые: Тентенников решил, что телеграфирует редакция «Нивы» — просит прислать портрет или корреспонденцию с передовых позиций; Глеб сказал, что, наверно, шлет им привет Лена, и так смутил Быкова, что тот сразу прекратил гадание и распечатал телеграмму.

— Что ты побурел вдруг? — удивился Тентенников.

— Ни черта не понять, — пожал плечами Быков, протягивая телеграмму приятелю. Тентенников тоже изумился, а Глеб перечел телеграмму два раза и расхохотался.

— Делать людям нечего, вот что. Или попросту дурака валяют.

В телеграмме было только одно слово: «Поздравляю». С чем поздравляют их, летчики понять не могли.

Они долго гадали, кто решил подшутить над ними, и только Тентенников уверял, будто такая телеграмма отправлена неспроста. Может быть, Лена телеграфировала?

Это предположение сразу отвергли и в течение дня несколько раз перечитывали телеграмму, стараясь вникнуть в ее загадочный смысл.

Ужинали поздно. Когда приятели легли спать, Быков вынул из полевой сумки газету и долго читал ее, облокотившись на стол и маленькими глотками прихлебывая чай из жестяной кружки.

Уже за полночь, убирая посуду, денщик остановился в дверях и тихо спросил:

— Вы ничего не слышали?

— Ничего не слышал.

— А поговаривают.

— О чем поговаривают?

— Не знаю.

Удивителен был робкий взгляд денщика: он, видимо, и хотел что-то сказать командиру и побаивался откровенного разговора.

— О чем говорят-то?

— Вот и я интересуюсь.

Так и не удалось ничего добиться от денщика:

— Всякое говорят...

Он хотел поделиться с Быковым новыми и неожиданными известиями, о которых было уже много разговоров среди солдат, но в последнюю минуту передумал и, махнув рукой, вышел из комнаты. В дверях оттолкнулся с Поповым, посторонился, не глядя на Быкова, махнул еще раз рукой и, словно от этого жеста стало ему легче, улыбнулся во весь свой широкий рот.

Лицо Попова было бледно.

— Что с вами? — спросил Быков. — На вас, попросту говоря, лица нет.

Несколько минут Попов молчал, не в силах промолвить ни слова.

— Петр Иванович, — наконец сказал он. — Новости-то какие, слышали?

Быков взял его за руку:

— Да успокойтесь сначала, а потом говорите.

— Я уже отдышался. Дело простое: только что звонили из воздухоплавательной роты. Я дежурил у телефона, в штабе никого, кроме меня, не было. И вдруг сообщают: в Петрограде — революция.

Летчики, уже укладывавшиеся спать, поднялись с кроватей, и Тентенников пробасил:

— Неужто правда?

— Думаю, что правда. Кто бы решился попусту такой слух распускать? Позвольте, Петр Иванович, в город съездить, узнать.

— Вместе поедem, — ответил Быков, надевая шинель.

— Вы... того, скорей приезжайте, — сказал Глеб.

— Будем торопиться, — ответил Быков и вслед за Поповым вышел из комнаты.

Глеб и Тентенников уже не хотели спать. Дымя трубками, принялись они вспоминать митинги девятьсот пятого года. Глеб был тогда еще совсем мальчишкой и многого не понимал, но Тентенникову шел в ту пору двадцатый год, и на демонстрации в Нижнем Новгороде довелось ему отведавать казачьей плети.

— Помнишь, о близких переменах Попов говорил недавно, — сказал Тентенников. — Он считал, что революция — дело недель.

— Да, — тихо сказал Глеб, — быстро все перевернулось. А давно ли еще я летел с Николаем, зная, что нам обоим угрожает тяжелое наказание, если узнают об этом. Прощаясь, он мне шутливо говорил, что, в случае чего, он один за наш полет ответчик.

Быков приехал под утро.

— Попов прав, — сказал он. — В самом деле, в Петрограде революция, Николашки нет, передан трон Михаилу, да и тот с перепугу отрекся.

— Ура! — закричал Тентенников, обнимая друзей. — Вот мы сидели с вами, ждали перемены своей судьбы, а тут, гляди-ка, как жизнь изменилась. Может,

теперь настанут веселые наши деньки? Да смейтесь же, братцы! Ведь во-время известие пришло: мы еще живы, и будущее теперь наше. . .

Отдышавшись с дороги, Быков пошел в штаб.

— Попов в Черновицах остался, — сказал он приятелям, — его уже в солдатский комитет выбрали, он обещал вернуться только к вечеру.

У штаба построились солдаты и мастеровые отряда.

Быков сказал перед строем несколько простых слов; его слушали внимательно и взволнованно. Солдатский телеграф не ведомыми никому путями узнал о событиях в столице раньше всех штабов армии.

— А Попов не приедет сегодня? — спросил кто-то из мотористов.

— Сегодня вечером вернется, — ответил Быков. — Тогда же и выборы проведет.

В халупе за чаем приятели вспомнили о телеграмме из Питера, и Тентенников, хитро прищурясь, сказал:

— Значит, недаром нас поздравляли, знали уже о революции. Что ж, я так понимаю: если революция — и заводчиков больше быть не должно.

— Ну, об этом ты лучше с Николаем Алексеевичем Григорьевым поговори, — ответил Быков. — Он тебе лучше, чем я, объяснит.

— Где его разыщешь теперь?

— Он уже вернулся в Черновицы. Смотрел на него — и не узнавал: бороду он на радостях сбрил, сразу помолодел лет на десять. Я его видел недолго, коротенький был разговор. Он нас вечером ждет — говорит, что телеграммы к тому времени из Петрограда получит и сможет много нового рассказать.

— Вспоминал наш полет? — спросил Глеб.

— Благодарил очень и просил обязательно быть сегодня.

После обеда летчики поехали в Черновицы.

Город стал неузнаваем за два дня. Оставив лошадь на штабном дворе, долго ходили они по шумным улицам, толкались в толпе, прислушивались к солдатским разговорам.

У бани Всероссийского союза городов толпились сотни людей в грязных серых шинелях. Обозы цли по улицам

длинной нескончаемой вереницей. Питательный пункт на площади против собора тоже был окружен солдатами. Дымок тянулся над походной кухней.

У прохожих были красные банты в петлицах пальто и пиджаков. Какой-то юркий человечек продавал банты из красного атласа, — купили у него банты и летчики.

По фронтому большого двухэтажного дома была уже выведена красной краской надпись: «Совет Солдатских Депутатов». Солдаты толпились у этого дома, стояли кучками, разговаривали, спорили. То и дело к Совету, гудя на повороте, подъезжали легковые и грузовые автомобили, подводы, тарантасы.

На небольшом балконе стояли несколько человек в солдатских шинелях. Летчики узнали Николая Григорьева, — опершись рукой на край балконной решетки, он разговаривал с девушкой в форме сестры милосердия и бородатым хмурым солдатом. Были на балконе и руины.

— Митинг скоро начнется, — сказал Быков...

Летчики стояли среди шумной, веселой толпы, взволнованные, как и все люди, заполнившие площадь.

— Григорьев сейчас будет говорить, большевик! — закричали солдаты, и площадь притихла.

— Товарищи, — начал Николай Алексеевич свою речь совсем еще новым, непривычным обращением, и Быков сразу почувствовал, что каждое слово, сказанное Николаем, отвечало самым заветным мечтам и думам теснившихся на площади людей.

«Да, да, — говорил самому себе Быков, — не случайно я встретился с ним когда-то. Они были повсюду в том, отошедшем теперь уже навсегда, мире — борцы за социализм, строители новой государственности, о которой так много говорил недавно, перед побегом, Николай. И то, о чем он говорит сегодня, понятно мне, потому что за каждым словом его — моя пережитая жизнь. Вот он говорит о войне именно то, что видел и чувствовал я...» Он вспомнил воздушные бои, полеты над расположением противника, одинокий самолет в беспредельном небесном пространстве, со всех сторон прошитом шрапнельными разрывами — их цветные дымки раскрасили небо, как на детской картинке...

— Кончать, кончать надо с войной, затеянной в интересах помещиков и капиталистов, — говорил Николай, и гул восторженных голосов прервал его речь.

Какой-то человек в френче, с красным бантом, взбежал на балкон, оттолкнул Николая и истерически начал возражать ему.

Голос у него был слабый, тонкий, и говорил он очень неразборчиво — летчики поняли только, что человек в френче требует продолжения войны до победы.

— Да это же Васильев! — крикнул Быков, и летчики обомлели: точно, бывший их командир беснуется на балконе.

Солдаты закричали, заволновались, — стоящие в передних рядах уже лезли по карнизу, чтобы стащить крикливого оратора с балкона. Васильев закрыл глаза, втянул голову в плечи и опрометью бросился назад.

— Найти его надо, — заволновался Быков.

— Обязательно найти, — злился Тентенников, — спросить, так ли собирается он воевать, как воевал прежде.

Пробраться сквозь толпу было очень трудно, и пока они добрались до дверей, митинг кончился. Васильев тем временем успел скрыться.

В тесной, небольшой комнате второго этажа они увидели Николая. Николай сидел за столом и разговаривал с обступившими его солдатами.

— А, товарищи летчики, — сказал он, — наконец-то прибыли, я вас уже давно дожидаясь.

Солдаты ушли, и они уселись вчетвером на старенькой ковровой оттоманке, стоявшей в самом дальнем углу комнаты.

— Мы твою речь слышали, — сказал Быков, — понравилась нам.

— И я согласен, — перебил Тентенников. — Я так понимаю: если теперь революция, то и хозяев старых уже не будет больше. Все народное станет. Так ведь?

Николай Алексеевич прищурился, хитро улыбнулся и в упор взглянул на Тентенникова:

— Сказано верно, вы в самую точку попали. Только напрасно думаете, что эта революция освободит нас от хозяев: для того чтобы все стало народным, чтобы кон-



к стр. 415





чить войну, надо не только царя уничтожить. Я имею уже известия из Петрограда. Там создано Временное правительство из помещиков и капиталистов, с которыми мы будем жестоко бороться.

Он встал с дивана, подошел к окну, взглянул на толпу, заполнившую площадь.

Солдаты не расходились: они ждали новых речей.

— Ждут они слова нашего, — тихо промолвил Николай. — Исстрадались по правде. Скоро изменится все: из Петрограда товарищи прислали несколько телеграмм. Ленин еще не может выехать из-за границы: правительства Антанты не хотят его пускать в Россию... Руководители партии уже начинают прибывать в столицу из тюрем, из ссылок. Надеюсь там встретиться с ними. Получу указания — и обратно сразу вернусь.

Вспомнили, как улетал Глеб с Николаем из отряда, — и посмеялись: давно ли хотели арестовать большевика, а теперь вот уже и не может такого быть...

— Вы думаете? — спросил Николай. — Революция только еще начинается. Когда придет время ее дальше повести, встанут многие против нас: во Временном правительстве — князья, помещики, банковские воротилы. Они против большевиков все темные силы прошлого соберут, да и антантовские правительства придут им на помощь против рабочего класса...

На улице снова слышались голоса: в город пришли новые группы солдат, они ждали выступления оратора-большевика.

— Иду, — сказал Николай, прощаясь с летчиками. — А из вас пусть ежедневно кто-нибудь сюда приезжает: ваш отряд я отныне считаю надежной опорой большевистского комитета. Вообще же здесь эсеры и меньшевики орудуют хитро, и я получил два анонимных письма, извещающих, что готовится мой арест за выступление против войны. Причем основывается обвинение не только на моих речах, но и на нелепом, чисто формальном основании — на отсутствии у меня соответствующей командировки из центра. Но как же я мог получить ее, если революция всего еще несколько дней? А впрочем, пусть попробуют, пусть арестуют. Солдаты свое слово скажут, освободят меня силой...

Слова Николая сбылись скорее, чем он сам предполагал. Через две недели поехали летчики на полученном недавно автомобиле в Черновицы и на главной улице города увидели быстро шедшего, почти бежавшего моториста Попова. Он очень обрадовался им и громко закричал:

— Стойте!

— Что случилось? — недоумевая, спросил Быков.

— По полкам вместе поедem. Николая арестовали соглашатели за речи против войны. Поедем сейчас, подыдем войска... Освободят его солдаты...

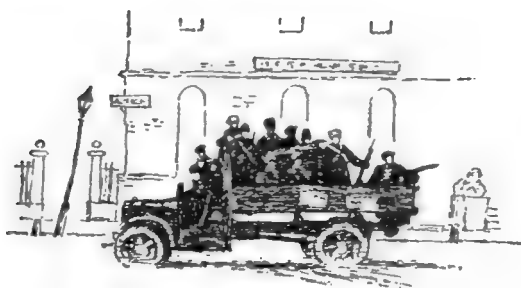
— А куда же ехать надо?

— К вокзалу. Там стоят полки, только что вернувшиеся с фронта. Николай выступал у них вчера.

На Соборной площади автомобиль остановился, огромная толпа вооруженных солдат бежала навстречу.

— Куда? — спросил Попов у самого ближнего солдата.

— Большевика идем освобождать, Григорьева Николая, — ответил бородатый солдат в короткой, черной от порохового дыма шинели, останавливаясь на минуту и испытующе оглядывая сидящих в автомобиле людей.



## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

### ***ЧАСТЬ ПЕРВАЯ***

**НАЧАЛО ПУТИ..... 5**

### ***ЧАСТЬ ВТОРАЯ***

**ВОЙНА..... 245**

*Редактор П. Быстров*  
*Художественный редактор*  
*А. Гайденов*  
*Технический редактор*  
*Л. Крючкина*  
*Корректор О. Ладыжкина*

Сдано в набор 12/VII 1954 г.  
Подписано в печать 14/X 1954 г.  
М-41107. Бумага 84×108/<sub>32</sub>—  
26,25 печ. л. = 21,52 усл. печ. л.  
21,3 уч.-изд. л. + 8 вкл. = 21,7 л.  
Тираж 75000 экз. Заказ № 1632.  
Цена 8 р. 70 к.

Ленгослитиздат  
Ленинград, Невский пр., 28.

Министерство культуры СССР.  
Главное управление  
полиграфической промышленности.  
4-я тип. им. Евг. Соколовой.  
Ленинград, Измайловский пр., 29.



